

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г / А

С Е Д Ь М А Я

И Ю Л Ь

М О С К В А

4 • 9 • 3 • 1

СОДЕРЖАНИЕ:

	<i>Стр.</i>
1. Сергей СПАССКИЙ. — Новогодняя ночь, повесть	5
2. Вл. ЛИДИН. — Дождь переходит в ливень, повесть	33
3. Вс. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. — Дід Дніпро, стихи	64
4. П. АНТОКОЛЬСКИЙ. — Армия в пути, куски поэмы	65
5. Александр ЯКОВЛЕВ. — Повороты, главы из 2-й части романа	68
6. Л. НИКУЛИН. — Записки спутника, воспоминания	80
7. Мих. ГОЛОДНЫЙ. — Путешествие в Сибирь, стихи	104
8. Алексей ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение	106
9. Е. ПАВЛИЧЕНКО. — Скрипка, стихи	122

ЛЮДИ и ФАКТЫ.

10. П. СЛЕТОВ. — Японские концессии на Сахалине, очерк	123
11. Д. КРЕПТЮКОВ. — От мыщ к машине, очерк	132
12. А. ЛЕЖНЕВ. — В городе спичек, очерк	141

ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО.

13. А. ГЛАГОЛЕВ. — Литературные заметки на тему об интеллигенции.	150
14. Н. ПИКСАНОВ. — На пути к гибели (Пушкин сто лет назад)	157
15. Ю. ДАНИЛИН. — Столетие «Немезиды»	169

ИЗ ПРОШЛОГО.

16. Неизданный рассказ М. Е. Салтыкова-Щедрина с предисловием Н. Яковлева	184
--	-----

ЗА РУБЕЖОМ.

17. С. ГАЛЬПЕРИН. — SOS мирового капитализма 188
18. С. ИНГУЛОВ. — Советское в международном 194

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

- Ю. ДОБРАНОВ. — Литературно-художественные сборники. «Недра» 204
Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Вл. Бахметьев «Медленная стрела» 205
Иин. ОКСЕНОВ. — С. Бытовой «Улица стачек», М. Иренин «Земля»,
П. Лукницкий «Переход» 206
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — С. Спасский «Особые приметы» 207
К. ЛОКС. — Гарольд Гезлоп «За бортом жизни» 208
З. МУР. — Людвиг Турек «Пролетарий рассказывает» 208

Новогодняя ночь

Повесть

СЕРГЕЙ СПАССКИЙ

Рассказ документален. Он сообщен мне одним из участников события. Мое дело было привести материалы в порядок.

Жизнь нагружает нас темами. Материал ведет за собой. Мы должны учитьсь вниманию. В военных котелках варится наше искусство. Вкус его солен.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Пожилой человек, Кирилл Павлович, выходит в гостиную. Он в рубашке без пиджака, и торс перехвачен подтяжками. Протягивает руку к выключателю. И не доносит ее до стены. Рука забыта на мгновение в воздухе. Потом ладонь ложится на лоб. Человек потирает пальцем брови. Тишина. Неуверенность.

В чем же дело? Он отдышал, ему что-то приснилось. И не слишком приятное. Будто выпали зубы. Нет, не то. Снились стыдные вещи. Он лежит на диване. Послеобеденный час. Только сам он моложе и крепче. И чрезмерно доволен собой. Ощущение важной удачи. Он попячивается с намереньем встать. Голове почему-то становится холодно. Он оглядывается на подушку. Все его волосы вылезли. И лежат на примятом холсте, будто мохнатый колпак. Жалкие черные кромки, сдернутые с головы. Унизительный сон. Чепуха. Кирилл Павлович стоит неподвижно.

Гостиная, не разбуженная электричеством, существует по законам позднего вечера. Если взглядеться, можно заме-

тить тихие перемещения теней. Они впадают друг в друга или совместно оплаывают предметы. Неслышно борются с креслами. Кресла в светлых чехлах то выныривают из их могучих и мягких объятий, то, запрокидываясь, погружаются ниже уровня пола.

Отступя за рояль, приподнялась пирамидальная форма. Словно свернутая из спиралевидного сумрака. Шероховатое образование из бахром, стрелок, кистей. Дерево. Елка.

Кирилл Павлович трогает волосы. От снов нельзя защититься. Застигают врасплох. Орудуют с нами, как с куками.

В два окна проникает свет фонаря. Свет рассеивается по стеклам. Сами стекла растворяются в слабом широком сиянии. Кажется, в рамках натянут золотисто-синеющий воздух. Свет ложится в сетчатый тюль занавесок, затем теряется в комнате и вдруг обретается на полу чешуйчатыми косоугольниками желтизны. Словно в полу — два желтые люка.

Кирилл Павлович стоит на краю желтой впадины.

По улице едет телега. Затеваются споры колес с мостовой. И едва только начата первая фраза, раскатистая и полная оговорок, пересекаемая боем битюжных подков о булыжник, на крыши опускается бронзовый гул. Заблаговестили в соборе. Гул куполами ложится на город.

И в ответ то ли на тряску телеги, то ли на колокол в рояльном ящике задрезжала струна.

Телега. Оттепель. Грязно. Нельзя на полозьях. Звонят в церквах. Новый год.

Кирилл Павлович сунул руки в карманы.

Мысли прошлись вокруг его головы, мысли, заключенные в колоколе и в колесах, прокатились, слегка надавили на мозг, оставив в нем неотчетливые отпечатки. И в ответ на движения мыслей пришла в движение комната. Рояль выкатился из мрака. Кресла прижались спинками к стенам. Стало светлее. Тревожнее. Стало совсем беспокойно. Поехала в сторону дверь. Человеческая фигура овальным темным пятном заколыхалась напротив, что-то шарила на подоконнике.

— Лена, — сказал Кирилл Павлович, понимая, что это жена.

— Ах! Как я испугалась! Что ж ты стоишь в темноте?

2

Дошатая улица провинциального города. Шестерых везут на расстрел. В телеге неудобно и тесно. Головы лошадей раскачиваются и кивают.

18-й год, и на завтра назначен приход 19-го.

Для того, чтобы найти этот день и понять в нем хоть что-нибудь, нужна страшная сила забвения. Нужно вырвать последующее из сознания. Представьте ясней — 19-й год не настал, неизвестно, что случится впоследствии. Двое свесили ноги и сидят на краю. Остальные разбросались в телеге, полулежа, полуприсев. Один растянут по середине в шинели и уткнулся в доски лицом. Фигуры, подчиняясь толчкам, наклоняются друг к другу и снова раздвигаются в разные стороны. Непрестанная подпрыгивающая жестикуляция тел. Только вытянутый вдоль телеги недвижен, как прибитый к доскам гвоздями.

Правит солдат. Десяток солдат припрыкают к телеге с боков. Встречный фонарь узнает их по очереди. И проверив шинели, винтовки и выправку, отпускает дальше во тьму.

Юрий едет верхом. С высоты седла ему видны все пять. Неподвижность шестого его беспокоит. В ней что-то заатаившееся, неразоблаченное. Ее можно воспринять как напряженную скрытую деятельность, с ней связываются опасные замыслы и даже, пожалуй, страда-

ние. Это неприятно. Страдание здесь излишне. Проявление его, даже в форме омертвелою молчания, кажется Юрию непристойным. И бесполезным. Ведь нельзя изменить содержания шествия. Это и не зависит от Юрия.

Юрий не то чтобы глуп, но вполне простодушен. Наивен, его убежденность ленива. Но она тем крепче, что внедрилась в него без сопротивления с его стороны. Оболочка военного лучше студенческой формы. «На войне, как на войне. Драться, так драться. Не я их, так они меня». Он движим привычками среды, но принимает их за найденные личные решения.

Необходимость врагов расстрелять его не слишком заботит. Он взял ее, как монету, побывавшую во множестве рук. Он передаст ее следующему получателю. Чувство, схожее с инстинктом самосохранения, запрещает ему углубляться в вопрос. Его восприятия касаются очертаний телеги и отскакивают от сидящих людей. Он не смеет знать о них ничего. Он не хочет управлять их жизнью. Юрий, в сущности, добр. Он — простой исполнитель. Правда, он недоволен, что его оторвали от праздника.

Но при этом несколько горд. Его бдительность обеспечивает наступление нового года. Он ответственен за звонкое столкновение бокалов в двенадцать часов и за то, чтоб не пролились капли вина. Он хранит новогодние тосты, сторожит прилив поздравлений. Впрочем он боится заснуть. Выпрямляется на седле. Тот, залегший ничком, вызывает в нем брезгливую нервность.

3

Долгих спит. Или это так ему кажется. Его ноги свешены низко с подводы. Снег буграми ползет под подошвами. Долгих пытается работать с воспоминаниями. Будто дрова, он накладывает их одно на другое. И тогда возникает постройка, имеющая отношение к его положению. Строительным материалом служат слова: провал подпольного центра. Дровяная кладка разваливается от толчка. Оказывается, она не относится к Долгих. Что же относится к нему непосредственно? Для этого у Долгих нет представлений.

Погрузившись в подполье в белом тылу, Долгих знал, что работа смертельна. Простота подобного следствия не требовала сосредоточенности. Долгих натравливал мысль, как борзую, охотясь за множеством убегающих целей. Он загонял ее в скрытое помещение типографии, пускал по тропинкам запретных рабочих собраний. Смерть была крохотной точкой, завершающей содержание фразы. Долгих занимало составление слов. Точку поставят помимо него.

Вот он, город знакомый, где много знакомых домов. Долгих смотрит на город и не узнает ничего. У Долгих будто заранее отнята память. Процесс отдаления от жизни уже начался. И пуля, совершенно определенная, лежащая в магазинной коробке винтовки, несомая в двух шагах от Долгих, пуля, должна переместиться в ткань его тела, лишь закончит постепенное образование смерти.

Но это больше похоже на возникновение жизни. Долгих смотрит на город, и город идет к нему новым. Никакие воспоминания не извращают вида домов. Город выстроен только-что. Подан из-под земли на пружинах. Он заготовлен, чтобы присутствовать на проводах Долгих. Его назначение — показаться Долгих и исчезнуть. Долгих погружает глаза в перекрестки. Улицы торопятся влиться с боков. Долгих спит. Колокола путешествуют по небу.

Нет, он только молчит. Вся шестерка молчит. Молчит Фридрих, военнопленный, член боевой дружины подполья, трое рабочих железнодорожников. Анархист Валерьян, вытянувшись вдоль телеги. Каждый загляделся в себя самого. Глубокая воронка открылась в душе. В нее соскальзывает все относящееся к жизни. Как песок. За гладкие скаты воронки не может зацепиться ничто. Песчинки с шелестом сыплются. Лошадь трясет головой. Все удивительно просто.

Удивительно обыкновенно. Ни малейшей доли значительности. Полнейшая незаинтересованность стен, подъездов, ворот в направлении шествия. Ничего вопросительного в чередовании окон. Ночь не склонна вносить изменений в свое ритмическое развитие. Она еще

хранит в шарообразной своей оболочке жизнь вышеозначенной группы. Но ей безразлично. Шесть кеглей могут свалиться. Ночь спокойно сомкнется над ними. В ее разносортном инвентаре это небольшая издержка. Жизнь щедра, она может иссякнуть в точках пространства, занимаемых данными шестью телами. Шесть человек испарятся, как испаряются капли. Кто подсчитывает количество капель, перешедших в состояние пара? В советских газетах о Долгих поместят некролог.

Он — издержка борьбы, утреска на складах эпохи. Принимаемая в расчет упаковщиками поломка мебели при переезде по квартирам событий. Его смерть давно сбалансирована в конторской книге войны. Десятичная доля процента, учетная бухгалтерами.

Тут нет поводов для оспаривания. Иск предъявлен уместно. Согласно правовым формам классовых схваток. Долгих не имеет претензий. Он и сам поступил бы подобным же образом.

И сознание обоснованности гибели, понимание школьного действия с цифрами, где он сам разделен без остатка, именно незначительность происходящего с ним вызывает тихое мужество. Незатейливое. Прямолинейное мужество человека, пытающегося приспособиться к смерти. Долгих нетребователен к обстановке. Легко привыкает. Некогда привык к одиночке. Привык к ответственности руководителя в послеоктябрьские дни. Никогда не соприкасавшийся с армией, освоился с умением расщипывать военные действия. И с умением снова стать тонкой иглой, прошивающей ткани подполья.

Он сейчас обучался поспешно, но систематически, трогая глазами дома, если не самому нырянию в смерть, то тому, как надо стать перед тем, как нырнуть, как дышать перед прыжком и чтоб голова не кружилась. Он нащупывал приемы уверенного отталкивания от жизни и мог убедиться, что достиг уже в этой науке заметных успехов.

4

— Лена, кого-то опять повезли, — сказал Кирилл Павлович.

Жена, некрасивая, маленькая, с гладкими светлыми волосами, смотрела на

него снизу вверх. Пуховый ветхий платок, растянувшийся и продырявленный, охватил ее слабые плечи. Она держала в куланке угол платка, и тоненькие, как деревянные палочки, пальцы ее надламывались и шевелились.

— Зачем ты все слушаешь, Кира? Ничего поделать нельзя.

Она придвинулась к мужу, но не решилась к нему прикоснуться.

— Ты задумываешься последнее время. Это вредно. Так можно совсем расхвораться.

Елена Петровна зажгла электричество. Елка поднялась и застряла в углу, как темнозеленая башня. Зелень надета на ствол мохнатыми колесами, становящимися, чем выше, тем меньше в диаметре. Стекланные шары лежали на ветвях, как на полках. Разноцветные карандаши свечей были заткнуты в иглы. Кирилл Павлович подошел к этой складчатой вышке и тронул рукою орех. Золотой мешочек ореха закрутился на гарусной петельке.

— Ну, давай, будем ужинать, милый.

Цвета синего ситца глаза ее сделалась ярче от нежности.

— Ты совсем похудел. Ты себя береги.

Она смутилась, как девочка.

— Хорошо, хорошо, что ты, Леночка? Не будем преувеличивать. Ты всегда говоришь о каких-то болезнях. Я здоров, уверяю тебя. — Кирилл Павлович сказал с нетерпением: — Я сейчас оденусь и выйду к столу. Да и ты бы...

Он повернулся, не кончив, и, покачиваясь, прошел в кабинет.

Жена поглядела вслед. Ее крохотное усталое лицо изобразило покорную и преданность. Она приблизилась к зеркалу и осмотрела себя. Неприметная, незатейливая наружность. И морщинки, будто нацарапанные на коже острием тонкой иглы. Неизгладимые трещинки, мелкие, щедрая ткань. Нет, одеваться мне стоило. Платье не скрасило бы робкого облика. Она только стеснялась бы, стала бы вовсе неловкой. Поздно ей наряжаться. Пусть все остается попрежнему.

5

Кирилл Павлович вынул рубашку и стал прилаживать запонки. Он любил

прокрамаленное белье, чтоб хрустело, будто гнущаяся белая жесть. Рубашка прохладно замкнула его крупную сильную грудь. Золотой зуб запонки прокусил насквозь воротник.

Кирилл Павлович умел ценить настоящее. Прошлое и будущее не входило в его расчеты. Выправлять действительность воображением он считал бесполезным. Жизнь и так не слишком долга.

Кирилл Павлович открыл картонную коробку и погрузился в поиски подходящего галстука. Он любил это занятие, как любил все, что могло его украсить и выделить. Его руки погрузились в пестрые, причудливо свернутые, бесполезные полоски материи. На оборотной стороне многих белье клейма с иностранными буквами. Кирилл Павлович был чтимым присяжным поверенным в городе и, случалось, выезжал за границу. Галстуки протекали сквозь пальцы сухими, щекочущими осязание струями. Добротный матовый шелк иных был целомудренно темен.

Кириллу Павловичу стало весело.

Революция могла отнять у него все, что ей вздумается, но не вкус. Мужской, испытанный, ласково выращенный. Впрочем все не так уже грозно. Кирилл Павлович верил в звезду, сверкавшую над его головой. Да и белые быстро окрепли, и, пожалуй, Москве не сберечься. Ну, а ежели большевики. — разве им чужда государственность? Кирилл Павлович умел уживаться. Кое с кем из большевиков был он некогда лично знаком через брата Елены Петровны, Володю, умершего от чахотки в Сибири.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Новый год решено было встретить без посторонних. Мать уговорила Машу остаться. Отец будет рад видеть всех вместе. Маша согласилась, не споря.

Втроем за квадратным столом, образуя собою семью. Но семья здесь — сводка различий, отступлений от взаимного сходства. Если мать и отец не совпадали ни в чем, то Маша будто остановилась на полдороге меж ними. И ре-

шила остаться собой, показав новую возможность сочетания черт и движений. Она заимствовала у матери окраску волос, черные глаза отца изменила собственной молчаливостью. Будто что-то вечно скрывала, худенькая и дичающаяся. Избыток воображения, не использованный родителями; сосредоточился в ней и здесь проявил свою деятельность. Ни чрезмерно умной, ни слишком красивой не считал Кирилл Павлович дочь.

Но ловил на себе иногда ее вопрошительный взгляд. Требовательный и оценивающий. Ему хотелось узнать, что ей собственно нужно. Но стеснялся спросить. Мало ли что Маша ответит. Вдруг что-нибудь слишком причудливое.

Было так: когда Маша кончала гимназию, Кирилл Павлович стал с нею любезен. Попадался на улице — водил девушку вместе с подругами в кондитерскую за пирожками. Заглядывал в комнату Маши, где, будто в копилке, позванивал девичий смех и, вырываясь из двери серебряными гривенниками, раскатывался по квартире. Маша видела отца свежим, всегда будто только что вымытым. Он легко улыбался, и зубы горели во рту, как продолговатые звезды. И вокруг его тела, казалось, ходил газированный искристый воздух.

Маша вглядывалась изумленно. Отец повернулся к ней новым, особенным профилем. Она рассматривала отца, как рассматривают книгу с картинками. Но чем дальше смотрелось, тем становилось грустнее. Тем смиренней вокруг затихала квартира. Будто отец вобрал в себя все освещение дома и оставил мать в полутьме с кухонной керосиновой лампой.

Разговор, закончивший данный период, отличался отчетливой краткостью.

— Маша, почему не бывает у тебя Фаня? Она нездорова?

— Нет, здорова.

— Ты с нею поссорилась?

— Она больше сюда не придет. Мы с нею видимся в классе.

— Хорошо, — сказал Кирилл Павлович. Поморщившись, оглядел внимательно Машу. И потом опять подтвердил:

— Значит так? Хорошо.

Все это вспомнилось Маше сейчас за квадратным столом. Вспомнилось как отчужденность, проявилось как настороженность. Ей представилось, что отец тоже думает о былом разговоре. Что оба они подстерегают друг друга. И оба не могут друг друга простить. Маше стало трудно дышать, как всегда перед глазами отца.

— Где же Юрий? — спросил Кирилл Павлович, подхватывая Машины чувства и распоряжаясь с ними по-своему. — Почему он к нам не пожаловал?

— Юрий послан сегодня в наряд.

Отец явно смотрит насмешливо.

Маша сделала вид, что разглядывает стенные часы, на циферблате которых медленно выравнились стрелки, готовясь совпасть на двенадцати.

— Знаем мы эти наряды.

В голосе Кирилла Павловича — самодовольный задор.

Как он смеет меня презирать? Но главное, есть основания. От которых не спрятаться. Отношения с Юрием душны. В них привкус накуренной комнаты. Мало воздуха. Юрий сам похож на отца. Только проще. Отношения с Юрием будто подчинили Машу отцу.

— Мне рассказывали... Юрий мне говорил, — громко начала Маша, — что открыта большевистская организация. — Нужно перетолкнуть тему на нейтральные рельсы. — И поймали какого-то Долгих.

Кирилл Павлович опустил вилку на стол.

— Долгих? Что ты говоришь? Лена, помнишь, Володин товарищ? Может, ты расскажешь подробнее.

— Нет, папа, я больше не спрашивала.

— Я его представляю отлично. Он бывал у нас вместе с Володей. Он сидел в нашей тюрьме. А потом, помнишь, Лена, приносил к нам температуру какую-то прятать. Жандармы были страшно глупы. Им в голову не приходило, что я храню нелегалку. Кто мог думать, что Долгих так выдвинется?

— Что с ним будет? — спросила жена.

— Не знаю. Плохо придется. А вдруг вспомнит, что мы с ним знакомы?

Вдруг меня теперь арестуют?—Кирилл Павлович заулыбался.

— Ну, что ты, Кирюша. Я не люблю таких шуток.

И особенным удовольствием было заставить жену содрогнуться.

— В самом деле, что я скажу. Знали вы, что он большевик? Разумеется, знал. Как же вы его принимали? Пойди, объясни, что я просто сочувствовал слабому. Это нынче вряд ли поймут.

Кирилл Павлович воодушевился. Жена смотрела ему в лицо. Маша не вслушивалась. Разговор отошел на боковые пути. Имя Юрия не попадало в словесную клетку.

2

Это детское увлечение, гимназические перипетии которого, задержанные разлукой, вдруг скакнули пружиной вперед. Машинное головокружение, торопливый военный роман, где еще не все решено, но решения известны заранее. Маша знала их и отдаляла, понимая их неизбежность. В глазах матери ход событий принимал почтительный вид жениховства. Но в то время не существовало почтительности. Люди были непочтительны сами к себе. Молодежь не обольщалась насчет собственной ценности. Молодежь привыкла, что ее целыми бочками в слабом рассоле патриотизма подают на закуску войне.

Молодежь торопилась утратить себя, унижить до степени мелкой разменной монеты. Жизнь не имела давно тайников. Смерть растеряла риторические приемы торжественного проповедника. Маша работала в лазарете. Там слонялась скупая смерть, брюзгливая, как старая дева. Она придиралась ко всем. Ей хотелось показать в спину кукиш.

Маша не узнавала себя и не хотела себя узнавать. Состояние неопределенной взвинченности совпадало с разорванностью на клочки окружающего бытия. Иногда эти клочки оказывались бумажными копейками конфетти, которыми стреляли друг в друга на частых прифронтовых балах. В помещениях гимназии, в здании городской управы, в любой пригодной для скопления зале вечера зажигались, как факелы. Офицеры, студенты, получившие свободу уча-

щиеся, разносортное сословие беженцев — все, кто протекал через город, как сквозь водосточную трубу, к неизвестной и аляповатой судьбе, перетаскивались из праздника в праздник. Сплошной танцевальный обряд эстафетой передавался по зданиям. Одинаковые цветочные киоски, буфеты с мороженым и прохладительными, связки хвойных гирлянд тянулись за людьми в качестве боевого обоза. Военные оркестры блуждали по городу. Музыканты присаживались на табуретки, всовывали тела в медные калачи труб и принимались играть. Пары всплывали букетами в разгоряченном электрическом свете. Пульс стучал, отбивая три четверти.

Здесь-то и совершались поспешные сделки с чувственностью, удовлетворяющие спрос на любовь. Здесь были все виды клинических случаев, тифозные кризисы, обезволивающие малярии. Маше казалось, что в теле ее кто-то чиркает спичкой. Огонек мигает и гаснет. Юрий крепко ведет ее по медной поверхности вальса. Скользко, как на катке. Огонек свербит и щекочет. Думать некогда. Мир, который обещали ее поколению взрослые, который показывали издали, будто картонную панораму, за который ручались и от имени которого производились расправы, именуемые воспитанием, сгорел с завидной поспешностью.

Наступало двенадцать часов.

Комната выравнивалась, как минутная стрелка, занимая место, соответствующее полночи. Кирилл Павлович поднял бутылку шампанского.

— Осторожней. Не залей скатерти.

— Что ты, Лена? Тридцать лет практики.

Освобожденное из-под замка вино заиграло по бокалам светложелтым пурпурчатым пламенем. Пена кистями сбегала к стеклянным краям.

— А в Москве едят лошадей, — некстати промолвила Маша.

— С новым годом! — привстал Кирилл Павлович.

Часы хлопали и скрипели. Ящик стрелял зычным звоном.

— Дай нам бог. — Кирилл Павлович потянулся губами к своим. — Дай нам бог остаться живыми. Чтобы все по-

хорошему... Все здоровы... Чтобы все успокоилось.

Он растрогался. Наступил девятнадцатый год.

3

Долгих не заметил его появления. Телега переехала в новый пласт времени, ни за что не зацепившись, ничего не свалив по пути. Стало разве темнее вокруг. Пошли выполотые улицы со снежными просветами пустырей. Между клыками домов десна ночных огородов. Лошадь заторопилась. Заборы поспешно тянулись. Дело подходило к концу.

Долгих это почувствовал по приливу приподнятой пристальности, по тому, что внимание вдруг прояснилось и, направленное до сих пор внутрь сознания, повернулось и обратилось к товарищам.

— Валерьян, эй, Валерьян! — тронул Долгих лежащего. — Что ты? Заснул?

— Проспишь станцию, — откликнулся сбоку рабочий.

— Простудиться так можно, не двигаюсь.

Все рассмеялись.

— Что они, спятили? — подумал Юрий и вздрогнул.

Смех, вырвавшийся непроизвольно, будто выбил какие-то днища в их душах. Он сломал раз'единенность. Люди снова прикоснулись друг к другу. Каждый подал веселостью весть о себе. Обнаружилось — все они живы и не струсил никто. Никто не отстал позади, и они всей артелью добираются дружно до смерти.

Смеются. Юрий почувствовал легкий озноб. Валерьян не слышал ничего.

Механизм Валерьяна был странен. Регулярен, но своеобразно. Его регулярность проявлялась в чередовании упадков и взлетов. Валерьян взмывался ракетой, высокий, красивый, вызывающий восхищение слушателей. И тогда на плечи любого собрания накидывал речь, как петлю. Он дружил с аудиторией, схватывая все, что выносило ему на подмостки ее ожидание, креп от внимания слушателей, и мгновенно возвращал им их же стремления колокольными гудкими формулами. Но, случалось, оставаясь с собою самим, выдыхался

мгновенно. И любое сомнение тогда представлялось убийственным. Слова крошились, как известь. Он пустел и сморщивался, будто из него вынули воздух. Он любил жизнь театрально приподнятой страстью и со смертью не мог согласиться.

Тут просто ничего не получалось. Ничего не выходило хорошего. Он лежал, вцепившись руками в телегу, понимая, что сам не встанет, и, как параличного, его придется снимать на руках, и расстреливать лежащего, провалившегося в снежную кашу. Уже заранее вился он, ползая под ударами пуль, заранее грыз землю, и слюна текла изо рта. Если бы у него не отнялся голос, он кричал бы и жаловался, огорчался и плакал бы не столько от страха, сколько от несправедливости, что вот его смеют сталкивать с покатою этой земли и, камнем швырнув в тихую пропасть, сами останутся жить. И уж если погибнуть, то совместно с целой вселенной, и нельзя понять ее безразличия к приближающемуся концу. И казалось, уже утонул и вода тянет книзу, и врывается в кровь, — о какое бессилие, — и сейчас, вздувшись, лопнет сознание.

— Оставьте его, — сказал Долгих. — Он еще отойдет.

— Выдохся парень. Да, — заметил кто-то.

Но уже под'езжали к развязке.

4

Город кончился, и, как черная тряпка, мотались заборы. Вынесенный в поле завод разделился на глыбы кирпичных строений. Две трубы отцепились от неба и остановились осями, вокруг которых загибалась окрестность. Волнистою близной впереди светилась равнина. На ее дальнем краю серело облако леса. Слева невдалеке арками, очевидно через замерзшую реку, разогнулся железно-дорожный мост. От примеси снега сумрак стоял растворенным. Чуть приподнятый над землей, он не мог к ней прикоснуться вплотную. Телега двигалась в освобожденном от него промежутке.

Юрий различал кирпичную стену, оберегавшую владения завода, и место, чуть подалее заводских ворот, где намечен привал. Взбудораженность. Будто поташнивает. Юрий часто и быстро зе-

вал. К горлу подступала икота. Откашливался и не мог прочистить голосовые связки.

— Ваше благородие, разрешите доложить. Здесь надо остановиться.

Унтер под'ехал на лошади. Юрий посмотрел на него и, хотя не различил выражения, понял, что и тому почему-то неловко. Юрий кивнул головой. Что за чорт? Если б водки сейчас. Досадно, что выехал трезвый.

Руководство расстрелом ему предстояло впервые.

На фронт он попасть не успел. Забранный из студентов в последнюю очередь в октябрьские дни, он только заканчивал юнкерское.

Выполняя приказ, он оказался в патруле на улице. С окрестных сторон на него напирало чужое и шероховатое, неприязненное своей непонятностью, что следовало отбросить назад. Ни из своего воспитания, ни из мыслей своей среды он не мог извлечь никаких инструментов, позволяющих вскрыть содержание событий. В переулке Арбата, в числе случайной пятерки, он караулил один из углов. Подтягивая винтовку к плечу, искал случая выстрелить. Сетовал вместе с товарищами, что случай откладывается неизвестно куда.

День тусклый и мутный, не решавшийся выпустить солнце наружу, не успевший сгуститься в сетки дождя. День неустойчивый, совпадающий с неопределенностью Юрия, выжидающий и нерешительный, кренящийся то в одну сторону, то в другую, поворотный день современности.

Переулки пусты, прохожие не высываются, под'езды наглухо замкнуты. Неподвижно уснувшее выражение города усиливало странности дня, придавая ему сходство с какой-то светлой и несовременной ночью. Удары деревянных шаров о столбики кеглей, — и кегли врассыпную катились по крышам, прежде чем расколота об обшивку каменных плит. Или стук костяшек на счетах? Москва отдана бухгалтерам на расправу, и они гремят по кварталам, подводя итоги войны.

Но с чем бы их ни сравнить, выстрелы подстегивали Юрия и настраивали его гордо и дерзко. Тем более, что хотя они щедро выныривали из всех щелей

города, трудно было определить их расположение, и, казалось, они могут обойти по окружности Юрия, не задев его переулка.

На противоположном конце квартала вдруг засновали фигуры. Выбежали и остановились, очевидно советуясь. Не военные, каждый одет по-разному. Их намерения были неясны. Расстояние скрадывало лица. Прорывая момент замешательства, по трубе переулка проскакали два выстрела. Их обогоняя, над головою Юрия тонко цокнул фонарь. Стеклянные стенки его превратились в битые звезды. Юнкера подняли ружья. Стрельба пошла попеременно.

Люди отскочили обратно за угол. Один остался лежать. Юрий не заметил, как тот свалился. Другой снова высунулся и потащил упавшего за плечи. Юрий автоматически целился, боясь опоздать. Его выстрел выбежал теперь в одиночку. Человек неожиданно упал. «Молодец» — сказали товарищи.

Юрий опустил винтовку растерянно.

— Молодец, здорово срезал, — говорили вокруг неестественно громко.

Смущенность Юрия гасла. Он понял, что на их месте сам произнес бы те же слова.

— Молодец, правильно целил.

Получилось само собой, что внимание собралось на меткости выстрела, на сценке попадания в цель. Опрокинутый на землю не принимался в расчет. И хотя щеки Юрия горели от чего-то непоправимого и необычного, стало ясно, что все очень просто. Что он даже выделялся, стал значительней, опередив случайно соседей. Тем более, что мысль об убийстве смягчалась расстоянием от дула винтовки до человека вдали и невидимостью пули. Получалось затруднительным поставить выстрел в прямую зависимость с чьей-нибудь смертью. Выходило, будто спуск затвора происходит, не вызывая последствий, а человек поскользнулся на тротуаре и лег по своему усмотрению.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

После ужина Кирилл Павлович надумал помузицировать. Он доволен укромно проведенным вечером. Нет,

семья все же нужна. «Я со своими» — ощущал он тепло и лениво. «С моими». С теми, чьи лица известны ему, чьи души принимают его без вопроса. «Все-таки это мои». Человеку трудно дышать вне своих. Он почти размечтался. «Близкие сердцу». Жаркое, верное слово — семья.

— Поиграем, Леночка. Что ты скажешь? Это будет неплохо, по-моему.

Елена Петровна поднялась, счастливая.

— И елку бы надо зажечь. Маша, дай спички.

— Я сама, папа. Я встану на стул. Мама, если хочешь помочь, зажигай нижние свечи.

Кирилл Павлович вынимал из футляра прикрытую вязаным одеяльцем пухлую, сонную скрипку.

Мать и дочь защелкали спичками, развешивая огоньки по ветвям.

Кирилл Павлович размышлял: «Хорошо. Новый год. Елка. Именно теперь, при всеобщей непрочности, семья становится важной. Нужно ей уделять больше внимания. Может, даже неплохо подумать о боге. Кто знает, вдруг есть что-то высшее. Многих война повернула к религии. Это отрадно. Кирилл Павлович наконец не мальчишка, чтобы смеяться над убеждениями окружающих. Религия — верное противоядие. Он покачал головой. Поистине новогодние мысли. И приятно быть добрым. Я сегодня действительно добр...»

Скрипка тоже входила в расчлененное единство семьи. Кирилл Павлович берег ее с университетских времен. Он знал каждую стертость и каждый отек пятнистого желтого лака. Он наканифолил смычок, зашипнул пальцами струны на грифе, накручивая другою рукой осторожно головки колков и наконец сдвигая струны смычком, устанавливая нужное соотношение между ля, ми, ре и обернутым медью баском.

По мере настраиванья скрипки происходила настройка огней. Значками желтеньких нот они вырисовывались в зеленой графике веток. Шары были липки от блеска. Тончайшая упряжь серебряных нитей стягивала разошедшиеся хвойные щетки, внося в зрелище паутинную линейность углов и парал-

лелей, почти отвлеченную мысль, схематизирующую накипи игл.

Кирилл Павлович укрепил на плече бархатную подушечку, чтобы дно скрипки не терло сукно сюртука. Он гордился прикосновенностью к музыке. Чуть зажмурив глаза, прижался щекой к женственно выгнутому телу инструмента. Жена заиграла вступление.

Дребезжащий, словно из лучинок, перекинутый мостик без перилец, и луна стоит над ручьем. Струны вспыхивали по очереди и тут же испуганно гасли. Звуки были слабы, и длина их определялась длиною смычка. Они разобщенно заканчивались, не вливаясь друг в друга. Скрипучий, узенький мостик.

Маша вышла в коридор.

Свечи на елке укорачивались одновременно. Тени ветвей стремились перебраться на потолок и там повиснуть тесно сплетенным гнездом. По темному коридору Маша прошла к своей комнате. Тронула дверь. Вошла.

— Песнь моя! Лети с мольбою
Тихо в час ночной...

Маша остановилась. Стекла стояли синими льдинами. Темный профиль стола. Села на длинную кровать и уперлась ладонями в колючую шерсть одеяла. Ей было удивительно грустно.

...Тихо в час ночной.
В рошу лег-кою стопо-ю
Ты приходи, друг мой.

Она будто утратила что-то невозвратно-значительное и осталась совсем одна. Почему не пришел нынче Юрий? С ним что-то сейчас совершается. Зачем он не сказал ей, куда его вызвали?

Здесь они целовались. И зачем этот глупый роман? Как получилось, что она целуется именно с Юрием? От безразличия, от страха, от случайно нахлынувшей нежности. Оттого, что не хочется думать, а хочется жить.

Она глупа, невероятно глупа. Разве Юрий похож на героя? Люди спешно мельчают вокруг. И мельчает она. Маша закрыла глаза.

...Зеленоватые вечера предпасхальных каникул, холодок ранних апрелей, поскверкивающий и ломающийся. Город теряет вещественность. Он подменил себя собственным отражением в зерка-

ле. Молодость. К городу не прикоснуться, рука стучается о стекло. Вертикально и непрочно прислоненное к окраинам небо, по блеклой поверхности которого свежее набрызганые капли звезд. И, скрипнув калиткой, отряхнув ветер, запутывающий каждого в свои ременные сети, выйти на еще заполированную там и сям квадратами льда панель. И по этим паркетинам льда, мимо луж, лежащих, как мешки с насаванной в них до отказа водой, мимо телеграфных столбов с карандашной штриховкою проволоч, мимо свечных, табачных и булочных, где уже штемпеля электрических ламп и гром медяков о доски прилавок, мимо прохожих, подымающихся из-под земли, как из театрального люка и превращающихся за плечами в неясные составы из кашлей, хрустов и шорохов, в этот час, когда все дома и заборы согласованы с собственной юностью, поддерживаются ее сплошным притяжением и только б не усомниться в себе, чтобы мир не качнулся на длинном своем коромысле, заваливаясь за черту горизонта, — в этот час как легко идет за город, как понятна тогда торопливость.

Ей навстречу выносятся небо не городское, кусками, не окаймленное крышами, а во всей разогнутой цельности и, дрожа всеми створками, становится по ту сторону железнодорожных мостов. И вслепую по полю шарят кустарники и, отброшенные насыпями, катятся вниз, как мячи. Сумерки примеряют свое расстояние к земле, чтоб совпасть наконец с нею по всем направлениям. И тогда торжественно ходят под руку с замыслами и приветствуют будущее, накатывающееся по рельсам, как груженный товарный состав.

Но будущему не легко состояться. На свете случаются войны. Происходят разоблачения, обескровливающие, как пиявки, романтику. И чем размашистей поступь событий, тем тщедушнее выглядят ближние.

Война не родила для Маши героев. И тогда за героев сходят знакомые мальчишки. Гимназисты, погрузившиеся в войну, как в бак с разведенною краской. Они возвращаются домой в охряных разводах бахвальства. Раннее повзросление набивает им синеву под

глаза. Им в конце концов все прощается, но их всегда заподозриваешь. А вокруг происходят жестокие вещи, и в них невольно замешан. А отец играет на скрипке. И все совсем растерялись, и нельзя понять ничего. А по улице заколотились копыта. Мчались всадники. Ржали далекие лошади. Маша вскочила. Издали, будто кремень о кремень, два короткие выстрела. Ей показалось, что это относится к Юрию. Что-то уже разрешилось.

— Кончено, — подумала Маша, сама не зная о чем. — Кончено, — сказала она и заплакала.

2

Застегнув тулуп, Долгих прыгнул с подводы. Ноги затекли, и хотелось пройтись.

— Куда? — закричал офицер.

— Куда? — спросил Долгих; — я не знаю, куда.

— Вот сюда! Здесь стой! — Юрий торопился кончать.

Пока не опомнились он сам, осужденные, ночь, стена... Узлы из костей и тряпок. Не люди. Ничего похожего на людей. Это надо помнить отчетливо. Кожаные обрубки. Прсткнуть и выпустить воздух, пока не опомнилась ночь. Ночь шумела вокруг, как река. И украдкой уехать обратно. Копытами жечь мостовую. И напиться, и спать.

Все стояли уже на земле. Всех окружали солдаты. Все гурьбой подходили к стене. Валерьяна толкнули прикладом. Он приподнялся на руках и смотрел прямо вперед. Лошадиные крупы, и над ними белесая ночь. Тишайшая ночь широкой, распахнутой ямой. Он смотрел, силясь понять. И вдруг встал во весь рост на телеге.

Жизнь проста. Жизнь с'едобна, как хлеб. Пахнет хлебом и ночью. В ней есть лошадиное переступание копыт, топтанье на месте. И острые вздрагивающие уши, и жесткие гривы, и пофыркивание лошадиных ноздрей. Ночь, как хлеб, на зубах Валерьяна.

— Дураки! Что вы собственно делаете?

Он стоял на телеге, приподнятый ею, как сценой. Он вдруг понял, что ночь его слушает. И покорна ему. Ветер ле-

жит на груди. Валерьян им обернут, как знаменем.

— Ну, слезай!

— Дураки! Это значит всерьез. Это верно. Это его, Валерьяна... Вообразили, что им вправду удастся. Как они мерзко толкуются на месте... И загонят его, и задавят.

— Папиросу! — сказал он, хмелея от ненависти.

Все оглянулись и вздрогнули. Его огромное тело болталось, будто привязанное за волосы к небу.

— Покурить! — повторил он. — Я так не согласен.

— Снять с телеги! — выкрикнул Юрий.

— Прочь!

Произошло замешательство. Валерьян сам спрыгнул с подводы на снег. Все расступились. Он пошел первым к стене. Руки взмахивали. Полон злобной горячей тоской.

— Стройся! — Юрий вдруг растерялся. Он услышал, как слаб его голос по сравнению с этим нежданно раздавшимся, выпрыгнувшим из тьмы, как из погребя.

— Дураки! — кричал Валерьян.

Но солдаты все же построились.

Сразу образовалось расстояние между сбитой кучкой у стенки и короткой шеренгой напротив. Тут всплыло мгновение затишья. Всплыло и остановилось, раскинувшись длинно над полем. Сейчас бы сразу стрелять.

— Надо прощаться, — подумал отчетливо Долгих. — Вот оно как, в самом деле. Именно так. Какая будет завтра погода? Глубже вздохнуть. Революция. Фридрих — это, голубчик, конец.

— Вы кого же это, сволочи? — вятно сказал Валерьян.

— Заткнуть глотку! — Юрий командовал дальше. Никаких промедлений. Ружья поднялись. Земля опустилась под ним, будто чашка весов.

— Вы кого же, своих убиваете? Рабочих! Убиваете! Без папирос!

Ствол винтовки торчал у лица Валерьяна.

— Убери! Дай мне сказать! Убери! Ствол его раздражал до горячки. И, зажмурив глаза, ослепленный бессмысленной яростью, от шатнулся по

направленью к стволу. Он хотел его отшвырнуть. Но, сцепившись руками в чугунную палку, в один стремительный миг он понял, — солдат держит плохо ружье, солдат перепуган. Он выломал винтовку толчком у солдата и взмахнул ею, ревя. И прикладом грохнул по Юрию.

Юрий ахнул. Земля заплывала на небо. Поле выпрямилось вертикальной стеной. Голова зажглась, словно факел. Стало страшно светло. Было...

Юрий свалился на землю.

Было бегство.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Бежали по трем направлениям.

Валерьян сам едва не свалился от силы размаха. Подняв палку ружья, он пронесся мимо шеренги. Шеренга сломалась на части. Унтер бросился к Юрию. Люди кричали. Будто парь разорвали котел. Долгих молча летел вдоль стены. Фридрих за ним. Неслись по трем радиусам. Осколки, разбросанные взрывом. Валерьян врезался в ночь. В ушах — свистящая скорость. Если б он оступился, он вонзился бы в землю, как нож. Падал острым осколком по направлению к мосту. Фридрих скоро отстал. Свернул в сторону или упал. Шаги его прекратились. Трое остальных ринулись в гладкое поле. Надеялись, перепрыгнув через его обнаженную белизну, скрыться в дальнем лесу. Сознание Долгих отметило выстрелы.

Это было пробуждением мыслей.

До сих пор Долгих мчался, не успевая понять происшедшее. Возможно, у него были закрыты глаза. Он должен был бежать, иначе б лопнуло сердце.

Выстрелы пробили, как часы. Два толчка — в ногу, в плечо. Долгих понял, что ранен.

Валерьян ворвался на мост. Прыгая по деревянным перекладинам, между которыми была пустота, как по клавишам. Два нарисованные тушью рельса выгнулись успокоительно ровными линиями. Пули стукнули в них молоточками. Рельс звякнул. Валерьян подскочил.

Ему показалось, что мост крылом заносится кверху. Вместе с ним.

И стреляют со всех сторон сразу. Мост — плетеная клетка. Валерьян замер, приколотый к доскам. Выстрелы вдруг оборвались. Он их вызвал своими движениями и прекратил остановкой. Дирижировал выстрелами. Стоит поднять ему руку, — пули слетятся опять.

Мост начал глухо трястись. Рельсы заерзали, стучаясь стыками. С противоположного берега на мост вступил паровоз.

Пассажирский состав, стремительный и многохолмный. Три фонаря мели сумрак широкими метлами. Голова Валерьяна скрипела и лопалась. Узкий мост натягивался на состав, как перчатка. Оставалось три свободных пролета. Два. Фонари подхватили его. Он скакнул через перила. На мгновение закачался на краешке шпалы, высунувшемся над пропастью. Кричал! Так загнать, такое с ним сделать! Качался, цепляясь ногтями за воздух. Воздух скользок, отвесен. И отбросил шпалу ногами. Сердце, свиснув, поднялось к горлу. И вся жизнь в подробнейшей яркости пролетела навстречу. Прошла тысяча лет. Из откупоренной головы пробкой выстрелило сознание. Прошли тысячи лет. Он что-то сучит руками, сучит, мнет и карабкается из мешка.

Над ним тихо образуется небо.

Тихо-тихо складной игрушечный мост расцепил суставы пролетов. Черные коробки вагонов равномерно сдвигаются вправо. Мост освобожден от них вовсе. Раскаленный уголек фонаря на последнем вагоне. Он подчеркивает небо, будто падающая звезда. Губы Валерьяна дрожали. Он лежит здесь в немыслимом одиночестве. Он плачет. Ему хорошо. По лицу провел мокрой от снега ладонью. Рука стала липкой и черной. На лице слезы и кровь. Он, оказывается, упал на кустарник. Как на матрац. И потому изодрался как следует.

2

Трое ошиблись в расчете. Они выбрались в поле. Им хотелось добраться до леса. Лес представлял немало удобств. Отдышавшись, под прикрытием леса, они дошли бы до сел. Там

их жизни сложились бы разнообразно. Ее трудно предугадать со всеми отклонениями, как невозможно дословно представить будущую участь любого из нас. В данном случае предугадывать тщетно. До леса не добрался никто.

Поле было рыхлым, как творог. Снег проваливался под ногами. По такому бы снегу на лыжах. Попав в это светлое поле, они стали отчетливо видимы. Торчали, как черные столбики. К ним пристрелялись легко. Столбик за столбиком кувыркнулся и стукнулся о белизну: Серый лес сошел с места и журавлиным косым треугольником пролетел над их головами.

Их имена неизвестны. Я не могу их здесь привести.

3

Значит кость ноги не пробита. Долгих бежал, прижимаясь к стене. Здесь он был в темноте. Стена загибалась. Боясь от нее отделиться, Долгих повернул вместе с ней. Обогнул фабричный двор и оказался на противоположной его стороне. Сбросил тулуп. Стало легко и прохладно.

Легко и как-то расслабленно. Силы его истекали. Двумя теплыми струями они изливались из тела. Это было кровотечение. Бодрящая отдача лишнего веса. Голова мягко кружилась. Долгих начал шататься. Происходило что-то недолжное, опасное и обезволивающее. Он остановился за усиление.

Фабрика оказалась обойденной и оставленной сзади.

Долгих снова стоял на дороге, направляющей свою бурю полосу в город. Дорога, похожая на ту, по которой их привезли. Ее также облегал пустыри, огороды, заборы, также сбоку мешками висели сухие вершины деревьев. И в дальнейшем также начинались дома. Только все совсем неподвижно. Все стало удивительно вымершим, вполне потерявшим сознание.

Долгих сел прямо на снег.

Как далекое воспоминание, по окраине ночи прокатились последние выстрелы. Он сидел, опустив ноги в канаву. Вероятно, его оцепенение продолжалось долго. Он поднимал голову и проверял заново колени, заборы, деревья. Ничего не менялось. Все находилось на месте.

Закрывал глаза, успокоенный. Так происходило много раз, еще и еще.

Это была новая его жизнь, подаренная ему обстоятельствами. Удивительно спокойная, полная простейшего равновесия. Называвшаяся простейшими видами слов: пустыри, огороды, заборы. Он не знал, как с ней поступить. Подсчитает ее составные части, соберет их перед глазами и снова отпустит на волю.

Огороды, деревья, канава.

Вдруг он понял, что думает о другом. По склону канавы у левой ноги обнаружилось густое пятно. Оно увеличивалось при каждом новом осмотре. Одновременно промокала боку рубашка. Долгих смотрел на пятно, и оно его беспокоило. В сущности он помнил все время только его. С пятном нужно было бороться. Снег всасывал кровь. Это лишнее. Кровь могла еще пригодиться.

Нет, он думает не о пятне, — о тюрьме. Несомненно. Одинокaя камера с электрической лампочкой, там он провел восемь лет. Вошел недоким мальчишкой и вырос в революционера. Ограниченное каменное поприще его ученических лет. Страннические годы товарища Долгих. Путешествие по диагонали от окна, мимо койки, в угол, поворот и назад. Он читал приложения к «Ниве». Идиотские сборники. Отдел смеси. Новый способ выведения пятен. Пятен, пятен... Позвольте! Лучший метод, надежнейший. При кровотечении следует...

Долгих ползал по краю канавы и читал вслух, как дети. Электрическая лампочка кружилась над его головой.

...Отгresti снег и добраться до чистого слоя. Дальше, дальше... Прикладывать к ранам плотнее. Здесь он вздрогнул от холода. Он сидел и прикладывал снег.

И вокруг началось шевеление. Уже был предсказан рассвет. И вокруг предсказанию верили. Ничего не случилось. Разве все стало чуть ощутимей. Чуть виднее. Тени тихо расслаивались, образовывая между собою незанятые пространства. Дорога, деревья, заборы — все еще пребывало попрежнему, но какая-то скрытая тяга, потребность в изменении форм пронизывала и напрягала предметы. Все будто тонко вибриро-

вало. И, как первый признак, что с ночью непрочно, вдали зашкряпали шаги.

Шли молочницы, крепкие бабы с бидонами. Военный оркестр бидонов и баб. Дню не давалось отсрочки. Для его утренних нужд предлагался свежий удой. Дню следовало насосаться молока перед тем, как пуститься на выдумки. Долгих брел, шатался и пел. Бабы обгоняли его.

— Нализался с утра!

— Ишь успел! Прорва!

— Да, успел, — сказал Долгих.

Он шатался и отставал. Молочницы миновали.

4

На дороге различаются всадники. Конный патруль. Колотушкой сторожа — стуки копыт. Если б лечь на землю лицом, чтоб не спрашивали, не окликали. Осмотревшись, Долгих полез на забор.

Он хрипел, забор был высок. Долгих скребся ногами о доски. Втащил живот на забор и свесился вниз головой. Тело сорвалось с забора. На вытянутые руки он грузно грохнулся в снег. Заметили? Не успели заметить?

Черным свертком бежала собака.

Собака катилась и лаяла. Долгих был на пустынном дворе, в одиноком белом пространстве. Засыпанные снегом прямоугольные кладки поленьев. Вдали два черные домика. Патруль равнялся с забором. Собака бешено лаяла.

Долгих стоял на коленях, протянув руки к собаке.

— Жучка, Шарик, Дианка!

«Пощади» — думал Долгих.

Он шептал, умолял ее. Собака перепрыгнула через горку березовых дров. Долгих слышал, как яростно дышит животное. Собака задержалась на пружинистых лапах и вот завилыла хвостом и, вытянув сильное туловище, звенула Долгих в лицо. Она обошла Долгих сбоку, всасывая воздух ноздрями. Потом отскочила и опрокинулась в снег. И закатывалась на спину, выбивая лапами снежную пыль. Играла, предлагала Долгих играть. Долгих, счастливый, смотрел на нее. Она легла рядом с ним.

Тут впервые открылась боль в ранах. Долгих морщился, боль явилась совсем преждевременно. Ему некогда

заниматься ею. Следовало подсчитать свои прибыли. Ступать он еще мог, хотя боль овладевала ногой. В лопатке будто загорелась свеча, и язык огня обжигал рваные мышцы. Несомненно, район будет оцеплен. Нельзя поручиться за обитателей домиков.

Мысли Долгих выравнивались, подгоняемые болью. Он почувствовал себя человеком, то-есть большевиком, то-есть существом, стремящимся бороться. То, что с ним совершалось, он не смел считать исключительным. Рядовые обстоятельства необозримого боя. Он выискивал лучшее прикрытие не только из самосохранения. Обязательство бойца перед соседями. Цепь не разорвется, если каждый займет в ней устойчивое положение.

Нужно двигаться в город. Здесь его либо схватят, либо смотрят воспаляющиеся ранения. Но на что рассчитывать в городе? Долгих знал кое-кого из рабочих, но, чтобы достиг их, предстояло пересечь город насквозь. Улицы полны патрулей. Долгих опознают бесспорно. И притом во френче, измазанном кровью и грязью.

Правда, были давние связи, затерянные в прежних годах, не возобновленные с тех пор за ненадобностью. Здесь он некогда рос, сидел в тюрьме и учился.

Он поднялся и, жмурясь от боли, пошел. Собака охраняла его продвижение. В одном месте забора он заметил отставшие доски. Протиснулся боком в лазейку и опять проник на дорогу.

Стало заметно светлей. Город стоял рядом с Долгих недоверчивый, сонный. Прожигая неподвижные тучи, кованым полукругом прислонялась к домам красная заслонка зимней зари. Над многими крышами вздымались прямые морозные статуи дыма. Город воздерживался от движений, и только крепко пролепленный дым свидетельствовал о проснувшихся рано хозяевах.

Долгих представил себе раскаленные своды русских печей с завалившим их, распадающимся и хрустящим огнем. Ему захотелось погреться. И чтоб женщина подхватывала ухватом чугунные ядра котлов к рогатым выступам пламени и в крутых ручьях кипятка, пры-

гая, варилась картошка. Долгих жил и нуждался в тепле. Желания были нелепы.

Дорога отказывалась пустовать. Выдравшись из покоя раньше всего остального, она и на этот раз проявила неуклонную деятельность. Теперь она выдумала для Долгих обоз.

Прицелкиванье ременных кнутов, скрип полозьев, запах дегтя, бараньих тулупов над деревянную цепью саней. Иногда передние сани заваливались на ухабе. И за ними с волнистой медлительностью приседали дальнейшие.

В их раскидистых гнездах туго сидели мешки. Твердые зимние овощи плыли на рынок. Или запертые в дровнях, как в клетках, березовые кругляки. Или утробы саней перехвачены вздутым брезентом и сытно накормлены маслом, творогом, яйцами.

Кочевое хозяйство обоза уже подходило к концу. Долгих пошел за санями. Он стал частью мерного шествия. Оно прикрывало его и навязывало ему направление.

— Подвези, — обратился Долгих к крестьянину. Тот сидел, завернутый в некоробящуюся овчину. Из огромных его рукавиц текли полосы вожжей. Мужик оглядел Долгих равнодушно и молча. Видя, что тот не намерен отстать, сделал знак кнутовищем. Долгих повис на санях. Его руки погрузились в комья холодного сена. В отверстии черной дуги впереди помещалась зря.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Маша проснулась от стука. Села на постели и решила, что ей показалось. В комнате осторожно светало. Фотографии, наколотые над подушкой, уже отделились от стенки. Дерево в окне, впутав в занавес черные прутья, плоско лежало на стеклах. Часы тикали. Сердце работало мерно и трезво.

Маша огляделась спокойно. Почти с безразличием. Она удивилась своей ровной уверенности. Будто она постарела за ночь. Выросла, пережила что-то главное. Нет, сон был глубок, не смешанный ни с какими поступками.

Комната, где еще хранились в столе ее девичьи альбомы, изрисованные од-

ноклассницами, где ее дневник вперемежку стихами и прозой повествовал о лишениях ученической жизни, об успехах и разнообразных намерениях, комната, охватившая Машу, будто кожный покров, применявшаяся постепенно к изменениям возраста Маши, выглядела сейчас отделенной и самостоятельной.

— Дневник надо сжечь и альбомы, и письма, — подумала Маша с таким нетерпением, словно только и проснулась для этого. Словно кто-то позвал ее издали, и ей требовалось собраться в дорогу. При чем сборы предстояли короткие. Нужно выйти, как есть, без вещей, без раздумий.

Ее взгляд зацепился за карточку Юрия, и она вся подалась вперед. Юрий, смешно уменьшенный в размерах, в летнем студенческом кителе. Лицо, раздвинутое беспричинной улыбкой, самодовольное и молодое. Эту карточку Маша любила. Здесь Юрий нравился ей больше, чем в жизни. Здесь не было юнкерства Юрия, нажитых послевоенных замашек. Сейчас Маша смотрела со страхом, будто в лице крылось нечто ужасное.

— Что с ним сделалось? Если я не опомнюсь, что же будет со мной? С Юрием кончено, — вдруг мелькнуло, как дальняя молния.

— Ну, с чего я взяла? — Маша прижала ладони к щекам.

В это время стук повторился. Маша не подняла головы, затаив глубоко дыхание. Она словно ожидала появления стука. Стук относился к ней лично. Именно ее вызывали, к ней обращались.

— Одну минуту, — сказала она. — Сейчас, сейчас. Чтоб ничего не забыть.

Она будто прощалась сама с собой окончательно.

Маша, набросив халат, погрузила ноги в ждавшие на коврик туфли. Она подбежала к подоконнику и, расплывшись лицом о стекло, скосила глаза в сторону подъезда. Там виднелся человек, ей незнакомый. В рассветающей наскоро улице он обозначился ясно. Маша различила бурый френч, сидевший буграми, исполосованные грязью обмотки. Человек был без шапки, со скончанными волосами. Он стоял, ужавшись

руками за дверь. Его поза выражала страдание.

У Маши остановилось дыхание. Такого она не ждала. Она чувствовала, что теряется, и не знает, как поступить. Человек поднял голову и провел глазами по окнам. Его лицо было серым и страшным. Полным недоумения. Безнадежная сосредоточенность. Он заметил Машу и теперь смотрел на нее.

Маша не успела отскочить. Разбудить своих, закричать, засмеяться? Взгляд человека ничего не объяснял. И потом — никакого знака, ни просьбы, ни требования. Стоял, странно вытянувшись и наклонившись вперед. Было ясно, что он упадет. Маша взмахнула руками и побежала в переднюю.

То, что она делала, ей представлялось безумным. Но окончательно неизбежным и правильным. Ее руки гудали в болтах и цепочках, которыми уснастил отец парадную дверь. Ей хотелось производить меньше шума. Если встанут родители, происшествие станет крикливым. Все спасение в быстром молчании. Как стрекочут эти цепочки! Маша вырвала дверь из запоров. Холод плавно обнял ее.

Прямоугольник холодного света, прямоугольник безмолвия, взятая на вырез часть улицы, прямоугольник двери и незнакомец словно взвешивающий, упасть ему или еще продержаться немного. Он хотел что-то сказать, но синие губы не слушались. Зубы выскакивали наружу. Незнакомец дергал ртом, будто покусывал воздух.

— Да войдите же! Боже мой! Так нельзя! Нельзя, — повторила Маша, схватившись за нужное слово. С человеком произвели что-то, чего делать нельзя. Он был олицетворением недолжного, нарушенных обещанных норм. Над ним учинили что-то оскорбляющее, вопиющее. Иначе он не грыз бы так воздух, не боялся б распахнутой двери, не будил бы стучом дома. Маше стало необходимым, чтоб он поверил, что дверь вправду открыта ему.

— Скорей! Нельзя! Да входите ж, мне холодно.

И тогда человек понял и понял самое главное. Он ступил через порог, и Маша заперла дверь.

Цепляясь рукою за вешалку, он прошел перед Машей. Наткнулся на стул и хотел его обойти, не вдруг сел боком.

— Одну минуту, — сказал он, собирая слова и водя рукой перед лицом, словно стряхивая с себя паутину. — Я хотел только узнать, здесь живет Кирилл Павлович?

Но прежде, чем ответила Маша на неестественно глухой и спокойный, будто издавна заготовленный вопрос, незнакомец криво пополз и, роняя по пути трости и зонтики, прислоненные к подзеркальнику, во весь рост опустился на пол, стукнувшись головою о вешалку.

2

Маша закрыла глаза. Тишина поднялась от пола. Плеснулась вверх, как вода от упавшего камня. Маша чувствовала у своих ног тяжело лежавшее тело, от которого исходило оцепенение, приостановившее все ее мысли. Она отодвинулась и осторожно, будто ступая по мокрому, обошла вытянутую фигуру. Не решаясь к ней прикоснуться, издала взглядываясь. Человек подогнул ногу, прижимался щекою к ковру. Маша вспомнила об электричестве и нащупала выключатель. Передняя раскрылась, поднесенная вплотную к лицу. Френч лежавшего покоробился, ссохся, намок.

— Кровь! — поняла Маша и слегка подняла руки. — Раненый.

Глаза ее остановились. Она покачивала одеревяневшею головою. Вместе с тем это открытие отбросило Машу к действительности. Она выбежала в столовую.

На буфете мглистым от рассвета стеклом белел толстый графин. Его горлышко застучало о стенку стакана. Вода прыгала мимо на пол. Пальцы Маши стали мокры.

За спиною вздохнула дверь, Маша резко обернулась навстречу. Отжимая медную ручку, на пороге стоял Кирилл Павлович.

Малиновый халат в пышных узорах подхвачен крученым шнурком. Что-то жреческое, обрядовое и шутовское было в его яйцевидной фигуре. Он пытался

разобраться в причинах, вытянувших его сетями из сна.

Ему заранее не нравились возможные объяснения дочери. Недоверчивое удивление выражал его осуждающий взгляд.

— Что ты бегаешь, Маша? Ты пьешь воду? Разве ты нездорова?

Он хотел ее устыдить. Машин вид встревоженно жалок. И, пожалуй, напрасно сердиться. Лучше кончить происшествие миром.

Маша пыталась ответить. Ничего не приходило на ум. Она длинно набирала дыхание.

— Там, в передней...

— Ну же, ну, — напрягся Кирилл Павлович, подоженный волнением дочери.

— Вы не слышали разве? Стучали в парадную. Я пошла открывать.

— Кто стучал?

— Я не знаю. Он назвал вас по имени.

— Толком, толком. Что дальше?

— Я впустила.

— Ты совсем сумасшедшая! Как ты могла пускать неизвестно кого? Ты б меня разбудила! — Голос его захрипел. Лицо стало красным, как мясо. В то же время он не хотел быть услышанным посторонним, стоящим в передней. — Ты всегда... Идиотка! — Он скрипнул зубами. И готов был ударить Машу. Но повернулся и вкрадчивой, цепляющейся походкой, с искривленным лицом, одновременно и злобным, и вежливым, — неизвестно, каким выражением окончательно вооружиться, — торопливо затопал в переднюю.

Маша видела, как спина его сразу подалась назад. Он был отбит обратно, как мяч.

— Чорт! — шептал он, и звуки свистели во рту. — Чорт возьми! Дворника надо. За дворником. Это пьяный, Машенька, это пьяный какой-то! — Он развел руками, взывая к участию Маши.

— Это — раненый, папа.

Маша двигалась со стаканом в руке, как по узкому мостику. Стараясь не выплеснуть воду, добралась до лежащего. Опустилась рядом с ним на колени. Кирилл Павлович следил за ее движениями с брезгливым, беспомощным ужасом. Маша тронула голову раненого, и лицо приподнялось на свет.

— Чорт возьми! что ты делаешь?

Брови Кирилла Павловича вскинулись. Он словно поднял на их остриях совсем невозможную мысль. Держал ее в загнутых дугах бровей. Уронил ее прямо на руки Маши.

— Это — Долгих! — Он будто выкрикнул шопотом. — Долгих! Я его узнаю.

3

Обоз добрался где рынка. Лошади погрузили морды в привязанные к оглоблям мешки. Блаженно и звучно жевали. Сено сухими кистями свисало с оттянутых губ. Вдоль коридоров ларей рассыпаются звуки шагов. Трущиеся шорохи валенок. Широкобокий собор первым встречается с солнцем. Литые шары куполов лежат на лучах, как на досках.

Раскрываются клетки ларей. В них тихо светятся овощи. Раскаленные угли моркови, глиняные комья картофеля, огурцы, как мешочки из зеленой клеенки.

Мясники, заноса топоры, расщепляют мерзлые туши. Деревянное красное мясо падает в чашки весов. Над прилавками гири порхают, будто чугунные голуби. Разрисованные бумажки различных достоинств просчитываются на свету.

День, из окрестных деревень привезенный на дровнях, именно на рыночной площади начинает поспешно взрослеть. Наглотавшись свежего гомона, он наступает на город. По все более широким кругам, как на велосипеде, он пролетает по крышам. И чтоб не пропустить его гоночный, легкий проезд, от домов отвинчиваются ставни, шторы вспрыгивают к потолкам, в окна ведрами вносятся солнце. Воробьи ударяются грудками о землю и отскакивают, как пушистые мячики. Маятником взад и вперед раскачивается движение прохожих.

Дом, где жил Кирилл Павлович, сопротивлялся вторжению дня. Окна в белых пластырях занавесей опасались впустить в себя улицу. Дом стоял оскорбительно запертым и мог навлечь подозрение. Если б мимо идущие были более внимательны, они задержались

бы перед лобными костями фасада и потребовали объяснений. Кирилл Павлович этого-то и боялся

Он сидел в кабинете, курил, тербил байку халата, вскакивал и принимался блуждать, огибая письменный стол. Было необходимо решиться и притом как можно скорее. То ли вправду выскочить, вызвать на помощь дворника. То ли вцепиться в коричневый футляр телефона (ручная вертушка устарелой системы, еще сохраняющаяся в провинции). И при помощи этой прячущей звонны шарманки разбудить каких-то знакомых, взбудоражить присутствия и учреждения. Он хватался за телефон, как за медицинскую шкатулку, содержащую набор исцеляющих средств. И отгадывал его, опасаясь перепутать лекарства и невзначай наткнуться на яды. Телефон терял безобидный свой облик. Как в сосуде из восточной сказки, в нем заперты грозные духи. Они могут стать голосами, вопрошающими Кирилла Павловича, не он ли принял к себе гостя и медлит известить о прибытии заинтересованных учреждения. А главное, почему из тысяч однородных домов гостя выбрал дом Кирилла Павловича? Не имел ли неурочный посетитель подозрительных поводов именно здесь рассчитывать на гостеприимство?

— Но как быть, если он лежит без движения? Что ж, я вынесу его на руках?

Кирилл Павлович снял телефонную трубку и украдкой сунул ее на письменный стол. Он загородил проволочную дорогу, по которой город проникал в кабинет. Трубка легла, как патрон, начиненный взрывчатой бурей. Кирилл Павлович с опаской глядел на нее. Впрочем она теперь обезврежена. Голоса в ней могут скрестись и царапаться, и все же они не проврут наружу. Вместе с тем Кирилл Павлович воровски озирался. Даже снятие трубки может быть понято как намерение скрыть постояльца. Это — лишний знак соучастия, прочная гирька удки.

Кирилл Павлович врывался ладонью в прическу. Опухшее лицо желтым мешком висело навстречу в зеркале. Он вытаскивал гребень, и волосы разделялись на два темные облака. Коробка с рыхлыми лентами галстуков стояла на кресле.

Он выдергивал ленты и внимательно вглядывался в пестрые молнии, павлиньи круги и цветные тропинки рисунка. Галстук соскальзывал вниз и плоской, причудливой шкуркой сворачивался на паркете. Кирилл Павлович слишком несчастен.

Обвинен без причин. Оклеветан заранее. Он оправдывался, производя руками плавательные движения. Он старался быть незамеченным. Не навязывался никому, не выпячивался из среды обитателей города. Он не виноват, что у жены были родственники. Чорт возьми, он совсем не политик. И гепёр он себя принижал, стараясь увидеть себя особенно скромным, непримечательным, значительно более блеклым, чем казался себе до сих пор.

В этом было облегчающее утешение. Все гораздо более ярко, владеют ясно выраженными очертаниями. Он же паробразен, его нельзя осязать. С ним нечего делать событиям. Даже Лена значительно крепче. У ней цепкое чувство порядка. Пчелиный инстинкт построения сот.

— Лена, Леночка, — жалко позвал он. — Поговорим наконец.

Это звучало, будто «утешь меня, выручи, Лена».

Маша просто страшна. Хлопчет, заботясь о раненом. Произвела перевязку. Заставила Кирилла Павловича перенести того на диван. Он и не подозревал, что Маша способна на что-нибудь. Разве он знает ее? Привлекла в дом несчастье, выпустила его, как выпускают знакомых. Не задумывается о размерах беды. А может, все представляет отлично, но поступает по-своему? Из-за Маши в дом ворвался угроза. Тело лежит на диване в гостиной. И по комнатам запах угара. Кирилл Павлович им надыхался. Его легкие стали дряблы, как тряпки.

— Маша, пусть он очнется. Только б вдруг он не умер. Или лучше, чтоб умер? Нет, тогда не распутаться. Тогда не спастись от людей. Они просочатся во все скважины здания, обличающие, соболезнающие, спрашивающие, и каждый потребует ясности. Все сочтут себя в праве, соглашаясь, кивая, поддакивая, тем не менее не доверяя, выискивая швы и прорехи. И в обво-

лакивающим сомнении репутация Кирилла Павловича растворится, как соль. Да и то бы еще полбеда. Ну, подумаешь, доброе имя! Но какое чирканье спичек, поджигание связок соломы и костер встает во весь рост, — Кирилл Павлович заперт в стенах пожара, именуемого изменой властям в прифронтовой полосе.

— Маша, если б он выжил, — он готов был заискивать и, пожалуй бы, стал на колени, — постарайся, дочурка. Тогда можно притти к соглашению с несчастьем и склонить беду на уступки. Пусть она встанет на ноги, и, кто знает, может, простившись с хозяевами, пойдет бродить по бульвару.

4

— Лена, ты понимаешь, что с нами случилось?

Жена, некрасивая, маленькая, с гладкими светлыми волосами, смотрела на него снизу вверх. Тот же пуховый платок с отверстиями в заношенной ткани переламывался привычными складками. Кирилл Павлович всматривался в платок, словно располагал свои мысли сообразно с распределением дымчатых впадин и выпуклостей. Привычно слезавшееся постоянство материи его успокаивало. Значит ночное событие не все разрушило, если даже не сумело изменить расположение складок платка.

Кирилл Павлович потрогал рукою платок, и тихое шерстяное тепло неуловимо потекло по ладони. Елена Петровна отнесла ласку к себе и приблизилась к мужу. Она прислонилась головой к его локтю и сказала с трезвой заботливостью:

— Подожди, не волнуйся, Киюша. Ты плохо спал. У тебя мешки под глазами.

Это было несвоевременным, и при других обстоятельствах Кирилл Павлович прервал бы излияния жены. Но сейчас, униженный своей нерешительностью, он легко подчинился внимательности. Беспричинная преданность женщины возвращала Кирилла Павловича к утраченному достоинству. Его здоровье принималось в расчет, он еще не изят из пространства.

— Хорошо, хорошо. Да, я собственно ничего. Не будем преувеличивать, — повторил он что-то знакомое, уже

некогда толкавшееся в горле и произнесенное. — Видишь ли, я за себя ничего не боюсь. Но ужасно все неожиданно. С одной стороны, нельзя же выгнать больного на улицу. Ведь правда, Леночка? Я же не могу на это решиться. Как ты думаешь? Ведь верно, тут что-то не так?

Кирилл Павлович спрашивал, заглядывая Елене Петровне в глаза. И, заглянув, отворачивался, бегал взглядом по комнате.

Полотняные шторы плотно опущены и, отягощенные солнцем, выпуклились лимонно-желтыми полушариями света. Свет, не сгруппированный в лучи, прекращался на поверхности штор. Мебель и зеркала, не задетые им, казались, самопроизвольно выносили навстречу без всяких внешних содействий порожденные блики. Резкая смежность светлых и черных полос лишней раз подтверждала, что день за окном состоялся. Он продавливал шторы и грозился брызнуть сквозь них, как вода, набранная в носовые платки. Лицо Кирилла Павловича пересекалось тенями и бликами. Глаза пропадали и заново вспыхивали. Будто он прозревал и слеп от поспешности и беспокойства.

— Ты скажи мне по совести, Лена. Ты же знаешь меня. Не пойду же я на скверный поступок. И потом ведь это товарищ Володи! Так что собственно... тут тебе и решать. Но с другой стороны...

Было ясно, что он искал возражений.

— Но ведь это же не Володя,—ответила Елена Петровна.

— Ну конечно, конечно, конечно. Если б речь шла о Володе. Ну, какой бы тогда разговор. Володе мы помогали всегда. Мы с тобой любили Володю. Но у нас не гостиница и не больница. Ты это заметила верно.

Кирилл Павлович загнулся.

— А вдруг он... не сможет уйти. Он лежит.

— Мы дадим ему на извозчика,—объяснила Елена Петровна. — Открой шторы. Вот так. Он поймет, что мы для него посторонние.

5

Долгих сидел на диванчике. Вокруг весело реяла комната. Целлюлоидными

желобами лучи проникали сквозь воздух. Этажи зеленых ветвей остро и игристо сверкали.

— Елка,—думал Долгих, словно затрудняясь понять.—Скажите, пожалуйста, елка.

Солнце гостило внутри стеклянных шаров, придавая их блеску разноцветную сухость и хрупкость. Представлялось, если их бросить, шары опустятся медленно. Стукнувшись, не разобьются. Станут тихо прыгать по полу.

Долгих вспомнил, где он находится.

В комнате очень тепло. Что-то резко треснуло сбоку. Долгих вздрогнул и обернулся.

— Пустяки, обыкновенная печка. Резвое, вылинявшее от солнца соломенное пламя заложено в дырку в стене. Действительно топится печка. Рассыпчатая горка огня.

Долгих находил удовольствие в разглядывании обстановки. С ним мирно соседил мебель, обращенная в пол оборота или спинками, или лицевой стороной. Он называл предметы по именам, проникал в их устройство, насколько позволял ему глаз. Был к вещам снисходителен, испытывал к ним благодарность. С мебелью ладить нетрудно. Предметы ничем не грозили.

И Долгих никто не преследует. По крайней мере сейчас.

Если б так провести одному светлый, комнатный день.

Долгих приподнял ладонь, и она зарозовела от солнца. Золотисто светилась заключенная в коже кровь. Кто еще остался в живых? Кровь грязнила сугробы. Люди падали. Пули врезались винтами во тьму!

Дело в том, что он был здесь когда-то.

Вероятно на тот же диванчик, что поддерживает его провинченное пулями тело, он присаживался не раз. И квартира не изменилась. Правда, это трудно учесть. Он не слишком помнил былой распорядок предметов. Но во всяком случае вещи менялись не быстро. Долгих верно их обогнал. Вещи жили в длительном ритме. И невидимо рассыхали года. Лушится полировка, лучами по дереву трещины, моль выстригает обивку. Жизнь вещей—будто проползание по циферблату стрелки, меряющей часы. Но

прыжками стрелки секундной кружатся дни революции.

А в соседней комнате шепчутся. Долгих схватился за пояс. Пустяки. Револьвера нет. Он совсем беззащитен. И слабее ребенка. Сидит внутри мышеловки, заклепанный в клетку лучей. Пустяки. Открывается дверь. Входит обыкновенная девушка. Она держит стакан молока. Лицо ее будто знакомо. Она сама испугалась. Долгих намерен оборотить ее.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — отвечает она и смеется. — Вам больно? Как вы себя чувствуете?

Стакан дрожит и позвякивает, густая молочная капля жирно ползет по стеклу. Долгих откашливается.

— Хорошо. Чувствую себя отлично. Послушайте, — соображает вдруг он, — это вы... бинтовали меня?

— Я.

— Вот как. — Долгих морщится. Оба опять замолчали. — Видите ли... Я, пожалуй бы... Я совсем отвык от ухода. Мне пришлось бы плохо без этого. Кто его знает. Пожалуй бы умер. Вот как. Значит, это сделали вы?

— Ну, что ж тут такого? — Девушка словно обиделась. — Странное дело. Я умею накладывать перевязки. Выпейте молока.

Стакан опустился на стол. Ее руки ложатся вдоль платя. Ей нечего больше держать, и руки кажутся лишними.

— Кто вы будете? — обращается Долгих опять.

— То-есть как? Я здесь живу.

— Вы дочь Кирилла Павловича?

— Вам нельзя разговаривать много. Ну — дочь Кирилла Павловича. Лучше выпейте молока.

— А он дома сейчас?

— Да. Только я просила его не входить. Он слишком разволновался.

— Скажите, — Долгих наклонился вперед, — кто-нибудь знает, что я нахожусь у вас?

— Нет, — торжествующе ответила Маша. — Я запретила рассказывать, пока вы не придете в себя. Я сама за этим слежу.

Долгих кивает.

— Значит разволновался. Ну, еще бы. Я не думал, что сюда попаду. Мне хотелось бы ему объяснить.

— Но, я думаю, можно потом.

— Нет, вы не понимаете. Все очень спешно.

Маша подходит к дверям.

— Папа, идите сюда. С вами хотят говорить.

И, присев перед печкой на корточках, черным крюком кочерги сбивает с полен скручивающиеся чешуйки огней.

6

В сюртуке, застегнутом на все пуговицы, будто собираясь ехать с визитами, причесанный и побритый, Кирилл Павлович медленно вошел. Мускулы лица его, замерли. Дошедший до плотности проволоки инстинкт самосохранения каркасом скрепляя его изнутри. Он застрял на пути, как прямая высокая кукла. Он волновался смертельно. Волнение было застывшим.

Маша обернулась к нему с удивлением. Таким она его не знавала. Красные пятна проступили на коже его, как на промокательной бумаге.

Долгих попытался подняться.

— Что вы, что вы? — откликнулась Маша. — Не двигайтесь. Вам надо сидеть.

Кирилл Павлович оглянулся на дочь. Девушка мешала ему. Он чувствовал ее присутствие как занозу в липком воздухе комнаты. Машино обращение с Долгих упрощало опасность. Вредный мир фантазеров, истериков.

— Чем могу? — сказал Кирилл Павлович, будто обращаясь к клиенту. — Чем могу быть полезен?

Он достал портсигар и стучал папирсой о крышку.

— Дайте мне покурить.

Кирилл Павлович смотрел удивленно. — Я очень давно не курил, — подтвердил Долгих просьбу.

— Ах, пожалуйста.

Кирилл Павлович весь перегнулся и раскрыл портсигар, как серебряную твердую книжку. И потом опустился на кресло. Волокнистые ленты дымков заплелись над их головами.

— Выдаст или не выдаст? — подумал Долгих. — Знает или не знает? Но в прятки играть бесполезно.

— Вот какое создается положение, — начал он прощупывать почву. — Спасибо, что вы мне помогли.

Кирилл Павлович неопределенно кивнул.

— Когда я шел утром по улице, я не рассчитывал, что попаду к вам. Я намеревался пробраться к вокзалу. Но стало слишком светло. Меня вероятно схватили бы. Если б даже не знали, кто я. Просто, чтобы выяснить личность.

Кирилл Павлович не промолвил ни слова.

— Я пошел конечно на риск. Откуда я знал, как здесь меня встретят? Но, по правде, выбирать было не из чего. Вы видите, что со мной сделали.

И опять протянулось молчание.

— Я прочел на дверной дощечке вашу фамилию и решил постучаться сюда.

— Почему же собственно сюда? — сказал Кирилл Павлович задумчиво.

— Мы все-таки с вами встречались.

Кирилл Павлович встал и оперся руками о кресло. Перекладывал его с ножки на ножку.

— Я не знал вас никогда.

— Папа! — Маша выпустила из рук кочергу. Угольки брызнули на пол.

— Если ты не уйдешь сию же минуту, я не могу разговаривать.

Он затрясся от ярости. Кресло упало на спинку.

— Маша, иди скорей ко мне, — из смежной комнаты откликнулась мать.

Маша вышла. Долгих весь подтянулся. Выдаст. Раны сразу зажглись.

Освободившись от Маши, Кирилл Павлович прошелся по комнате.

— Я думаю, вы ошибаетесь. Вы принимаете меня за кого-то. Отсюда все это... недоразумение с вашим появлением здесь.

Стены то приближались к Долгих, то относились обратно. Казалось, он их выдыхал и вдыхал.

— Ты хочешь смерти отца? Хочешь, чтоб я умерла?

В коридоре Елена Петровна держала Машу за локоть. Губы обеих были белы, будто вымазанные молоком.

— Но я все же бывал в вашем доме. Я дружил с Володей Петровским.

— Не припомню. Слишком давнее время. И какое же это знакомство. Я сделал для вас все, что мог, как сделал бы для всякого постороннего человека. Ну, а дальше...

Долгих поднялся с усилием и оперся о стол.

— Конечно, конечно. Хотя мы встре-

чались достаточно часто. Но дело не в этом. Я не буду настаивать. Вероятно, я чужой для вас человек. Я вломился к вам, не спросясь. Так сказать, без приглашений. Вы в праве так ставить вопрос. Но, понимаете, картина такая: меня ночью сегодня расстреливали. Не достреляли. Долго рассказывать. Когда стемнеет, я попробую пробраться к вокзалу. А днем опасно высовываться. Я не дойду, вы видите сами.

— Я не хочу знать вашей истории, — перебил его Кирилл Павлович. — Не хочу.

Он, содрогнувшись, представил, что сам стоит у стены. Он захлебнулся слюной.

— Я—большевик. Моя фамилия Долгих.

— Не говорите мне ничего!—закричал Кирилл Павлович. Но сдержался и, вытирая лицо платком, вдруг улыбнулся. — Простите, я горячусь. Ну, какое мне дело, Долгих вы... или Коротких. Хотя Долгих вероятно в Москве. Что ему делать в наших местах? Моя дочь за вами ухаживала, не спрашивая у вас визитной карточки. Если у вас есть какая-нибудь дальнейшая просьба, скажите, мы обсудим совместно, как выйти из положения.

Долгих закрыл глаза. Он устал. Этот голос бинтовал ему руки, и ноги.

— Могу ли я пробыть здесь до вечера? Конечно если об этом никто не узнает.

Кирилл Павлович покачал головой.

— До вчера? Именно это и невозможно, голубчик. Сами посудите. Почему я знаю, кто вы такой. Ко мне могут притти. Нынче праздник. А потом у меня есть семья.

— Понимаю.—Долгих погасил папиросу.—Я хочу вам только сказать, прежде вы вели себя по-другому.

— Что вы? Что вы?—Кирилл Павлович был оскорблен.—Я никогда не менялся. Я всегда спорил с Володей. Я только не был мечтателем. Извините, я не бог, чтоб построить мир заново в шесть дней. Это—бредни. Наконец, говоря откровенно, мне нравится революция. Она трогательна, как проявление чистосердечной наивности. Но она когда-нибудь кончится. Люди совсем не хотят быть героями. Им это вовсе не свойственно. Люди—маленькие суще-

ства, ограниченные, низменные. Что поделаешь? Так устроена жизнь.

Долгих шагнул к подоконнику. По дороге качнулся. Кирилл Павлович подержал его под руку.

— Вы порядочный человек, — торопливо шептал он. — Вы не захотите губить неповинных людей. То, за что вы боретесь, вероятно очень значительно. Я готов вам сочувствовать по-человечески. Но вы посочувствуйте мне! Я вам дам свое пальто, шапку, вас никто не узнает. Никто не обратит внимания. Вы направитесь к вашим друзьям.

Долгих старался не слушать. Он видел в окне зимнюю улицу, куда он должен был выбраться. Голова кружилась, и от этого представлялось, что дома стояли на воздухе. Солнце проходило сквозь мостовую, как сквозь кисею. Удивительно зыбкая улица, стругающаяся перед глазами.

Кирилл Павлович чувствовал нежность, противную, сладкую нежность. Он почти любил сейчас Долгих. За понятливость, за то, что он все же уйдет. Непременно исчезнет. Он готов был сделать ему возможно больше полезного. Изойти в советах, обещать, подбодрять, обнадеживать.

— Выпейте молока, — говорил он. — Непременно, обязательно выпейте. — Он скакнул к столу за стаканом. — Знаете, время такое. Суровое, ничего не поделаешь.

Тут раздался звонок. Звонили на черном ходу. Кирилл Павлович застыл, вытянув руки вперед. Повернулся на цыпочках, чувствуя тошнотворную пустоту в желудке. Бросился к двери. Потом мотнулся назад.

— Начинается, — бормотал он. — Кто-то пришел. Слышите. Начинается.

И вдруг, набрав полный рот воздуха, так, что щеки раздулись, закричал, переходя на визжащие ноты:

— Что ж вы? Что вы стоите? До каких же пор? Уходите немедленно!

Долгих шел, опираясь о стену. Кирилл Павлович бегал в передней.

— Вот пальто! Эту шапку! Нет, не эту, другую!

Долгих взял с подзеркальника трость и повернулся к хозяину.

Раздался вторичный звонок.

Кирилл Павлович отшатнулся. Он подумал, что Долгих ударит его.

Пусть ударит, ничего. Ударит, а после уйдет.

Но Долгих оперся о трость и захромал вперед, как старик. Дверь открылась, и улица тихо прижалась к подошвам. Солнце плоско летело над крышами. Дверь захлопнулась и забряцала цепочки. Долгих стоял, уходя ногами в сугроб.

Кирилл Павлович бежал по коридору, согнувшись.

— Кто такой? Не пускать! Кто пришел?

Голове его стало прохладно. Будто сразу выпали волосы. Он пытался схватиться за голову, но руки не гнулись, не слушались.

В кухне Елена Петровна отпирала черную дверь.

— Кирюша, это молочница.

— Молочница, — громко сказал Кирилл Павлович. Он понял, что спасен наконец.

— Папа, куда он ушел? — появилась на пороге Маша.

— Не знаю, не знаю, — не обращая на нее внимания, улыбался Кирилл Павлович. — Молочница, — повторил он всей грудью. И дотронулся до головы. Волосы были на месте.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

1

Извозчик выдвинулся из-за угла и, подчиняясь разбегу, взятому за поворотом, равномерно скользил, как по рельсам. Долгих поднял трость. Извозчик откинулся. Лошадь, крепко взятая в ремни, присела. Низенькая коробка саней подползла к тротуару.

Долгих вспомнил, что у него нет денег. В это время его тронули за рукав.

Он не слышал, как вышла из дому Маша, но не удивился, увидев ее. Она была в круглой шапочке рыжего меха, в темной чистенькой шубке, расширявшейся книзу. Она подула на руки, беспомощно белевшие из опущенных толстых рукавов.

— Забыла перчатки, — сказала она. — Я с вами поеду. Вам нельзя одному.

Лицо ее было серьезным, неподвижным, даже несколько сонным.

Они влезли в сани. На колени легла баранья, жесткой шерсти, тяжелая полость.

— Куда? — спросила шопотом Маша. Долгих сказал название улицы. Маша передала название извозчику.

Сани выскочили из неподвижности, будто из ямы, одним коротким толчком. Люди колыхнулись и приняли устойчивый, нужный наклон. Дома, взявшись за руки, бежали рядом с санями. Видный издали купол собора висел в небе, как медный орех.

Долгих обернулся к Маше. Она прямо смотрела перед собой. Лицо ее по-прежнему выглядело безучастным и сосредоточенным. В полном несоответствии с застывшими чертами, будто не Машей самой порожденные, а оседавшие на кожу извне, разрисовывая щеки клейкими, блестящими дорожками, скатывались мелкие слезы. Маша не замечала их появления, поглощенная рассматриванием какого-то, только ей доступного, зрелища. Ей некогда вынуть платок, и завиток волос, выгнутый из-под шапки и попавшийся слезам на пути, намокал, становясь все более темным.

— Что вы плачете? — сказал растерянно Долгих. — Знаете, плакать не надо.

Маша посмотрела на него с недоумением. Потом опять отвернулась.

— Что это такое? — спросила она, смотря в спину извозчика. — Вы понимаете, что это значит? Они трусы. Как они смели так поступить?

Долгих почувствовал жалость и понял уже непредставимую для него степень молодости Маши, степень неподготовленности, трудности привыкания к миру, осваивания с его угрюмым и строгим порядком, давно пройденную им степень недоумения, когда опускаются руки и все выходы выглядят неблагоприятными.

— Пустяки, — сказал он. — Это просто. Это — война.

— Но не все же воюют.

— Все. На этот раз именно все. Класс на класс.

Сани споткнулись о лед и затрепетали. Лицо Долгих перекоксилось.

— Вам очень больно? — Маша спросила тихо, опять отвлекаясь от себя.

— Очень. — Долгих потемнел. — Будто шило воткнуто в бок.

Они ехали по краю рынка. Там чернели, толпились, топтались. Перемежающиеся, вторгающиеся друг в друга те-

чения, постоянное переливание отдельных частиц от собора к диагоналям ларей и обратно. Проникание все новых групп во вращающееся брожение основной массы, черные руслица, ручейки, завитки, вбираемые площадью и отдаваемые ею прилегающим улицам. Будто все пространство дробно потряхивают, и толпа то лопается на длинные трещины, как ссыхающееся тесто, то спрессовывается до непроницаемой сжатости, то снова закипает в разных случайных местах.

Долгих показалось, что он видит обоз, доставивший его поутру. Он стоял полукругом, вынесенный за пределы толкучки, словно сдерживающий ее расплывчатые очертания. Крестьяне, обладив дела, сидели на дровнях и ломали черный хлеб, распадающийся, будто известь. Их движения были прочны и медленны. Они отдыхали перед отъездом домой.

Одно из временных убежищ Долгих, обоз, жил своей жизнью, не заботясь о том, что случилось с Долгих впоследствии. Мимо обоза, рынка, собора проносилось в санях вытолкнутое отовсюду, пробуравленное пулями тело. Кристаллизованная революция, опущенная в город, как во враждебный раствор, чтобы просолить его, отравить его новыми, ненаблюдавшимися доселе свойствами. Прививка будущего мира, слабо циркулирующая в организме зимнего равнодушного дня. Маленькая дробинка, одна из многих дробинок, которыми выстрелил залпом Октябрь, впившаяся в этот отрезок страны, как в дубовую, сохлую доску.

2

— Кажется, здесь, — сказал Долгих. — По-моему, здесь. Улица эта. Надо сойти поискать.

Маша тронула спину извозчика. Сани присели на месте. Маша поддерживала Долгих под локоть, пока он, стараясь не сгибать ногу, трудно высовывал ее из-под полости.

— Послушайте, вы не можете идти.

— Тише, тише, не надо.

Маша замолкла. Долгих выкарабкался на землю. Он улыбнулся сконфуженно.

— У меня к вам просьба. Будьте добры, заплатите извозчику.

Маша вспыхнула. Стала рыться в карманах.

— Сейчас,—сказала она и приподняла руку. Она отстегнула часы и сунула торопливо извозчику.

— Что вы делаете?

— Я забыла кошелек. Ну, берите же, уезжайте.

Извозчик покачал головой и поехал, оглядываясь.

— Неудачно вышло, — нахмурился Долгих.—Он нас запомнит. Ничего не поделаешь. Теперь вы идите домой.

— Я вас провожу до конца.

— Нет, нет, нельзя. Вдвоем слишком заметно. Я доберусь осторожно.

— Как же так?—снова начала Маша.

— Нет, не спорьте. Так будет лучше. До свиданья. Спасибо.

Маша стояла растерянно. Долгих посмотрел на нее.

— Все обойдется. Я вам одно посоветую. При наступлении красных не уезжайте из города. Даже если ваши уедут.

Маша кивнула.

— Вы упадете... опять.—Голос ее дрогнул.

— Не уезжайте из города. Если обо мне не будет вестей, расскажите партийцам, как мы провели этот день. Ну, до свиданья. Еще раз.

Он протянул Маше руку.

Маша тихо пошла. Ей было странно тоскливо. Невозможно домой, невозможно к знакомым. Словно Долгих передал ей на память часть своей обреченности. Никуда идти невозможно. Она несла подавляющее знание, о котором посоветоваться не с кем. Она обернулась еще раз. Долгих, сгорбившись, отходил, как старик. Он и вправду был стар по сравнению с Машей. Почти годился в отцы. Пожилой человек, опираясь на палку, волочил омертвелую ногу. Маша повернула за угол.

Теперь, когда Долгих исчез и прекратилась необходимость заботиться о нем непосредственно, Маша пробовала оценить его появление. И все время сбивалась. Она начинала с момента, когда проснулась от стука. Но дальше все шло вперемежку. Было ясно одно—бессознательный жест оказания помощи раненому превратился силой вещей в поступок, расположенный в сфере борьбы. Маша вытолкнута этим поступком

из границ собственной комнаты. Вытолкнута из дому и вынуждена скрывать от всех причины своего пребывания в данное время на улице. Впрочем не от всех, некоторым, наоборот, она обязалась разоблачить содержание прожитой ночи. Тем, неизвестным, которые могут явиться. И подобная предосторожность в отношении одних, возмещавшаяся открытостью к другим, подтягивала Машу, как на канате, к одному из разобщенных берегов. И главное, берега существуют. Она словно руками ощупала материал, из которого складывается революция. Осязание не обманывало, война была налицо. И страннее всего, что она застала себя внутри военной арены под железной крышей раскинутых над головою боев.

Машу окликали по имени. В этом не было ничего неожиданного, но Маше казалось, происшедшее так отодвинуло ее от знакомых людей, что за дальностью расстояния она стала неразличимой. Она подняла голову. Перед ней стоял офицер.

— Марья Кирилловна, наконец-то. Я вас всюду разыскиваю.

Он взял Машу под руку и, нагнувшись к лицу, зашептал:

— Был у вас. Там меня не пускали. Потом вышел Кирилл Павлович и начал мне объяснять. Вы простите, я ничего не понял. Во всяком случае я не добился, куда вы исчезли.

Маша не подала голоса.

— Я вас знаю давно,—доносилось до нее.—Иначе я не взял бы на себя такого поручения. Я знаю, что вы отнесетесь спокойно и мужественно. Дело в том, что с Юрием случилось несчастье.

3

Долгих двигался, вкалывая трость в тротуар. Он чувствовал себя чрезвычайно заметным, выставленным на улице, как на полке стеклянного шкафа. Небо круглилось гигантской сверкающей лупой. Казалось, весь мир наделен чувством зрения, разлившимся повсюду, не собранным нигде в определенные точки. Переживания Долгих подогревались повышением температуры. Сухая потрескивающая в крови теплота. Он растянул пальто и все-таки задыхался. Болезнь настигала его. Ему представлялось, что он спасается именно от забо-

левания, а не возможных преследователей. Между тем он тащился медленно, мучительно отмерял свой путь поставленными на тротуар чугунными тумбами. Расстояние между тумбами, казалось, все увеличивалось.

Вместе с тем он выискивал выход. Собственно выискивал дом. И начинал сомневаться.

Отправляясь сюда, он имел определенную цель. Именно в данном квартале (тут колебаний быть не могло) жил Б., давний член организации, существовавший на легальном положении. Из-за соображений конспирации Долгих, не встречаясь с ним лично, держал связь через Фридриха. Лишь однажды на квартире у Б. состоялось ночное совещание группы. Б. остался на воле после провала. Как единственного неразоблаченного, Б. следовало оберегать от подозрений. Обращаться к нему можно было в отчаянной крайности. Выйдя от Кирилла Павловича, Долгих понял, что крайность пришла.

Но в тот раз провожатым был Фридрих.

Долгих помнил, что дом двухэтажный. И подъезд в середине. И лестница вверх. Там две двери стоят на площадке. А внизу как будто лавчонка или парикмахерская, или мастерская портного.

Но дома братски схожи. Словно отражают друг друга. Весь квартал в двухэтажных строениях, в забеленных известью стенах. Никаких украшений, отличающих фасад от фасада. Даже кажется возраст домов одинаков. Каждый дом сберегал в своих недрах торговлю. Свечи, мыло, табак, овес, сено, сапожник, колониальная лавка, бритве—10, стрижка—15.

Долгих шел от вывески к вывеске. Он читал их железные, промазанные краской страницы. Он гадал по ним, как по жартам. Расстояние между вывесками, казалось, все увеличивалось.

Он добрался до края квартала и постоял на углу. Через улицу начинался следующий, но уже совершенно чужой. Там дома дружно спадали на один этаж, будто разом стали на колени. Они выгнулись гребнями, как деревянное море. Погружаться в них не было ни малейшей нужды. Долгих повернул к ним спиной. Надо попробовать сызнова.

— Где же может он жить?

Надо рыться в улице, рыться в собственных мыслях. Надо выстукивать их, как выстукивают стену, желая найти в ней скрытый тайник. Не могло же в них ничего не остаться. Ну, какое-нибудь пятно на створке подъезда. Цвет занавески в окне. Запах лестницы. Если б хоть запахи.

Долгих готов был ворваться руками в собственный мозг и перевернуть его, как мокрое белье, чтоб отыскать утраченный признак.

И почувствовал, что дрожит. Вероятно, озноб. И мозг ему не подвластен. Мозг занят своей массивной работой. Что-то возят и строят. Сыплют щебень, вгоняют тяжелые сваи. И вращенье громоздких валов. И из мозга ничего не извлечь.

Долгих согнулся. Это его поразило. Это значит, болезнь вступает в него, как войска в завоеванный город. Мозг исполняет задания болезни. Значит, нужно сдаваться или стрелять из окна. Из последнего дома, куда не ворвались враги. Пулю в них и последнюю пулю в себя.

Долгих шел совсем механически. Он уже не смотрел на фасады. Слишком много смертей на протяжении суток. Смерть ночная у стенки, смерть рассветная у дома Кирилла Павловича. Приближалась третья, дневная, еще неизвестного вида. Вкрадывалась изнутри. Слишком много смертей припасли для него одного.

4

А навстречу — два офицера.

Долгих не видел их лиц. Окружающее стало неясным. Белые пленки ползли по глазам. Иногда на их месте возникали черные скважины. Улица висела с боков вся в латках и дырах, как изрезанная простыня. Вдруг показывались огни. Вдруг дома выпадали из глаз. И ныряли за горизонт. Мир становился неправильным.

Два офицера переступали вдали, перебирая ногами на месте. Но потом их поддуло, как по трубе, непосредственно к лицу Долгих. Они разговаривали, проходили мимо, смеялись. Долгих не понимал их языка, будто это не люди, а птицы. Он вступил в сферу опасности, как в мутный хлопчатый туман.

— Надо взять себя в руки, — подумал он с резкой поспешностью. И последним усилием упорядочил улицу, запретив ей прыгать вокруг.

Офицеры прошли, звеня колокольцами шпор.

— Где ж он живет наконец? — Долгих забыл, кого он собственно ищет. — Где я живу? Куда же мне можно войти?

Офицеры остановились. Шпоры стихли. Долгих оглянулся назад. Возле них оказался извозчик. Долгих решил — тот же, что привез сюда его с Машей. Извозчик что-то рассказывал. Офицеры встревожились. Один убеждал в чем-то товарища. Оба взгляды вали по направлению к Долгих. И разом пошли в его сторону. Извозчик остался на месте.

Все продолжалось с минуту. Он обнаружен и узнан. Внутри первого же подъезда одного из безликих домов!

И увидел деревянную лестницу, развернувшую набор ступеней. И глубокий бархатный сумрак после яркости зимнего дня. Лестница явно известная. Прочно скрепляющая два этажа. Пыльный запах досок — так пахнут старые ящики. И даже звуки пианино с верхней площадки, прокалывающие тишину. Долгих подымался вверх. Даже звуки те самые.

Не было ли пианино у Б.?

Долгих взялся за грушевидную ручку звонка, и в передней пошло дребезжанье. Гамма вдруг оборвалась. На дверь надвигались шаги.

— Кто? — спросил женский голос.

— Откройте скорее, пожалуйста!

Ключ стрельнул. Дверь открылась, но задержалась, еще перехваченная цепочкой. Женщина, молодая и полная, разглядывала его удивленно.

— Вам кого?

Долгих понял, что все давно кончено. Разумеется, Б. не женат, разумеется, у него нет пианино. Женщина отклонилась назад.

— Гриша, — позвала она в перепуге, — иди сюда, Гриша!

И в расщелину двери Долгих услышал то же быстрое, ясное лязганье шпор.

— Я ошибся, — сказал он себе. — Разумеется, ведь на двери дощечка, как

он мог ее не приметить? медный толстый квадрат с черным вдавленным шрифтом. И совсем иная фамилия.

Долгих сполз, как мешок. Вслед ругались и злobiliсь. Он стучал своей тростью вниз.

Не на улицу, а под лестницу, в паутиное, смрадное, крысьим мускусом провонявшее логово! Кресло с выпяченными пружинами, с сеном, выбившимся наружу попало ему на пути. Долгих ткнул его и оно забросило кверху короткие ножки. Он наступил на него, как на чей-то мягкий и мерзкий живот. Задыхаясь, он шарил руками по стенке. Подъезд, грохнув блоком, впустил офицеров. Они побежали по лестнице. Сапоги ударили в ступеньки над Долгих. Наступали на плечи, на шею, на голову.

И вот поддается стена, и в ней открывается дверца. Тихо-тихо открылась, так открываются двери во сне. Тихо-тихо качнулась под руками у Долгих. Слепленный, он стоял на дворе и понял, что улыбается.

5

Он понял, что ничего не боится.

Дворика белая скатерть, и клетками солнечный свет. И дерево, положившее на крышу мускулистые стройные ветки. Маленький жилой флигелек за спиной главного дома. И длинный без окон сарай. И воронка синего неба.

Законченная тишина, прорисованная до последних подробностей. Тишина пейзажа, раскинутого на холсте. Ненастоящая и простая, и трогающая, и ободряющая. Освобожденная от малейшей гримасы тревоги. Слово чистая мысль о покое, выраженная знакомыми средствами. При помощи домика, дворика, снега и солнца.

— Как я мог чего-то бояться?

Он перешагнул через последний барьер беспокойства. Сопrotивление напрасно. Он сделал все, на что был способен. Его найдут и захватят. Ну, что же? Ну, что же. Революция осуществится помимо него. Это главное. Дальнейшее от него не зависит.

Он осмотрел, тихо поворачивая голову, еще раз, заглохший, потерявший для него вещественность дворик. Он приподнял его, будто ковш с прохлад-

ной водой. Мерзлая бочка с заржавленными обручами. Горлышко темно-зеленой бутылки. Прядка светлого облака. Все отлично. Этот мир стоит борьбы.

Измеряемый любовью, страданием, творчеством, мир подходит под высокий строй человеческой страсти. Он ровнен с самой высокою мыслью, но всегда соревнуется с ней, намеренный ее превзойти, и в этом соревновании двух противоположных и родственных прав разыгрываются земные события.

Долгих чувствовал, что он держит дворик в руках и, подержав его, выпустит, чтобы он камешком падал в пространство.

— Ну, действительно, чего я боялся? Я боялся, пока ожидал перемен, насылаемых на меня обстоятельствами. Сейчас с переменами кончено. Ожиданию нечего делать. Ворота дворика заперты. Положение удивительно ясно.

Долгих шел к сараю с облегчением, которое испытывают от решенной безупречно задачи. Здесь он может еще отдохнуть. Сарай был длинен и пуст. В углу у кормушки сопела корова. Она повела рыжей своей головой и приняла Долгих в черные выпуклые глаза с их древним, непереводаемым на человеческий язык выражением. Не найдя в Долгих ничего ей известного, она продолжала жевать.

Балки колоннами укладывались от стены к стене, придавая строению корабельную прочность. Веревки для просушки белья натянуты грубыми струнами. Долгих взялся за один из концов. Его пальцы разламывали на волокна слежавшийся узел. Ему понравилось это простое занятие. Время текло. Враги приближаются. Революция стоит борьбы.

— ...Господи! Ты откуда попал! Воровать пришел. Господи!

Женщина с ведром для доенья. Долгих дернул за веревку. Узел распутан. Долгих нечего объяснять.

— Веревку воруешь! Вот я сейчас позову!

Долгих отпускает веревку.

Женщина с грохотом ставит на землю ведро. Потом хватает его, боясь, что Долгих утащит. Она выскакивает из сарая и бежит по двору к флигельку.

Долгих хромает за ней. Женщина врывается на крыльцо, оставляет двери открытыми. Холодные чистые сени. Комната с русской печкой. Пожилой человек с рябым серьезным лицом. В русской рубашке без пояса. Режет черный хлеб на деревянном столе. Серое лезвие загнуто до половины в краюху. Женщина кричит, топчась перед ним. Оба оборачиваются к вошедшему Долгих.

— Этот самый, — свидетельствует громко женщина.

Долгих страшен. Рабочий выдергивает нож из сидящего холмиком хлеба.

— За мной гонятся офицеры. Я — большевик. Меня хотят расстрелять.

Долгих произносит вятно и коротко. Человек выпускает нож из руки, и он, звякнув, ложится на стол.

6

В военных котелках варится наше искусство. Вкус его солон.

Маша чувствовала воздух, как кипяток. Вдохнешь — и рот обожжен. Тысячи раз повторенное временем слово — война.

Юрий отбыл в бесславном глазетовом коробе под бесславные звуки оркестра. Маша сожалела о нем отчужденной, безвыходной жалостью. Как жалеют тяжело больных стариков, жизнь которых уже позади и давно непонятна их близким. Так жалеют самоубийц, споткнувшихся на несложном решении, с невозможностью оправдать, с недоуменной обидой, иногда почти с превосходством. Маша возвращалась на пространство Юрьинной смерти и отбегала обратно, и не могла ничего из нее зачерпнуть: ни камешка, ни горсти песка, чтобы взять с собою в дорогу.

Она вошла в лазарет, где служила последние месяцы.

Правильная одинаковость плоских коек сглаживала разнообразье страданий. Геометрический распорядок столиков между постелями, схожая желтизна человеческих лиц на подушках, рассеянное постоянство светлого воздуха — все это привычно подтянуло ее состояние. Маша не была здесь несколько дней и все же вернулась сюда, как в единственное место, где ее потрясение не испытывало одиночества, разделенное и

оправданное потрясениями стольких людей. Здесь боль не была исключением и не привлекала внимания. Она господствовала здесь, как равноправная энергия жизни, может быть, как ее необходимая часть.

Маша миновала просторные общие залы и прошла в коридор, куда выходили двери одиночных палат.

Она открывала двери по очереди и оглядывала больных. Прочитывала температурные графики, приколотые к постелям, как удостоверения личности. Узнавала знакомых и здоровалась с ними. Смотрела в палаты, будто в окна одного и того же огромного зала, когда каждое окно дает легкое смещение перспективы, но не добавляет никаких новых черт. В одной из последних палат она остановилась у входа.

Перед ней лежал Долгих, завернутый в одеяло, как в кокон. Обезличенный больничною стрижкой, стенами, койкою, столиком, наконец собственным своим горизонтальным положением, точным слепком положения всех обитателей госпиталя. Впитавший в кожу лица обязательную для всех желтизну!

Но все-таки это был он. И он узнал Машу.

Маша приблизилась к постели и на дощечке у изголовья прочла другую фамилию.

Она не умела спросить и не знала, ну но ли спрашивать.

— Здравствуйте,— сказал Долгих.— Вот и встретились.

Маше стало вдруг хорошо. Она почувствовала, что все время тяготилась уверенностью в гибели этого странного человека, постучавшегося в ее судьбу и что-то сдвинувшего там окончательно.

— Удивляетесь? Я и сам удивляюсь. Спрятали меня сюда товарищи. Лежу. Пока никто не узнал.

Маше захотелось убедить его, что он здесь в безопасности, обрадовать его, передать ему самое главное и единственное, что могло бы вполне укрепить его силы, что только он оценил бы с полной правильностью.

Она одянулась и, видя, что коридор пуст, сказала вместо приветствия:

— Город скоро возьмут. Через несколько дней. Красные наступают. — И спросила: — Как вы себя чувствуете?

Дождь переходит в ливень

Повесть ¹⁾

Вл. ЛИДИН

Мадам Педенон, консьержка, ведет посетителя за собой. Ее нарумяненные щеки обвисли, как бакенбарды, рыжие волосы, перевязанные голубой лентой, взбиты на темени. Мадам Педенон прикрывает изъяс: облысевшее темя, розовое, как голова новорожденного. Посетитель шагает за ней через двор. Он долговяз и угрюм, его сизый раздвоенный подбородок выбрит наскоро и нечисто, его длинные, волосатые руки вылезают из коротких рукавов пиджака. На мокром кабриолете во дворе сидит ворона. Она снимается с сидения и тяжело машет грузными крыльями.

— Вот, мсье, — говорит консьержка торжественно и открывает дверь. — Это — прекрасное ателье. Здесь мог бы работать Кислинг.

Мадам Педенон показывает, что понимает толк в искусстве. В мастерской, непроветренной уже три недели, пахнет сыростью и мышами. Мадам Педенон хозяйственно срывает с окна рыжий номер «Энтрансижан».

— Не обращайтесь внимания на беспорядок, — говорит она, — здесь жил русский... это — грязные свиньи. Последняя нация в мире, мсье... мы с мужем потеряли на русских бумагах шесть тысяч франков. Шесть тысяч франков из-за их идиотской революции! Ваша национальность, мсье?

— Я — итальянец, — говорит посетитель.

Мадам Педенон оживает.

— А... вы—итальянец? Италия—моя мечта. У меня в комнате висит картина, изображающая карнавал в Венеции.

¹⁾ Вторая часть трилогии «Могилы неизвестного солдата». Первую часть см. «Новый мир» кн. 3 с. г.

Воображаю, как необыкновенно красив карнавал в Венеции!

— Да... — отвечает посетитель рассеянно.—Италия—красивая страна. Куда ведет эта лестница?

— Во второй этаж, мсье. Там жила до сих пор одна мадемуазель... вначале она была очень скромна, но зато потом!.. Теперь она выехала.

— Цена?.. — спрашивает посетитель нетерпеливо.

— Двести франков ежемесячно мсье... сюда не входят двести франков одновременно и триста франков за мебель.

— Но я не вижу никакой мебели, — говорит посетитель.

Мадам Педенон поджимает губы.

— Если мсье...

— Мое имя Умберто Бенкò.

— Если мсье Бенкò не нравится ателье, на Монпарнассе найдутся десятки художников, которые оторвут его с руками. Латинский квартал теряет свое своеобразие. Новые дома строят без ателье. К сожалению, таковы условия найма. — Голубой бант на ее розовом темени покачивается. — И потом, мсье... оцените удобства. Отдельный вход, свой ключ... в центре Парижа.

Итальянец размышляет минуту.

— Хорошо, — говорит он затем, — я согласен.

— В таком случае пройдемте ко мне и подпишем предварительный контракт. — Она пропускает его во двор и закрывает дверь. — В нашем доме жили постоянно солидные жильцы... к сожалению — эти русские... но что делать! У каждой нации своя трагедия. В конце концов столько людей потеряли родину. — Мадам Педенон довольна. Она

становится говорливой, шествуя с посетителем через двор. — Вы можете легко понять это, мсье... представьте себе, что вас лишили бы родины—вашей прекрасной Италии. Нет ничего удивительного, что люди становятся неопрятными и равнодушными к жизни.

— Да, я это легко могу понять, мадам, — отвечает итальянец как бы с легкой усмешкой.

Мадам Педенон взглядывает на него. Он шагает рядом, его черное лицо с синим раздвоенным подбородком не выражает ничего.

— Вы тоже художник, мсье? — говорит она, вдруг испытывая к нему недоверие.

— Я тоже художник, мадам, — отвечает итальянец. — Я делаю копии.

— А... копии! — отзывается она успокоенно. — Это большое искусство сделать копию, достойную оригинала. Здесь ошибаются часто даже маршаны.

Он заходит за ней в ее комнату. На столе лежит пачка писем. Консьержки не торопятся раздать их адресатам.

— Итак, вот контракт, — говорит мадам Педенон. — Вам остается прочесть его и подписать.

Итальянец берет контракт и начинает читать.

— «... Я обязуюсь не иметь ни собаки, ни кошки, ни другого домашнего животного... ни пишущей машинки, ни швейной, ни какого-либо другого аппарата, стук или треск которого может беспокоить жильцов». — На этот счет вы можете быть спокойны. Я не люблю животных и не имею никаких аппаратов. — Он читает дальше: «... Я обязуюсь во всем подчиняться добрым нравам, которые должны соблюдаться в приличных домах, не заниматься в снятом помещении ни индустрией, ни ремеслом, ни какой-либо другой профессией, так как квартира сдается, чтобы жить в ней буржуазно и достойно». Потом он берет перо. — Отличный контракт, — говорит он. — Здесь все предусмотрено. — Его волосатая рука делает росчерк.

— Я оставляю вам большой портрет старого еврея для украшения, — говорит мадам Педенон возвышенно. — Это выморочное имущество. Когда вы переедете, мсье?

— Очень скоро... может быть, даже сегодня

Он смотрит на мадам Педенон, на ее голубой бант на темени, на бакенбарды ее нарумяненных щек.

— Я надеюсь, вы будете скромны, мсье, — лепечет мадам Педенон. — Художники обыкновенно имеют подруг... не всегда можно одобрить их выбор.

— У меня нет подруги, мадам, — говорит итальянец. — Ко мне ходят только приятели.

Мадам Педенон после его ухода мечтательно расправляет смятые стофранковые бумажки. Затем она останавливается перед карнавалом в Венеции и смотрит на дворец дождей, на гондолы и на знамена на мачтах. Итальянец широко шагает по улице Крулебарб. Последние листья облетели из садов. Ноябрь черств и вытряхнул поутру из черной тяжелой тучи мокрый снег. Несмотря на ранний час, горят фонари. Итальянец сворачивает на авеню сестер Розали и, размахивая руками, неистово уходит в туман.

Дом на набережной черен и стар. Его источили непогоды и прошлое. Над входом в меблированные комнаты «Отель Франция» качается фонарь. Лестница уходит вверх, крутая и темная, как лестница из трюма на палубу. Ветер строгает воду в Сене. Она полноводна от осенних дождей и призывает с исконным гостеприимством неудачников. Шарль Эмиль поднимается по крутому трапу отеля «Франция». Зеркало на площадке отражает в ртутном тусклом дыму его ноги, перебирающие ступени. В темном коридоре ряды грязных дверей. Огель «Франция» не рассчитывает на длительное пребывание постояльцев. Шесть этажей бесконечны, как лестница в небо. Наконец, придавленные черепичной покато́й крышей, возникают мансарды. Женская рука откидывает крючок двери. Сесиль забирается снова под одеяло. Мансарда нетоплена, серебряный пар дыхания поднимается кверху. Крыша в углу протекает, и рыжая штукатурка минутно потеет каплями.

— Здесь можно подохнуть от ревматизма и тоски, — говорит Сесиль.

Ее озябшее лицо красиво и заспанно, розовый шрам от левого угла рта до уха затерт, как обычно, пудрой. Ревность па-

рижских предместий оставила свой след. Шарль Эмиль садится возле постели. Сесиль натянула одеяло до подбородка.

— Надо потерпеть еще немного. Сесиль, — говорит он, — потом мы уедем в Марсель... если бы я мог найти работу в Париже!..

Внезапно Сесиль откидывает одеяло. Она садится на постели, ее дремавшие глаза начинают блестеть.

— Ты помнишь старого Мозули на улице Ламарка... недалеко от кладбища Монмартра? — говорит она возбужденно. — В его вертепе есть подземелье... он раздобыл где-то старинный верстак и поставил его в своем кабаке, как плаху, на которой в революцию рубили головы аристократам... потом он достал на набережной старые цепи и развесил их как кандалы. Иностранцы приходят в его подвал искать ощущений. Так вот, Мозули предлагает, чтобы я исполняла в его кабаке роль мегеры... я буду петь песенки парижских улиц... — Она хватается за плечи и трясет эти неподвижные плечи. — Ты понял, Шарль? Тайное подземелье, где рубили головы аристократам... где бывал Робеспьер... где уличная девка поет свои песенки!..

Лужа, натекшая с потолка, пускает отростки. Шарль Эмиль смотрит на ее подвижные щупальцы.

— Нет, это не дело, — говорит он наконец. — Нам нужна другая работа.

Сесиль опять закрывается одеялом до подбородка.

— Хорошо. Пойди к хозяевам, которые тебя уволили с завода, и скажи, что тебе нужна работа. Кстати они похлопочут о том, чтобы тебя не разыскивала префектура! Может быть, умереть для удовольствия с голоду?

Мимо окна мансарды проносятся облака, как серая кавалерия. Небо Парижа доступно и прозаически близко. Шарль Эмиль смотрит на лицо женщины.

Ее черные волосы раскиданы по подушке. Он набирает их полную горсть.

— Когда же все-таки мы будем жить по-человечески, Шарль? — говорит она минуту спустя.

Дверь номера грязна и захватана руками. Ее часто и торпливо закрывали на крючок. Теперь за кавалерией вслед тянутся бесконечные обозы дождевых туч. В комнате темнеет, косые полосы

заштриховывают окно, по черепичной крыше начинает прогуливаться ливень. Ступени лестницы снова скрипят. Опять ртутный посиневший дым зеркала провожает тень человека. Шарль Эмиль выходит под дождь. Ржавая вывеска отеля «Франция» гроыхает, как шары в кегельбане. На мосту через Сену горят фонари. Он закручивает шарф вокруг шеи и снова идет через город. Его голова наклонена, его руки засунуты в карманы, его ноги с упорством преодолевают мокрые камни, набережные, бульвары, мосты. Может быть, набрел на работу Пеллетье?

Ливень бьет в зонт, как в бубен. До ближайшего колодца метро надо пройти авеню, полное воды, как река. Мсье Ренар вопреки своим правилам решается нанять такси. Торги на улице Вожирар назначены на два часа. Коллекция Делянкура идет с молотка, расточаемая наследниками. Традиции ветшают и блекнут, как выгоревшие флаги прошлого. Его золотые часы показывают без четверти час. Час на осмотр коллекции, хотя все конечно известно по каталогам. Но все-таки... бывают удачи... какой-нибудь портрет работы неизвестного мастера. Автомобили едут осторожно по глянцевиной поверхности улиц; их задние колеса заносит в сторону. Палочка ходит по стеклу перед шофером, стирая водяные брызги. Бульвар Гарibaldi, потом бульвар Пастера в водяном непроглядном тумане. Счетчик щелкает, насчитывая мокрые километры. Мсье Ренар поглядывает недружелюбно на его два окошечка со всплывающими белыми цифрами. Наконец такси сворачивает в сторону к под'езду аукционного зала. Мсье Ренар снимает пальто и оглядывает вешалку. Он узнает серую велюровую шляпу, бежевый котелок... продавцы с улицы Бюисси конечно уже здесь! Непогода не останавливает коммерсантов. Его настроение сразу портится. Он торопится по лестнице наверх, к широкому залу с лепным потолком, ныне вместившему коллекцию Делянкура. Славное имя, вчерашний депутат, человек умеренных взглядов... его кандидатура в Академию имела шансы, если бы не эти преждевременные болезни поколения. Картины, блистая смуглым лаком, развешены по стенам. Превос-

сходные голландцы, несколько барбизонцев... два Дега — и каких Дега! — Мсье Ренар чувствует знакомую желудочную слабость волнения. Конкуренты здороваются друг с другом преувеличенно вежливо. Поспешность, с которой они жмут друг другу руку, становится угрожающей. Продавец с улицы Бюисси разглядывает картину в лорнет. Его брюшко выкачено, он разглядывает картину и двигает ртом, точно жуёт жвачку.

— Наследники, как всегда, переувеличивают ценность вещей, — говорит он кисло. — Барбизонцы — не из лучших... а Дега? Это — подготовка к картине, но не картина.

— Да, аукционеры не радуют за последнее время, — отзывается мсье Ренар готовно. — Все это лежалый товар.

Ему кажется, что скучающий собеседник готов двинуться дальше. Однако продавец остается. Он делает пометки в каталоге. Он останавливается перед одной картиной и долго рассматривает быков, возвращающихся по сельской дороге. У мсье Ренара начинает подергиваться левый глаз.

— Вам нравится эта вещь? — говорит он разочарованно. — Боюсь, что это такой же Поттер, как мы с вами. Он значится еще в старых каталогах как сомнительная вещь.

Стекла лорнета увеличивают круглые сонные глаза продавца.

— Я бы не сказал этого, — произносит он наконец. — По-моему, это — Поттер... и одна из его лучших вещей при этом.

— Мне казалось, имело бы смысл... — Сонные глаза под лорнетом поворачиваются в его сторону — ...мне казалось, имело бы смысл сохранить первоначальное предположение, что это — не Поттер... может быть, ученик, его школа, — но не сам мастер.

Щеки продавца продолжают сонно двигаться. Он достает платок и протирает стекла лорнета.

— Вы так думаете, мсье Ренар? — говорит он.

— Да, я так думаю.

— Гм... что вы скажете о барбизонцах?

Продавец идет вдоль картин. Мсье Ренар сопровождает его. Рюисдаль, Ван-

Остаде... Они проходят сквозь одну залу, затем сквозь другую. Наконец Ламбер подходит к широкому дивану на золоченых ножках. Диван стоит в проходной комнате. Отсюда видна перспектива зал с золотом рам и людьми, бродящими с рассеянным видом.

— Скоро на каждую картину придется по пяти покупателей, — говорит мсье Ренар. — Если нам, людям искусства, не объединиться, нас затрут новички... они опасны, как неопытные банкометы. — Он делает паузу. — Нам нужно объединиться, мсье Ламбер, — добавляет он значительно. — Нам нужен трест... международный трест людей искусства. После войны появилось слишком много ценителей... цены растут, конкуренция увеличивается. Искусство в опасности.

Продавец дышит сонно и выжидательно.

— Так вы думаете, что это — не Поттер?..

Он возвращает мсье Ренара на покинутый путь.

— А если бы даже это был Поттер... какая польза от того, что мы признаем Поттера? — Мсье Ренар откидывается на шелковую спинку дивана. — Предположим, мы будем оспаривать эту вещь друг у друга... мы будем конкурировать... мы поднимем ажиотаж. В конце концов ее купит для своей сомнительной коллекции выскочка.

— Вы предлагаете, мсье Ренар?

— Я предлагаю условиться, что вещь — школы Поттера, и только. Мы успеем установить ее подлинность, если вещь останется за кем-нибудь из нас.

Щеки продавца перестают двигаться.

— Конкуренция... — произносит он. — Париж становится тесен. Он превращается в проезжую дорогу искусства. Скоро парижанам в нем нечего будет делать.

Мсье Ренар похлопывает его по жирной коленке.

— Ну, не скажите, дорогой Ламбер. Немного изобретательности и — главное — трест... трест, картель, синдикат... что хотите. Люди искусства должны стать кастой, они должны отгородиться. Искусство перестает быть тайной. Оно становится доступным массам. Мы можем завтра утратить наше влияние.

Продавец прикладывает лорнет и смо-

трет на мсье Ренара своими увеличенными глазами.

— Из вас вырабатывается настоящий маршан, мсье Ренар, — говорит он одобрительно. — Нет, что ни говорить, а война дала нам опыт. В сущности я считаю войну полезной для нации. Она освежает народ. Кроме того, она пробуждает ощущение долга перед родиной... в наше время интернациональных идей эта полировка необходима.

Колокольчик прерывает философическое раздумье продавца. Люди, блуждавшие по залам, торопятся занять места поближе к аукционному столу. Рефлектор зажигается над мольбертом, освещая картину, первую по каталогу. Это натюр-морт с овощами и рыбами, смуглая великопелная работа Снейдерса. Мсье Ренар и продавец, скачущие и в остротности, направляются в залу и занимают места в разных концах. Аукционер раскрывает каталог и выкрикивает лягушечьим голосом:

— Объявляю аукцион картин, скульптуры и фарфора из собрания покойного Жака Делянкура открытым. Номер первый. Натюр-морт с овощами и рыбами первоклассной сохранности, работы Снейдерса!

Коллекция Делянкура ошипывается, как ромашка. Агенты музеев, скупщики и коллекционеры, слетевшиеся на доклев. Лучшие вещи уходят. Остаются второстепенные мастера, сомнительные ценности. Дегà уходит в Антверпен, барбизонцы, точно обрадовавшись освобождению, разлетаются в разные стороны.

— Номер сорок второй, — возглашает аукционер. — Пейзаж работы Поттера.

Мсье Ренар поправляет пенсне.

— Школы Поттера! — кричит он с места.

— Пейзаж не подписан. Но в каталоге он значится, как работа Поттера.

— Внесите поправку в каталог, — восклицает мсье Ламбер с места. — Это — не работа Поттера... это — ученик Поттера в лучшем случае.

Несколько человек устремляются с мест, чтобы разглядеть картину вблизи. Аукционер звонит в колокольчик.

— Прошу занять места! Было достаточно времени, чтобы ознакомиться с картинами до аукциона.

Мсье Ренар стучит ногами о пол.

— Называйте вещи их именами! Мы не кролики, мы — люди искусства.

В аукционном зале поднимается шум. Поттер опрокинут в своем величии. Его место заступает ученик. Коллекционеры пожимают плечами. Председатель трясет колокольчиком, словно хочет вбить его в головы. Несравненный пейзаж жухнет и превращается в превосходную работу ученика. Объявленная цена туго лезет наверх. Мсье Ренар оглядывает победоносно соседей.

— Я только стоял за справедливость. Никто не отрицает качества, но это — не мастер. Я собираю голландскую школу... правда, даже второстепенных мастеров. Но нельзя вводить в заблуждение собрание.

Он возмущен как ценитель искусства. Он набавляет четыреста франков, потом еще двести... Молоток в руке аукционера неуверенно приподнимается.

— Одиннадцать тысяч четыреста франков за пейзаж, приписываемый Поттеру... кто дает больше?

Зал молчит.

— Одиннадцать тысяч четыреста франков... раз! — Он ударяет молотком по столу. — Одиннадцать тысяч четыреста франков...

— Одиннадцать тысяч шестьсот, — говорит лысый агент провинциальных музеев.

— Одиннадцать тысяч шестьсот... раз!

Мсье Ламбер прикладывает лорнет к глазам.

— Охота была приобретать для музея сомнительную вещь, — говорит он, пожимая плечами.

Аукционер поднимает молоток.

— Одиннадцать тысяч шестьсот — два... кто дает больше?

— Одиннадцать тысяч семьсот, — говорит мсье Ренар яростно.

— Одиннадцать тысяч семьсот — раз! — Аукционер глядит вопросительно на лысого агента. Агент морщится и размышляет. — Одиннадцать тысяч семьсот — два...

— Одиннадцать тысяч восемьсот, — восклицает агент.

Левое веко мсье Ренара начинает подергиваться.

— Одиннадцать тысяч девятьсот, — говорит он негодуя.

На этот раз агент отступает. Молоточек ударяет о стол — раз, потом два... Пенсне мсье Ренара падает на шнурочке. Он лезет в карман и достает синеватую чековую книжку.

Аукцион кончается в четвертом часу. Мсье Ренар выходит из под'езда и раскрывает зонт. Минуту он стоит, размышляя. Его посещает отличное настроение. Он даже мурлычет мотив. В сущности до семи он мог бы провести время как угодно. Розали в бюро управится и без него. Он сходит неспеша по ступеням и идет под дождем. В перспективе улиц мокрый асфальт отражает фигуры перебегающих людей. Красный сигнал маяка мигает на углу. Париж мокр, громоздок и неуютен. Аукцион перебил расписание дня. Но Поттер, подлинный Пауль Поттер перешел в его галерею! Мсье Ренар достает платок и вытирает отсыревшие усы. Жаль только, что пришлось в это дело впутать торговца. Он идет вдоль улицы Вожирар. Избыток его настроения требует выхода. Возвращение в бюро не привлекает его. Он останавливается на углу и раздумывает. Дождь выстукивает о раскрытый зонт. Внезапно в концах его пальцев протягивается сладостная немота. Разве он не заработал себе право на развлечение? Легкая полировка крови, что только бодрит по существу. Удачная покупка требует удачного завершения дня. На этот раз без раздумья он нанимает такси. Мокрая каретка торопливо везет его через Сену, затем по Севастопольскому бульвару. Уличка Каира в стороне от больших бульваров. В доме, не отличном от других серых парижских домов, с окнами, закрытыми ставнями, — внизу кафе, несколько торговых помещений, темная парадная с изгибами лестницы, уходящей в черную глубину пяти этажей. Мсье Ренар останавливает такси, не доезжая до дома. Затем он раскрывает зонт и идет неторопливо по улице. Он доходит до темного парадного, оглядывается по сторонам — и поглощается тьмой. Свет на лестницу проникает сквозь стеклянную крышу пятого этажа. Мсье Ренар находит перила и поднимается на третий этаж. Медная дощечка с надписью «Моды» тускло поблескивает на двери. Он

нажимает звонок. Минуту спустя женское лицо выглядывает в щель полуоткрытой двери. Затем дверь открывается, выпускает его.

— Добрый день, мсье, — говорит деловито женщина, принимая из его рук мокрый зонт.

Ее сорокалетнее мятое лицо улыбается улыбкой юности. Мсье Ренар снимает пальто и шляпу и расправляет отсыревшие усы. Зеркало отражает его бравую выправку. Затем, не спеша и с достоинством, он достает бумажник и отсчитывает сорок франков.

— Мерси, мсье, — говорит женщина, с привычным изяществом выклеывая на лету деньги. Другой рукой она отодвигает портьеру. Внутренняя лестница ведет во второй этаж. Деревянные ступеньки поскрипывают под ногами. Дебелая девица в коротенькой юбочке подростка гостеприимно встречает на площадке мсье Ренара.

— Мсье... — говорит она голосом, полным радушия, и вводит его в полутемную комнату с розовым фонариком под потолком. Тяжелые портьеры на окнах не пропускают дневного света. Широкая постель занимает половину комнаты. Черные полумаски двух женщин, лежащих на ней, подчеркивают белизну их плечей. Мсье Ренар поправляет пенсне.

...Осторожные звонки внизу становятся чаще. Комната постепенно наполняется людьми. Розовый старичок с розеткой Почетного легиона жадно облокачивается о широкую спинку постели. Молодой человек в полосатом пульвере останавливается в дверях. Париж посылает своих сынов, для которых уединение уже не представляет иллюзии. Ковчег через час становится тесен. Усы мсье Ренара утратили боевой вид. Он давно мог бы уйти, но ему жаль сорока франков, уплаченных при входе, и он остается наблюдателем. Девица в короткой юбке аккуратно вешает на вешалку черный пиджак с розеткой Почетного легиона. Ее обязанности усложняются. Созерцатели стоят полукругом. По временам в их кольце образуется брешь. Человек багровый и неистовый проходит сквозь комнату. Подтяжки на его широкой спине похожи на упряжь.

Прозаический час расставания сопро-

вождает стрелка часов. Мсье Ренар в половине шестого молодцеватой походкой спускается по скрипучей лестнице. Девушка в юбочке посылает ему с площадки лестницы взгляд, полный уважения.

— Мсье... — говорит сорокалетняя дама внизу.

Улыбка юности вспархивает на ее крашенные губы. Мсье Ренар надевает пальто и берет зонт. Его котелок надет даже слегка набекрень, как кивер. Сырость приятно освежает разгоряченное лицо. На этот раз мсье Ренар доходит, наслаждаясь погодой, до больших бульваров. Он размягчен и настроен чувствительно. Он вспоминает Денис. Бедная верная Денис! Она наверно сейчас хлопчет на кухне, приготавливая для него что-нибудь повкуснее на обед. В сущности он так редко балует вниманием малютку. Надо купить ей какую-нибудь безделушку... какое-нибудь колечко или еще что-нибудь в этом роде. Он останавливается у освещенной витрины ювелирного магазина и рассматривает вещицы. Конечно что-нибудь недорогое, но милое... только внимание. Потом он заходит в магазин.

— Я бы хотел сделать небольшой подарок, — говорит он. — Подарок жене... какой-нибудь пустячок.

Ювелир достает плюшевые витринки с разложенными на них безделушками — колечками, брошками, брелками. Мсье Ренар задумчиво перебирает вещицы. Он колеблется между золотым почтовым голубком с конвертиком во рту и бирюзовым глазком и между золотой свинкой с эмалевым цветком-трилистником во рту. Милая изящная вещица, к тому же обещающая счастье.

— Сколько стоит эта свинка? — спрашивает он размягченным голосом. — Шестьдесят франков? Гм! В сущности это — пустячок.

— Работа, мсье! Все дело в работе.

Ювелир накалывает свинку на борт своего пиджака, скашивает глаз и умиленно любуется на блеск свинки.

— Хорошо, — говорит мсье Ренар со вздохом. — Я, пожалуй, остановлюсь на этой вещице.

Ему становится немного жаль денег. Вместе с посещением на улице Каира это составит уже сто франков. Он достает бумажник и с прочувствованным

видом отсчитывает деньги.

— Мадам останется довольна, — говорит ювелир, завертывая свинку в папиросную бумагу.

Он протягивает пакетик и принимает деньги, как фокусник. Мсье Ренар выходит из магазина. На больших часах в окне стрелка стоит на шести. Он успеет еще заехать в бюро и просмотреть вечернюю почту. День прошел возвышенно и удачно. Он спускается по ступеням метро и видит себя в продольном зеркале с рекламой зубной пасты. Нет, он еще мужчина, Ренар! — Он отталкивает поперечную качающуюся палку тамбура и выходит на перрон станции. — И Поттер, подлинный Поттер, вырванный из-под носа дураков и невежд, в его руках! — Затем он начинает гулять по перрону, читая объявления и дожидаясь поезда.

Новый жилец переезжает в ателье в шестом часу вечера. Мадам Педенон торжественно шествует через двор, чтобы вручить ключи постояльцу. Пыльные свертки картин вынесены уже из мастерской Эфроима Цаткина. Один только портрет старого еврея с молитвенным ящичком на лбу попрежнему распят на стене, прикрывая трупное пятно сырости. Мадам Педенон с уважением смотрит на два тяжелых чемодана, которые приносит с собой квартирант.

— Здесь жили настоящие бродяги, — говорит она, — у них не было даже приличной постели. Подумайте только, один из них спал на полу.

Ее рыжие кудряшки подвиты, ее тусклый язычок облизывает от оживления губы. Итальянец ставит на пол свои чемоданы. На его лбу надулась синяя жила от напряжения.

— Они достаточно тяжелы — чемоданы, — говорит мадам Педенон сочувственно.

— Это книги, — отвечает итальянец. — Я изучаю искусство.

— Итальянцы всегда были лучшими ценителями искусства! — отзывается консерваторша понимающе.

Она медлит и не прочь потолковать еще о том, о другом, — но итальянец садится на стул посредине комнаты.

— Итак, ключ от ателье, мадам.

Он принимает ключ и смотрит угрюмо

себе на башмаки; он не склонен продолжать беседу об искусстве.

— Я надеюсь, мсье, что вы скоро у нас обживетесь!—Консьержка делает последний жест гостеприимства. Затем она собирает лиловые губы в улыбочку и покидает наконец мастерскую. Итальянец сидит еще некоторое время посреди комнаты. Потом он задвигает чемоданы под кровать и завешивает окно газетой. На этот раз это «Тан».

Мадам Педенон регистрирует письма квартирантов, часы их возвращения, гостей, которые их посещают. Кроме того, она наблюдает, чтобы вытирали ноги перед тем, как подняться по лестнице, чтобы после восьми часов вечера не было шума, чтобы квартирная плата вносилась жильцами каждое пятнадцатое число — и ни одного дня позднее. Она ведет сложный и многолюдный корабль дома. Новый квартирант занимает свое место в ее регистратуре. Ему не пишут писем — она рассчитывала на прекрасные яркие итальянские марки; его посещают нелюдимые и торопливые посетители. Мадам Педенон начинает разочаровываться в итальянцах: их лица небриты до синя, они сплевывают на ходу и не похожи на ценителей искусства. Владелец ателье не расположен к разговорам, он неизвестно где пропадает по целым дням. В конце концов все нации посылают в Париж только худших своих представителей, повидимому. Мадам Педенон обижена невниманием; кроме того, страдает ее наблюдение за домом. Она приходит в мастерскую итальянца утром. Ее лиловые губки поджаты с достоинством. Ей открывают дверь не сразу.

— Мадам? — говорит итальянец, стоя в дверях. Он даже не склонен пропустить ее в комнату. На его ногах опорки, и волосы его подхвачены ремешком. — У меня беспорядок, мадам, — говорит он, не двигаясь с места.

— Я имею вам заявить, мсье, — мадам Педенон сухо смотрит мимо него. — Вчера у вас были посетители... я не знаю, кто были ваши гости. Но они позволили себе шуметь, выходя из дома. Вам известно, что после восьми часов вечера надо уважать покой соседей.

— Хорошо. Я им скажу. Это все? — спрашивает итальянец.

— Нет, это еще не все. Вы редко бываете дома, мсье... повидимому у вас не хватает времени держать ателье в чистоте. Здесь жили настоящие бродяги, и я не могла дожидаться дня, когда я от них избавлюсь. Между тем я отвечаю за чистоту и чистоту помещения. Вы могли бы иногда оставлять мне ключ от ателье...

— Нет. Это не годится, мадам. С будущей недели ко мне будет приходиться уборщица.

Его синий упорный подбородок начинает беспокоить мадам Педенон. Его жилище замкнуто, и номер «Тан» плотно завешивает окно.

— В таком случае, мсье, я не смогу препятствовать комиссии, которая захочет осмотреть помещение!

Мадам Педенон шествует через двор обратно. Ее щеки пылают сквозь голубую пудру. Кто поручится за сомнительных иностранцев, которые называют себя знатоками искусства или даже художниками? Монпарнас кишит ими. Из ворот ей навстречу идет человек. Его летнее пальтишко ободрано, и нижняя половина лица закутана в шарф. Он проходит мимо, его черные быстрые глаза скашиваются на консьержку поверх шарфа. Мадам Педенон задерживается у ворот. Человек стучит в окно ателье, завешанное номером «Тан». Дверь открывается, и его впускают. Мадам Педенон стоит у ворот. Кто мог быть этот человек? Стылая лужа под ее ногами не отражает ничего. Его быстрые знакомые глаза дополняются синим угрюмым подбородком итальянца. Он стоял в дверях и не хотел пропустить ее в комнату. Пожалуй, на место одних бродяг явились другие. Мадам Педенон переполняется тревогой и решимостью. Вы слишком скоро почувствовали себя в Париже, как дома, сомнительные иностранцы! Она шагает через лужу и проходит в свое помещенье консьержки, откуда сквозь стеклянную дверь, завешанную кружевной занавеской, виден каждый, кто приходит в дом.

Человек раскутывает шарф и оглядывает мастерскую.

— Бедный Цаткун, — говорит он, глядя на еврея с молитвенным ящичком на лбу. — Это все, что осталось после него. Ты доволен помещением, Бенко?

— Да, я доволен помещением, — отвечает итальянец. — К сожалению, консержка слишком интересуется искусством.

— Все консержки интересуются искусством. Говорят, даже среди агентов уголовной полиции есть недурные коллекционеры. — Шарль Эмиль садится на табурет и достает трубку. Синий дым «капорала» застилает вскоре комнату.

— Подари ей копию с какой-нибудь итальянской Мадонны. Она повесит ее на стенку и будет всех уверять, что ты — великий художник.

— Я бы охотнее подарил ей мышьяк, чтобы она отравилась.

— Она не отравится, — отвечает Шарль Эмиль успокоительно. — Она похоронит еще четырех квартирантов, кроме тебя. Консержки во Франции — оплот государства.

Он курит и оглядывает стены.

— Здесь жили люди, — говорит он еще в раздумье. — Париж сожрал их... он сжирает людей, как салат. Этого старика рисовал русский художник.

Старый еврей в белом с черными полосами платке через шею, смотрит на него горьким взглядом предка. Он курит дальше.

— Ты долго еще останешься в Париже? — спрашивает он повода.

— Да, пока я останусь в Париже. Мне рановато возвращаться в Италию.

— Странные люди вы — анархисты, — говорит он затем. — Вы действуете всегда в одиночку.

— У нас своя тактика... впрочем мы идем к одной цели повидимому.

На этот раз консержка не дождалась ухода незнакомца. На керосинке шипят и плавятся бараньи почки. В двенадцать часов мадам Педенон покидает свой пост. Наступает час завтрака. Из отверстий, оставленных вилкой, пенится сок. Почки готовы. Они требуют еще только острой приправы с доброй порцией перца. Мсье Педенон, муж консержки, служит посыльным в торговом доме. Четверть первого он уже сидит за столом, дожидаясь, когда дожарятся почки. Его нос с лиловатыми жилками бегло обегает газету. Мсье Педенон просматривает «Журнал де

консерж» — издание, специально предназначенное для консержек.

— Сдается прекрасная квартира в пять комнат... авеню президента Вильсона. Воображаю, сколько заработает на этом деле консержка. Да, это жизнь, — не то, что наша берлога. Там можно подкоптить кое-что! — Его нос шарит дальше по газете. — Консержка должна быть на-страже Парижа... хорошая статья, дельная статья повидимому.

Шипение почек оглушительно. Их запах мешает ему сосредоточиться. Наконец трещащая кастрюля проплывает через стол торжественно и шумно, как эскадрилья. Мсье Педенон сжимает в руках черенки ручки и вилки. В доме Педенон наступает тишина, — священный час завтрака. Две пары челюстей чавкают, разжевывая туговатое мясо почек. Красное вино булькает в горле.

— Да, наша берлога — не апартаменты на авеню президента Вильсона, — говорит мсье Педенон, вытряхивая перцу на почку. — От наших жильцов не сколотить ничего под старость.

Он роется в кастрюлке, добывая оттуда кусочки пожирнее.

— Особенно от таких, которые занимают у нас ателье, — отзывается мадам Педенон. — Что касается меня, то я готова поспорить, что этот итальянец не художник, а фальшивомонетчик. Он даже не впускает в свою мастерскую.

Мсье Педенон в'едается в почку. Его рот и редкие усы вымазаны жиром.

— Очень просто. Поддельвателями кредитных билетов обыкновенно бывают художники. Это вы питаете слабость к искусству. Что до меня, я никогда не впустил бы художника. Искусство, это — занятие для шарлатанов.

Мадам Педенон поднимает глаза и смотрит на карнавал в Венеции.

— Без искусства наша жизнь была бы очень печальной, — говорит она.

— А все-таки поглядывайте за вашим шарлатаном, чтобы он не причинил вам неприятностей. — Мсье Педенон настроен прозаически. — На мой взгляд, наша жизнь была бы печальной без хороших клиентов. Хотел бы я видеть, как вы проживете с вашими пачкунами.

Он торопится есть, но высказывает еще одну-две разумные в общем мысли насчет нового квартиранта. Мадам Педенон кончает обед расстроенной. Она решает в своей регистратуре передвинуть итальянца на видное место. Круг ее наблюдений покидает привычный четырехугольник стекла, завешенного кружевной занавеской, и простирается на все владение дома на улице Крулебарб с его двором, где мокрый кабриолет празднует четвертое десятилетие.

Поезд метро проходит подземным Монмартром. Наверху огни площади Пигалль, гавайские гитары и саксофоны уже меланхолически и приятно подвывают из дансингов, внизу — спертый жемелевый воздух, удавы проводов, тусклый свет, громыханье длинных вагонов подземного поезда. На станции Ламарк Сесиль покидает вагон. Поезд устремляется дальше — к пустынному кварталу Пуассоньер, к заставе Парижа. Лестница метро поднимается прямо вверх, в туман вселенной. В зеленоватом свете фонаря дождь сеет кося и неопрятно. Недалеко бретонский госпиталь и кладбище северной части Парижа — кладбище Монмартр. Улица Ламарка освещена скудно. Сесиль идет по ней быстро и не оглядываясь. Вертикальная вывеска с лаконичной надписью «Кафе» постепенно набухает в тумане. К кафе десяток столиков с несколькими скачущими посетителями и стойка, над которой стоят бутылки. Буфетчик промывает в проточной воде рюмки. Рядом со стойкой узкая дверь, на ней белая дощечка «Уборная». Лестница вниз крута и пахнет камфарой. Пыльный колпачок освещает этот вход в подземелье. Отбитые ступеньки поджидают неосторожную ногу. Коридор с облупленными стенами изломанно ведет в глубину. На стенах черной краской начертаны средневековые надписи и кабалистические знаки. Здесь начинаются владения Мозулё. Низкие своды погребов образуют полуокружье. Доски, наставленные на боченки, заменяют столы. За стойкой с ее цветными бутылками стоит сам Мозулё. Его лицо с низким лбом и глазками, запятанными в слюны морщины, изрыто восточной оспой. Оно багрово, и птичий глаз оспенных знаков осыпал его своей бе-

лизною, как соты. Его рука с ногтями, вдавленными в кожу, лежит на стойке, неподвижная и похожая на предмет.

— Я пришла сказать, что согласна, — говорит Сесиль.

Лицо Мозулё не изменяет своего выражения. Его тусклые бесцветные глазки дремлют.

— Еще неизвестно, сможешь ли ты справиться с этим... — произносит он погода и наливает рюмку коньяку. Сесиль садится на *высокий стул возле стойки. — Ты должна оскорблять иностранцев и осыпать их ругательствами. Ты должна быть мегерой и последней тварью Парижа. Если мы поведем дело так, американцы повалят сюда. Кроме того, молодцы, которые будут доставлять иностранцев, должны работать, как настоящие макрò. Не плохо, если кто-нибудь из них потаскает тебя за волосы. Твой шрам на щеке тоже пригодится. Как ни говори, а это — след любви. — Теперь его толстые пальцы начинают пошевеливаться, как белые мучные черви. — Надо объяснить всем, что этот погреб уделел от полиции... сюда стекаются подонки Парижа. Все зависит от твоей сообразительности, малютка.

Коньяк после непогоды приятно обжигает горло. Средневековые мрачные изречения, напоминающие о смерти и об инквизиции, воспроизводят тайну миновавших веков. Керосиновая низкая лампа с балансом от качки, снятая с какого-нибудь старого судна, висит под сводом. Керосиновый огонь Мозулё собирает искателей необычных приключений в Париже.

Полчища туч устремляются с океана на материк. Нормандский северный ветер подгоняет их тяжелые туши, полные туманов, дождей и простуд. Пароходы, преодолевшие океан, высаживают в Гавре и Шербурге пассажиров. Поезда — длинные пульманы, наглухо соединенные гармониками переходов, с литыми гербами международного общества спальных вагонов, привозят их из портов в Париж. Мокрые вокзальные площади, цепи такси, переползающих со своих стоянок к ступеням вокзала, узкие улочки с почерневшими от прожитого столетия домами, Париж Бальзака — встречают прибывших своим литера-

турным правдоподобием. Такси покидают вокзальную площадь и везут в дорогие отели, откуда можно начать свое плавание по этому соблазнительному и опасному городу.

Человек, засунув руки в карманы, стоит у витрины магазина эстампов. Гравюры, эстампы, почтовая бумага, цветные сургучи и печатки разбросаны в окне и освещены боковыми рефлекторами. Магазин сияет полдненным солнечным светом витрин. Круглая дверь отеля напротив вращается, как гребной винт, стеклянными лопастями. В его вестибюле, покрытом коврами, сидят в кожаных креслах приезжие. Газетчик у входа выкрикивает английские газеты. Американцы, выходящие из отеля, останавливаются в нерешительности и бредут наугад, чтобы восхититься вдруг колонной Вандомской площади или оказаться под лоджиями улицы Риволи. Но Париж здесь величественен и степенен, и слава его утех не доходит сюда.

Человек покидает наконец витрину магазина эстампов и переходит улицу. Он проходит дважды мимо круглой двери отеля. Портые стоит за своей конторкой, блистая золотом пуговиц, как капитан судна. Четыре американца выходят из отеля на улицу. Они предвкушают Париж. Их роговые очки не вмещают открывающихся перспектив веселого вечера. Огни Монмартра ослепляет Монпарнас с его литературным прошлым и богемой, про которую написана даже опера. Они идут наугад — налево, потом опять налево. Здесь они останавливаются у фонаря. Дождь поливает их макинтоши. На Эйфелевой башне танцует огонь рекламы. Он обегает ее и взвизгивает наверх, оторванный от земли, как ракета. Человек подходит к фонарю, возле которого стоят иностранцы. Его кепка ухарски сдвинута, платок на его шее повязан ухваткой апаша. Американцы смотрят на него заинтересованно и опасливо. Но он улыбается им и снимает кепку. Он объясняет им, что он всего-навсего гид. Гид для каждого приехавшего, кто растерялся в этом огромном городе и не знает, куда направить себя, чтобы увидеть настоящий Париж. Настоящий Париж восемнадцатого века, такой, каким он был в революцию. Новые дома загородили старые

постройки. Цивилизация пожирает прошлое. Но если бы уважаемые иностранцы захотели посетить некий кабачок... восемнадцатый век Парижа и последняя певичка парижских улиц, знаменитая Ивонна Санжу, из-за которой не раз лилась кровь. Алкоголь и разврат текут в ее жилах вместе с песнями парижских улиц... к сожалению, никто уже не поет этих песен!

Его безоблачный вид, привычная профессия гида, каскетка, надетая набекрень, располагают к нему.

— Где этот кабачок?

— В другой части города. Двадцать минут на такси. Он не позволил бы себе рекомендовать заурядный кабац на Монмартре. Монмартр — не настоящий Париж.

Американцы совещаются. Потом они решают ехать к кабачок, в котором бывали деятели революции. Гид садится рядом с шофером. Автомобиль пробирается узкими улочками к площади Оперы. Авеню Оперы, пустынное в этот час и освещенное дневным светом двойных фонарей, просторно уходит к Пале-Роялю. Бульвар Османа пересекает их путь, широкий и многоводный, как река. Потом опять идут улочки, мигающие огни семафоров и подъем на монмартрский холм. Автомобиль петляет, как заяц, пробираясь к далекой улице Ламарка.

Цветные бутылки опрокидываются в руках Мозули. Сизый дым застилает старинные своды. Кабалистические знаки зловеще проступают на стенах. На длинных досках, положенных на бочки, тесно, как на старинном пиршестве, сидят люди. Американцы ослеплены, таинственный Париж наконец открывается им. Их втискивают в узкое ущелье за стол. Каскетки, шарфы, повязанные вокруг горла, лица стриженных девиц, — вероятно весь преступный и опасный, но неотразимый мир Парижа собирается здесь. Служители высоко над головами пронесут подносы. На нескольких боченках в углу настланы доски эстрады. Грузный облысевший человек с феерическим галстуком времен Мюссе тяжело взбирается на эстраду. В его руках итальянская гитара с коротким грифом.

— Ивонну! — кричат из-за столиков. — Ивонну Санжу!

Алкоголь, теснота, дым табака, близость неизвестных людей — все делается увлекательным и опасным. Между столиков происходит движение. Задние ряды становятся на скамейки. Грязная страшная женщина, исчадь Парижа, с растрепанными нечистыми волосами, с синяком под глазом, в рубище, которое едва прикрывает колени, — она шествует посреди толпы, упершись кулаком в бок и мутными угрюмыми глазами оглядывая привычное сборище.

— Здорово, каналы! — говорит она своим испитым силным голосом.

Прыжок — и в своих опорках она стоит на эстраде рядом с лысым спившимся композитором.

— Каналы, бродяги, пьяные девки! — восклицает она, в ярости поворачиваясь во все стороны. Вы пришли слушать Ивонну Санжу? Платите деньги!

Она снимает с ноги опорок. Толпа восторженно охает. Опорок переходит из рук в руки. В него засовывают деньги.

— Послушайте, вы... жирные фазаны, макрò! — кричит Ивонна американцам. — Как вы попали сюда? Здесь только честные люди. Здесь не место мошенникам.

Толпа громыкает хохотом. Все обращаются на американцев. Они сконфуженно и непонимающе улыбаются.

— Money! — кричит человек в матросском берете с помпоном.

Американцы начинают облегченно кивать и достают деньги.

— Не скупитесь, макрò!.. — кричит Ивонна опять. — Ваши девки зарабатывают еще, чтобы содержать вас.

Опять толпа громыкает хохотом. Американцы тоже скалят крупные зубы. Наконец опорок полон и возвращается на эстраду. Ивонна опрокидывает деньги себе за пазуху. Теперь она стоит, уставив руки в бока и покачиваясь. Музыкант проводит толстыми пальцами по струнам. Ивонна начинает песню. Ее хриплый надтреснутый голос крепнет. Песня о девушке в предместье... у нее был друг, она впустила его к себе через окно, и он сломал форточку. Потом пришла маман и стала

кричать: «Он сломал форточку, плут!» Но девушка сказала маман: «Зато теперь чаще можно будет проветривать комнату». Гитара лопается пузырями под толстыми пальцами композитора. Толпа гогочет. Надтреснутый голос Ивонны плывет, легко подбадриваемый алкоголем. Лица американцев багровеют.

Et bien, maman! Et voilà, maman!
Mon Charle peut forcer la porte
charmant!

Грохот ладоней обрушивается. Кулаки стучат по столам. Ивонна равнодушно стоит на эстраде. Потом она начинает новую песенку. Посетители хором подпевают припеву. Гид делает знак своим клиентам. Он подводит их к потайной двери за стойкой, над которой неподвижно и непроницаемо стоит Могуль.

— Этому дому триста лет, — говорит гид таинственно и с оглядкой. — Теперь следуйте за мной. Я покажу вам нечто.

Он освещает электрическим фонариком вход в потайную дверь. Кривые сбитые ступеньки ведут еще ниже. Подземелье пахнет тленом и сыростью. Американцы следуют за ним, сгибаясь под сводами. Жидкий свет фонарика оплескивает стены в разводах и таинственных чертежах. Внезапно посетители видят вделанные в стену цепи.

— Вит, — говорит гид торжественно. — Здесь были прикованы в великую французскую революцию аристократы. Здесь бывал Робеспьер. Он посещал этот кабачок, который служил местом условленных свиданий для якобинцев. Теперь я покажу вам плаху, на которой рубили головы. — Он освещает фонариком деревянный чурбан, измолотый ударами топора. — Вы можете даже увидеть на нем старую кровь!

Американцы наклоняются над чурбаном.

— Эти предметы, — продолжает торжественно гид, — живые свидетели великой революции. Вы должны сохранить это посещение в тайне, потому что иначе национальный музей перевезет все это к себе и разрушит еще один исторический памятник великих событий.

Он говорит возвышенно и сурово. Американцы довольны посещением. Париж якобинцев, Париж революции!

Многим ли удастся это увидеть? — Потом они шествуют обратно, согнувшись под сводами.

В шестом часу утра кабачок Мозуль пустеет. Наверху в кафе столики опрокинуты один на другой. Настоянный ноябрьский рассвет сине встречает подземные тени посетителей. Они расходятся в разные стороны, пошатываясь. В сырой уборной, где капает со стен, Сесиль снимает вазелином свои синяки и морщины. Ливень утих, и мгла осыпается водяной осыпью. Шарль Эмиль берет Сесиль под руку. Улица Ламарка пустынна и сыра, как дыхание севера. Они идут тесно, согнувшись под ветром. Неотличимый в своих очертаниях, проплывает Париж. В ночном кафе можно выпить горячего кофе. Утренние призраки стоят возле стойки. Их лица зеленые, желтые зрачки их глаз негостеприимно встречают рассвет. Горячий кофе почти наполняет счастьем. Подземная воспаленная ночь отодвигается.

— Когда мы огдохнем, Шарль? — говорит Сесиль.

Ее рука лежит рядом с его рукой на стойке. Сдача звякает о мрамор прилавка. Сена лежит на пути, заваленная туманом. Фонарь на мосту горит нерожденным светом. Знакомая вывеска отеля «Франция» встречает их вскоре своей жестяной предутренней дрожью.

Бернар Давид сидит в старинном, кресле отца. Его прямой пробор обильно посыпан жемчужной чешуей перхоти. Наследственный нос и черные дуги бровей говорят о том, что на месте Давида сидит преемник. Стершиеся локотники кресла привычно и услужливо лежат полукругом. Возле весов для взвешивания драгоценностей — полированный ящичек с медными долями, граммами и разновесами. Впрочем перемены есть и в самом бюро. Кое-что из хлама сдвинуто, голландцы перевешаны, легкая мебель из розового дерева раскинута посредине комнаты и создает уют гостиной. В общем для фирмы всякое событие, касающееся ее, только реклама. Люди приходят попрежнему, попрежнему колеблются никелевые чашечки весов, взвешивая драгоценности. Бернар Давид не склонен к слабости отца: иногда сочувствовать людям. Он дает

низшую цену, и он согласен скорее уступить вещь, чем поколебаться в оценке. На его мизинце невинная слеза бриллианта. В четвертом часу вечера звонит сигнальный длительный звонок двери. Бернар Давид, лениво читавший объявления в газете, принимает за столом деловую, озабоченную позу. Быстрая и твердая походка человека через залу с голландцами. Минуту спустя человек входит в бюро. Он высок, его серое пальто в клетку расперто плечами, у него выправка военного. Русский эмигрант, продающий родовую уцелевшую вещь. Бернар Давид делает жест, указывающий на кресло, и поднимает выжидательно брови. Человек располагается в кресле, достает портсигар и старательно ввинчивает сигарету в мундштук, прежде чем начать разговор. Руки Бернара Давида скусающе вытянуты по полукругу локотников. Бывшая персона, еще не утратившая былых замашек. Гвардейское величие прошлого. Человек наконец выпускает дым.

— Мсье Давид? — говорит он.

— Да, я Давид, — отвечает Бернар Давид. — Что вам угодно? Вы имеете предложить?

Розовые губы человека перекатывают мундштук.

— Нет... дело не в предложении. Дело в небольшом разговоре. Но... — он оглядывается кругом — ...мы одни? Я имею поручение от господина следовательно. Дело в том, что...

Большая старинная жирандоль зажигается под потолком, сияя спектрами своих хрусталей. Бернар Давид гремит колесиками кресла, передвигаемого поближе к посетителю. Человек выпускает дым.

— Кажется, мы на хорошем следу, — говорит он самодовольно. — Что-то, а наша уголовная полиция стоит на первом месте в Европе. Сейчас все зависит от вашей памяти. Не можете ли вы припомнить... быть может, из рассказов вашего покойного отца... или, может быть, у вас сохранился протез с шестью золотыми зубами? Я повторяю: протез с шестью золотыми зубами.

Он распяливает рот и показывает двумя пальцами величину протеза. Бернар Давид смотрит в раздумье на его желтые крупные зубы.

— Протез с шестью золотыми зубами, — повторяет он. — Отец покупал старые челюсти и золотой лом в таком количестве... все это давно переплавлено. Могу я узнать, какое это имеет отношение к делу?

Человек выпускает затейливо дым. Белые колечки нанизываются одно на другое.

— К сожалению... всё находится еще в стадии следствия. — Он многозначительно прищуривает глаз и следит за белым колечком. — Прежде всего нам необходимо было выяснить настоящее имя преступника. Как известно, он назвался вымышленным именем. Сейчас представляется случай...

Бернар Давид смотрит на рот человека, выпускающий колечки дыма.

— Быть может, в общих чертах... — говорит он. — Кто знает... может быть, здесь целая организация. Я провожу дни в бюро... согласитесь, это может расшатать нервную систему.

Он выхватывает шелковый платочек из карманчика и вытирает лоб.

— Да... может быть, здесь целая организация, — повторяет человек благоклонно. — Но, — он поднимает палец, — для этого и существуем мы!..

Белое колечко легчайше вспархивает; постепенно оно превращается в нуль.

— Итак, — продолжает человек, — сейчас представляется случай. В клинику на улице д'Алезия доставлен некий субъект... бывший художник. Вы знаете клинику на улице д'Алезия? Во всяком случае, не желаю вам никогда в нее попасть! Так вот субъект уверяет, что около месяца назад его приятель ушел продавать ювелиру протез и назад не вернулся. На самом деле, у него недостает шести зубов. Человек страдает тихим слабоумием. Но, как известно, малые подробности распутывают большие дела. И вот, если мы установим тождество...

— Протез с шестью золотыми зубами, — повторяет Бернар Давид. — Я вспоминаю что-то... да, я вспоминаю отлично. Золотой мост с шестью золотыми зубами.

Человек перестает курить.

— Вы вспоминаете это? — говорит он. — Прошу вас запомнить, что это крайне важно для следствия.

Человек плывет, окруженный нулями. Бернар Давид сомнамбулически следит за ними... Золотой мост с шестью золотыми зубами. Он напрягает память и потирает пальцем лоб.

— Я видел этот мост... да, я его видел! — восклицает он проясненно. — Он был среди других покупок на столе у отца. — Теперь протез становится реальным, белые нули прекращают свое кружение. Он смотрит победоносно на человека. — Этот протез принадлежал моему покойному отцу, — восклицает он снова.

Человек вынимает записную книжку. Потом он тушит несколько раз окуроч своей сигареты о пепельницу и прячет мундштук.

— Мы еще имеем слух и зрение, мсье Давид, — говорит он торжествующе. — Здесь не один человек... здесь целая организация. Но нити в наших руках.

Разговор продолжается в течение часа. Подробности проявляются в памяти как негатив. Наконец человек поднимается во весь рост в своем клетчатом пальто с плечами военного.

— Благодарю вас, — говорит он значительно.

— Надо надеяться — мы обезопасим Париж.

Бернар Давид провожает его через залу. Золотые рамы картин тускло блещут.

— Старинная живопись, — произносит человек осведомленно. — Я тоже коллекционирую немного... только в другой области.

— Могу я узнать — в какой?

— Я коллекционирую марки.

— О! — говорит Бернар Давид. — У моего отца была большая переписка с ювелирами разных стран... если бы вы пожелаали...

Минуто спустя они прощаются. Человек обещает держать его в курсе дела. Кроме того, он зайдет поглядеть на марки... это такая любезность! — Сигнальный звонок прекращает свой звон. Бернар Давид затворяет дверь. Золотой протез с шестью золотыми зубами. Да, он вспоминает отлично... он видит его перед своими глазами. Целая организация в Париже... и он один в своем бюро, готовый каждую минуту подвергнуться

нападению! Золотые рамы начинают угрожающе блистать из полутьмы. Бернар Давид зажигает все люстры. Комната переполняется светом. Свет успокаивает его. За окнами стремится вечерний бульвар Сент-Дени. Он весь уже запятнан красными и зелеными огнями реклам, и только сумрачно, в полутьме высоты, стоит мрачная арка ворот, некогда отделявших предместье Парижа. Затем он затворяет со свистом тяжелую дверь несгораемого шкафа, тушит огни и закрывает бюро на час раньше обычного. Вечерний Париж встречает его радушно и отгоняет сомнения.

Мадам Педенон взволнованно шествует впереди. Люди следуют за ней в ее помещение консьержки. Водяная осыпь, сыпавшаяся всю ночь, к утру перешла в ливень. Люди, вошедшие за мадам Педенон следом в комнату, мокры и решительны. Один из них в штатском, двое других — в полицейской форме. С козырьков их мокрых каскеток капает вода. Человек в штатском садится за стол, полицейские остаются стоять. Мадам Педенон взволнованно и с уважением смотрит на клетчатое пальто человека. Человек раскрывает портфель.

— Вы консьержка этого дома? — спрашивает он.

— Да, мсье... я — консьержка, — отвечает мадам Педенон готовно.

— Сколько времени вы служите здесь?

— Четырнадцать лет, мсье.

— Итак, вы знаете всех ваших жильцов, все их привычки и занятия?

— Да, мсье. Могу сказать, что я это знаю, — отвечает мадам Педенон с достоинством.

— Не можете ли вы сообщить нам, кто проживает в настоящее время в ателье, которое находится во дворе вашего дома и значится как помещение № 4?

— Да, конечно, мсье. Ателье в настоящее время занимает художник, итальянец по национальности.

— Его имя Умберто Бенко?

— Да, мсье, его имя Бенко.

— Сколько времени он живет в этом ателье?

— Он живет в нем с двенадцатого января этого года... скоро месяц.

— Вам известно что-нибудь об образе его жизни?

— Он редко бывает дома, мсье... к сожалению, он возвращается по ночам и, кроме того, он отказался оставлять мне ключ от ателье. Я предупреждала его, что могут быть неприятности. Наконец-то он дождался!

— У него бывают знакомые?

— Да, мсье, у него бывают знакомые.

— Кто эти знакомые? Вы их знаете?

— Чаще всего итальянцы... вероятно тоже художники.

— Имена? Вам известны их имена?

Мадам Педенон признается виновато:

— Нет, мсье, имен я, к сожалению, не знаю. Он слишком недавно живет в нашем доме.

— Кто еще бывает у него? Из тех, кого вы знаете?

Мадам Педенон задумывается. Красный бант в ее волосах вздымается неподвижно, как петушиный гребень.

— Кого я знаю?

Она смотрит мимо людей в угол. Внезапно лицо ее краснеет от напряженья и радости. Человек, когорый прошел мимо нее через двор в тот самый день, когда итальянец не впустил ее в ателье... шарф, скрывавший половину лица, раскутывается. Она узнаёт человека... она узнаёт его глаза, она знала их раньше — как она не могла вспомнить сразу? Конечно это он, его шарф, его дрянное пальтишко в масляных пятнах... она узнала его.

— Мсье... — говорит она торжествующе. — У него бывал еще фрезеровщик с автомобильного завода на улице Удри... его имя Шарль Эмиль. Он бывал здесь и прежде, у тех, кто раньше занимал ателье.

— Назовите имена тех, кто раньше занимал ателье.

— О, это были бродяги... настоящие бродяги, мсье, — отвечает мадам Педенон возмущенно. — Один из них даже не имел постели... он спал на полу.

Она увлекается. Увы, настоящая богема вымирает на Монпарнассе. Остаются сомнительные самозванцы. Что делать, обязанность консьержки — переносить все эти неприятности, которые доставляют жильцы. Ее собственная судьба начинается ей казаться неутешительной. Есть консьержки, которым по-

счастливилось попасть в приличные дома в центре Парижа. Кто из порядочных людей станет селиться на улице Крулебарб?

Человек прерывает ее.

— Вам придется сопровождать нас. Мы должны произвести осмотр помещения. Дело в том, что один из тех, кто прежде проживал в вашем доме, оказался преступником.

Мадам Педенон прикладывает толстую руку к груди.

— Оказался преступником? — произносит она. — Этот бродяга? О! — Ее бант начинает истерически колыхаться. — В таком случае у него были сообщники! Она сдает помещение, но она не может залезть в людей. Кто знает, какие замыслы у каждого из этих проходимцев? В Париж съезжаются преступники со всего света. Они пользуются свободой во Франции... к сожалению, это так! Их нужно всех уничтожить, сослать на каторжные работы в Африку...

Она готова громить. Человек в клетчатом пальто прерывает ее.

— Все это конечно достойно размышленья, мадам. Но мы не располагаем достаточным временем.

Мадам Педенон шествует опять впереди. На этот раз ее походка решительна, красный бант в ее волосах принимает воинственный вид. Люди следуют за ней через двор. Ливень стучит о широкий раскрытый зонт консьержки и поливает кабриолет во дворе. Мадам Педенон стучит в окно, завешанное газетой.

— Мсье, — говорит она торжествуяще, — поторопитесь открыть дверь. Здесь представители власти.

Ей не отвечает никто. Она барабанит в окно. Черное окно мастерской залито дождем и безмолвно.

— Если вы заснули, вам придется проснуться, мсье! — восклицает она еще.

Дверь глухо бухает под ударами ног.

— Может быть, его нет дома, — говорит человек в клетчатом пальто.

— Нет, он дома, — отвечает консьержка победоносно. — Ключ торчит изнутри.

Все четверо начинают барабанить в дверь и в окно. Никто не отвечает им. Человек в клетчатом пальто подходит к двери вплотную.

— Откройте немедленно дверь, — говорит он. — Это — полиция. — Никто не отвечает ему. — Я прикажу людям взломать дверь, если вы сейчас же не откроете, — говорит он снова.

Безмолвие попрежнему простирается за дверью. Он делает кивок головой. Полицейские идут к двери. Жидкая дверь сотрясается от их ударов. Сейчас она слетит с петель. Внезапно странный удар раздается за дверью. Полицейские отскакивают в сторону.

— Что это было? — говорит один.

— Упало что-нибудь с полки внутри.

Они снова начинают трясти дверь. Наконец верхние петли отходят вместе с гвоздями, которыми они прибиты. Еще один рывок — и дверь повисает. Полицейские хватаются за верх и выворачивают ее. Все трое перелезают через дверь в комнату. Мадам Педенон подбирает юбки. Мастерская полутемна и нетоплена. Серый свет проходит сквозь газету на окне. Человек в клетчатом пальто срывает газету. Потом он нюхает воздух. В воздухе пахнет порохом.

— Поднимитесь с постели, — кричит человек. — Перестаньте разыгрывать комедию.

Полицейские с двух сторон приближаются к постели. На ней лежит человек. Его острый небритый подбородок мертво торчит кверху.

— Что вам надо? — говорит лежащий слабым голосом. — Зачем вы врываетесь в помещение? Вы видите — я болен.

— Вы могли бы отозваться, во всяком случае.

Полицейские берут его за плечи и сажают на постели. Вялая голова с небритым подбородком клонится книзу.

— Что с вами такое? У вас жар?

С постели падает со стуком предмет. Человек в клетчатом пальто стремительно нагибается. Это — браунинг.

— Оружие? — произносит он угрожающе.

Внезапно мадам Педенон видит, что он пятится назад. Рубашка на груди итальянца открыта, оттуда течет кровь.

— Он выстрелил в себя, — говорит полицейский.

Итальянец клонится в их руках и опускается снова на постель. Все стоят кругом.

— Он выстрелил в себя только-что. Это был звук выстрела. Что это значит?

Агент берет его руку и щупает пульс. Потом он кладет на его грудь полотенце. У мадам Педенон начинают трястись плечи.

— Мадам, — говорит человек на этот раз совсем неучтиво, — вам придется обойтись без истерики.

Пока один из полицейских уходит, чтобы вызвать карету скорой помощи, агент со вторым полицейским осматривают комнату. Раненый лежит на постели и дышит вяло и утомленно. Жилище бедно и убого. Человек, лежащий на постели, не согрел его убранием. Грязный умывальник, обмылок мыла. Бритва в футляре. Берет художника — потертый и несвежий. Узел грязного белья в углу. Несколько книжек. Ворох старых газет. Человек просматривает газеты. Это итальянские газеты преимущественно. Потом он находит номера «Юманите».

— А... — говорит он, — дело проясняется.

Он откидывает свесившееся одеяло и заглядывает под постель. Два тяжелых больших чемодана стоят под постелью. Полицейский помогает ему вытащить их оттуда.

— Однако, — говорит человек, — они набиты основательно... вероятно это книги.

Он присаживается над чемоданом и пробует его открыть. Боковые застежки отодвигаются. Чемодан грузно разваливается на две половины. Кипы старых газет и воззваний. Человек запускает руку. Внезапно лицо его бледнеет. Он быстро отдергивает руку, как будто его укусили за палец.

— Это — бомба, — говорит он. — Настоящая английская ручная бомба.

Полицейский вытягивает шею.

— Мсье.. — бормочет он, — не прикасайтесь больше к чемодану... теперь понятно, почему он испугался полиции!

Чемодан со своим ужасным содержанием остается раскрытым на полу. Человек снимает шляпу и вытирает пот.

— Вы знаете, кому вы сдали помещение? — говорит он наконец. — Эти итальянцы... они недовольны режимом и бегут из Италии, чтобы подготавливать заговоры!

Мадам Педенон дает волю чувствам.

— Снимите с него полотенце, — вопит она. — Пускай он истечет кровью. Скорую помощь вызывают для порядочных людей, а не для бандитов!

Полицейский помогает ей выбраться из комнаты.

— Успокойтесь, мадам. Следственные власти займутся этим делом.

Она забывает зонтик и шествует под ливнем, призывая порядочных людей разделить ее негодование. Вскоре частый высокий гудок санитарного автомобиля вколачивается в тишину улицы. Затем дождливую пустыню двора населяет полиция. Окна домов, несмотря на дождь, открываются. Мадам Педенон торжествует, как участница этого небывалого происшествия... она возвышается на ступеньках со своим петушиным бантом. Она не отвечает на расспросы и сохраняет таинственный вид. Слава ее разносится далеко по улице Крулебарб. Сумерки постепенно покрывают место событий. Во дворе остается полицейская засада. Жильцы дома возвращаются в этот вечер раньше обычного. Мадам Педенон дает интервью репортеру «Птипаризьен». Да, она давно подозревала странного квартиранта... у нее были догадки... она не может еще ничего определенно сказать, но вряд ли без ее указаний полиция напала бы на некоторые следы. Слава наконец посещает и ее жилище. Все это празднично и необыкновенно... она смотрит туманящимися глазами на карнавал в Венеции. Молодой человек, несомненно из благородной фамилии, делает записи в своем блокноте журналиста. Счастливая и утомленная, она наконец засыпает.

Таинственная дождливая ночь опускается на улицу Крулебарб. Во дворе дома, под поднятым верхом кабриолета, дежурят двое полицейских. Иногда темнота озаряется вспышками их затылков. Ветер позванивает медным бубном цирюльника у ворот. Двор кипит от дождя.

Мсье Ренар утром в кальсонах делает гимнастику. Он держит себя руками за бедра и приседает, выставляя костлявый зад. Денис уже приготовила кофе. Две большие белые чашки ожидают их на столе. Внезапно мсье Ренар прерывает гимнастику. Он присел над полом с руками в бока и слушает крик у вхо-

да. Желтые пятки приподняты над задниками туфель. Минуту спустя в спальню врывается Денис. Ее вид столь необычен и страшен, что у мсье Ренара сразу делается слабость в желудке.

— Что случилось? — произносит он, не имея сил приподняться.

— Он делает еще гимнастику, — кричит Денис, — он может еще делать гимнастику... о! — Она схватывает себя руками за голову и перекатывает ее из стороны в сторону. — Что случилось? Банк прекратил платежи... вот что случилось! Банк Устрика прекратил платежи! Аптекарю только-что сообщили по телефону из Парижа. — Она судорожно начинает сдирать с себя утренний капот. — Я говорила... я говорила — он вербует клиентов, этот мошенник! Я говорила — нельзя доверять частным банкам! — Потом она стаскивает с себя рубашку. — В Париж! — кричит она, наступая на мсье Ренара. — В Париж!

Мсье Ренар, икая от слабости, садится наконец на постель.

— Банк Устрика прекратил платежи, — произносит он, справляясь с икотой, — но ведь это значит... мы разорены.

Денис пронесится мимо него нагишом, как разъяренная буйволица. Ящики вылетают из комода.

— Одевайтесь сейчас же... — кричит она, продирая головой рубаху, — улитка, слизняк!..

Утро опрокинуто в своем обычном порядке. Четверть часа, уютные, уединенные четверть часа, предназначенные для уборной, забыты в катастрофе. Белые чашки для кофе остаются неналитыми. Шнурок башмака лопаается. Мсье Ренар завязывает галстук узлом.

— В Париж! — кричит Денис, наступая на него. — В Париж!

Весть облетает Бельвю. Катастрофа с банком Устрика расширяется до невероятных размеров. Все банки Франции прекращают платежи... те, что не прекратили сегодня, прекратят завтра. Городские ломбарды не выдают залогов. Люди, одетые наспех, осаждают поезд, идущий в Париж. Вынимать вклады, вынимать вклады, пока еще не поздно... пока еще есть возможность уцелеть в этой национальной катастрофе. Лысая голова аптекаря апоплексически розо-

веет. Он держит шляпу в руке, на лысине его, как сельтерская, непрерывно вскипают капельки пота. Его раскрытый рот глотает с усилием воздух. Пенсне мсье Ренара криво висит на его носу. Весь вагон — знакомые и незнакомые — говорят друг с другом. Катастрофа сблизила всех.

— Нам втирают очки, уверяя, что во Франции все благополучно, — говорит владелец писчебумажного магазина. Он стоит во весь свой гигантский рост, держась костлявой рукой за багажную сетку. — Кто пострадает в этой неслыханной игре, которую ведет правительство? Мы уже потеряли однажды... русские бумаги — кто возвратил нам военный заем? Может быть, большевики захотели возместить наши потери?

Его костлявая лопатка угрожающе выпячена. Денис ударяет кулаком в переплет рамы. Мсье Ренар смотрит опасно на жену. На этот раз на капитанский мостик их жизни становится она.

— Вынимайте ваши вклады, — кричит она разъяренно, — вынимайте всё, до последнего су. Пускай правительство подает в отставку. Нам не нужны министры, которые не умеют нас защищать. Грабеж... опять грабеж! — Внезапно она набрасывается на аптекаря. — Это вы советовали держать капитал во французском банке... француз должен быть патриотом! — Рама сотрясается под ударами ее руки. — О, дураки! Патриоты!

Лысина аптекаря начинает лиловеть.

— Мадам, — говорит он, — сейчас не время для ссор. Сейчас мы все — жертвы.

— Я не хочу быть жертвой, — отвечает в ярости Денис. — Я хочу получить назад то, что было мной вложено. Я доберусь до президента республики. Я побью в его дворце стекла, если правительство не умеет защищать своих граждан!

Ее речь воспаляет остальных. Грохот человеческих голосов заглушает грохот вагона. Паровичок свистит, отлистая последние предместья с их мокрыми огородами. Наконец возникает Париж. Вагоны разом разламываются дверьми. Толпа, сдерживаемая до сих пор невозможностью двигаться, несется по

перрону. Никто не думает о бережливости, никто не отрывает билетиков для посадки в трамвай или автобус. Такси уносит мсье Ренара с Денис. Прямая и неподвижная, она занимает три четверти сидения; зонтик в ее руке похож на булаву. Мсье Ренар чувствует, что только сейчас начинается главное. Его опять пощипает икота.

— Перестаньте икать, — говорит Денис, не поворачивая лица, — вы похожи на пьяного.

Он давится слюной, но икота продолжает сотрясать его плечи. Такси сворачивает наконец на улицу Лаффит. Еще издали мсье Ренар видит толпу на углу возле банка. Вопль Денис, заставший его за гимнастикой, впервые обретает неотвратимое правдоподобие. Да, это они, клиенты банка... он узнаёт их — обычные посетители, солидные вкладчики. Владелец колониального магазина... хозяин кафе на улице Одеон... пожилая приятная дама, которая еженедельно приносила аккуратные пачки денег, скотлеты булавками...

— Ренар! — восклицает владелец колониального магазина. — Еще один... Ренар!

Полиция оттесняет толпу от банка.

— Сохраните спокойствие, мсье и медам, — говорит усатый полицейский. — Временные финансовые затруднения всегда возможны.

Денис врывается в толпу, как ледокол. Зонтик ее угрожающе поднят.

— Вы имели сбережения в банке... вы? — кричит она усатому полицейскому. — Хотела бы я видеть, как бы вы запели, если бы у вас были сбережения в банке... у вас их нет, увы!

Полицейский расправляет усы.

— Успокойтесь, мадам, — говорит он величественно. — У меня тоже есть сбережения... может быть, очень скромные...

— А... у него есть сбережения! — Денис размахивает зонтиком над головами. — Сколько вам платит этот мошенник Устрик, чтобы вы его защищали... защищали грабителя?.. — Ее шляпка с'ехала на бок. Денис становится решительной, как водительница толпы. — Выворачивайте камни из мостовой... бейте стекла! — вопит она в ярости. — Мы несем это здание... или немедленно выйдите нам наши вклады!

Толпа одобрительно поддерживает ее. Женщины оттесняют мужчин. Весть о финансовом крахе облетает Париж, как час назад облетела Бельвю. У зданий банков, у банковских агентств выстраиваются очереди вкладчиков. На улице Риволи возле министерства финансов скопляются автомобили. Люди судорожно пересчитывают у банковских касс свои деньги. Потные ошалевшие кассиры остервенело листают бумажки. Голос человека призывает к благоразумию толпу.

— Мсье и медам... нет никаких оснований для паники. Все ваши вклады останутся целы. Вы создаете только затруднения для государства.

Ему кричат из толпы:

— Возвратите сперва наши вклады... потом мы поговорим о государстве.

— Вы позорите Францию! — восклицает человек, выбрасывая руку вперед классическим жестом трибуна.

— Долой агентов банкиров! Они хотят втереть нам очки.

Женщина продирается сквозь толпу. Ридикюль в ее руке похож на боксерскую перчатку.

— Долой агентов банкиров, — кричит она. — Долой правительство, которое допускает грабеж!..

Кассы продолжают судорожно работать. Из хранилищ подвозятся денежные подкрепления. Вкладчики, только что пережившие волнение, запрятывают деньги в карманы, как добычу при деже. Змеи человеческих очередей не уменьшаются у банковских агентств. Толпа продолжает стоять на углу улицы возле банка, ожидая чуда. Железные решетки сдвинуты на широких окнах. Факт краха банка Устрика подтверждается в газетах. Газетчики, пробегающие с кипами свежих газет, застревают в толпе, трепеща листьями, как пойманные голуби. Усатый полицейский трижды пригрозил Денис префектурой. Но он понимает возмущение, он сам — вкладчик... Неподвижное здание банка с железными ставнями похоже на тюрьму. Никто не выворотил камней из мостовой. Времена якобинцев прошли. Мужчины вылиняли и постарели. Денис чувствует, что могла бы стукать их одного о другого плешивыми головами. Мсье Ренар вяло и тупо болтается позади нее, неспособный ни на какие дей-

ствия. Известие сразу придавило его, и в одно стекло кривого пенсне попрежнему смотрится кончик уса. Им овладевает сонливость. Он начинает думать о самых незначительных вещах. В сущности жизнь кончилась. Кончилась неожиданно, в самый расцвет его надежд. Начинать все сначала? Он тупо смотрит на мощный затылок Денис. Теперь, когда он уже разводит шампиньоны в воображаемой вилле и ловил карпиев... толстых, жирных карпиев в пруду. Он приносил их домой, скромный от удачи. Он говорил: «Принес немного свежей рыбки... изжарь ее на обед, малютка!» — Потом он отдыхал, он перелистывал книги, нумеровал редкие экземпляры своей эротической коллекции и писал письма букинстам в Париж... вечером он гулял с Денис по саду, поливал цветы и привязывал их к колышкам. Бурная жизнь лежала позади... теперь были мудрый отдых и время подумать о различных вещах, достойных размышления передового человека. Шампиньоны вызревали в подвале... он помогал Денис иногда считать их тонкую лайковую кожу, нюхая этот крепкий и протяжный грибной запах...

Его затолкали в толпе. Страсти, кипевшие с утра, сменились разочарованием и безнадежностью. Нет, правительство никогда не защищало мелких собственников... крупные капиталисты — вот кто делал политику! Они не держали своих денег во французских банках. Богатство избавляло их от необходимости быть патриотами. Он продолжает болтаться в толпе. Здание банка попрежнему стоит на своем месте. Но оно утратило свой былой вид. Оно похоже на разжалованного командующего... такая же голубая шинель, что и у любого зуава. Только черная с золотом вывеска говорит о величии прошлого. Его начинает подташнивать от тоски и от голода. Впервые пропущено время завтрака — впервые за тридцать лет. Кроме того, дает о себе знать нарушенный порядок жизни... он не успел утром уделить привычные четверть часа уборной. Он начинает оглядываться по сторонам тоскливо и нерешительно. Наконец он решает сказать Денис:

— Четвертый час, малютка... — произносит он. — Время для банковских опе-

раций прошло. Может быть, наберемся сил на завтра?

Он думает еще о том, что следует захватить в бюро, успокоить Розали, которая тоже наверное мечется... впрочем можно и не заезжать в бюро. Его равнодушие ко всему удивляет его самого. Денис поворачивается и смотрит на него грозно и пренебрежительно.

— Вы можете поехать домой, — произносит она тем страшным ледяным голосом, от которого у него всегда слабеет в животе. — Вы уже доказали давно, какой вы мужчина... вы — жалкий импотент.

Мсье Ренар поправляет пенсне.

— Ты можешь назвать меня импотентом... ты? — произносит он, оживляясь.

— Да, я могу назвать тебя жалким импотентом, — отвечает Денис твердо и безжалостно.

Он чувствует, что икота опять подступает к его горлу. Ко всем переживаниям и неприятностям присоединяется обида. Он начинает ненавидеть Денис.

— Я связала свою жизнь с жалким человеком, — продолжает она, не стесняясь, что их могут услышать посторонние. — Я могла выйти замуж за нотариуса из Гренобля... он делал мне предложение. Кого я предпочла... кого? О! — Она ударяет себя рукой по боку. — Я бы давно жила сейчас в собственном доме, а не в грезях о собственном доме... посмотрите на эти окна — вот где ваши грезы!

Он смотрит по направлению ее руки на железные решетки на окнах банка. Она говорит безжалостно, но справедливо. Если бы он решился всего год назад... даже меньше — полгода... он не стоял бы сейчас в этом безнадежном и унижительном ожидании... усатый полицейский не посмел бы призывать его к благоразумию. Денис права, как всегда. Если бы он послушал ее немного тогда, когда...

Дождь ударяет с неба. Зонты раскрываются и мгновенно покрываются лаком. Тяжелая многомильная туча ползает на Париж. Быстро наступают сумерки. Затем зажигаются фонари. Теперь все кончено. Банк Устрика погружается в вечернее безмолвие. Его железные ставни, только вчера казавшиеся дружелюбными сторожами, становятся

изгородью вражеских сил. На этот раз возвращение домой неизбежно. Автобусы проходят переполненными. Наконец удастся втиснуться на площадку. Кожаный жгут поддерживает спину мсье Ренара, чтобы он не опрокинулся назад и не выпал из автобуса. От тесноты и от тряски ему сразу становится нехорошо. Автобус дергается, с воем преодолевает подтемы, люди тискаются на площадке, теснота и тоска безвольно шатают его среди них. Он с трудом принуждает себя устремиться за толпой на вокзал, чтобы не отстать от Денис. Электричество в поезде тускло освещает грязные скамейки и утомленных людей. Потом он вспоминает, что обед дома не приготовлен... последняя надежда меркнет. Теперь он безразлично отдается толчкам поезда. Расстояние увеличено втрое его тоской.

Денис по улице в Бельвю идет впереди молча и угрожающе. Вечер не сулит ничего доброго. Женщины никогда не скажут слова поддержки, у них есть только слова для упреков. Он идет позади и часто мигает от жалости к самому себе. Дом негостеприимно встречает их, — чужой дом, имеющий своего владельца... Мсье Ренар опускает мокрый зонт на пол. Потом он снимает котелок и пальто, которое всю дорогу давило плечи. Пенсне сразу мутнеет. Он протирает его и сажает обратно на нос. Угрожающая тишина наполняет их дом. Он проходит в столовую и садится в кресло у холодного камина. Камин дышит мрачным дыханием ветра, задувающего в него. Мсье Ренар сидит тупо, глядя в его черное жерло. Наконец он говорит вслух в этом траурном доме:

— Может быть, ты что-нибудь разогрешь на обед, малютка?

Холодное безмолвие отвечает ему из спальни. Потом он слышит грохот пружин, на которые всей своей тяжестью ложится Денис. Как, вдобавок ко всему остаться без обеда? Даже ничем не согреть стянутые внутренности? Это больше всего говорит сейчас о катастрофе, рухнувшей на их дом. Он все же принуждает себя подняться. Он бредет к буфету и наклоняется, чтобы шарить в нем хотя бы остатки сыра. Внезапно сладостная икота сотрясает его до кончиков пальцев. Он заглядыв-

ает в открытые дверки буфета; тарелки, наставленные в нем, снимаются с мест и совершают над ним полукруг, их фарфоровый крахмальный блеск нестерпимо ярки. Ноги его легко и послушно уходят в сторону, как ноги конькобежца...

Потом он видит Денис. Он лежит на постели с расстегнутым воротом. Лицо у Денис страшное и запыленное. Он хочет приподнять руку, чтобы погладить ее по щеке, но рука равнодушно и бесстыдно не повинуется его воле. «Может быть, завтра выяснится, что все это — выдумки... банк закрыт по случаю подсчета или других внутренних операций... И, кроме того, я не импотент, малютка... ты же знаешь, что я не импотент! — произносит он, но слышит свой собственный голос: — Бу-бу... бу-бу-бу!»... Голос, как и правая рука, не принадлежат ему больше. Фарфоровые тарелки снова совершают свой полукруг, возвращаясь на прежнее место в буфет. Глаза мсье Ренара открыты. Он слушает свой необыкновенный голос.

Поезд метро проходит под Сенной. Мрачная железная труба тоннеля отражает его грохот. Влага сочится из ее скрепов. Мсье Нивуа, адвокат, поднимается со скамейки, чтобы пересечь на поезд в другом направлении. На этот раз путь его лежит далеко — в Клиши, к бульвару Жореса. Мсье Нивуа готовится к словесному поединку. Собрание посвящено вопросу борьбы с опасностью коммунизма в Европе... республиканцы выставили его в числе трех ораторов партии. Кроме него, будут говорить полковник д'Эшероль и депутат Моринье. Да, он, Нивуа, скажет речь... он разобьет противника логикой, доводами, неопровержимыми доказательствами. Опасность коммунизма — проблема сегодняшнего дня... это чувствуют все передовые люди Европы. К сожалению, как всегда, передовые люди Европы больше всего подвержены сентиментальному гуманизму. Они стоят за кулисами и воображают, что принимают участие в спектакле. Увы, занавес опустится прежде, чем они выйдут на сцену.

Мсье Нивуа отодвигает широкую дверь вагона, проходит один тоннель и опускается ниже, в глубину, ко второй

линии. Поезд заглатывает его минутой спустя и несет дальше. Вагон пустеет понемногу. Улица Москвы, Ля-Пурш, последняя остановка — ворота Клиши. Париж здесь широк, и ветер окраин просторнее может гулять по улицам. Мсье Нивуа открывает зонтик. Мокрый ветер дует сбоку, и улицу Жореса заливают дождем. Несмотря на ненастье, в подъезде, возле которого мокнут афиши, ныряют люди. Вестибюль полон мокрых кепок, отряхиваемых зонтов и табачного дыма. Прикрывая горло рукой от сквозняка, мсье Нивуа протискивается к боковой дверке, предназначенной для посвященных. Тусклый коридорчик ведет к эстраде. Устроитель вечера встречает мсье Нивуа.

— Господин адвокат! — говорит он. — Все уже в сборе.

Мсье Нивуа пожимает теплую невесомую руку устроителя. На устроителе элегантный серый костюм, кроличье ушко белого платочка из карманчика, выбритые щеки и неверные быстрые глаза предпринимателя. Ему тридцать лет, но он уже знаком со всеми знаменитостями, со всеми депутатами, бывшими министрами, писателями и политиками. Он может позвонить к любому по телефону, мгновенно организовать сенсационный вечер, словесный турнир, политическую беседу... Его блестящие черные волосы удачливого человека плотно зачесаны назад. Он ведет мсье Нивуа за собой на эстраду. Все уже в сборе. Полковник д'Эшероль в штатском, со своим сухим горбоносым профилем и шеншиловыми седыми висками; маленький толстый депутат Моринье в куцон пиджачке и жилете, который все лезет вверх, и тогда голубая улыбка рубашки возникает на животе депутата; мсье Ренар узнает и кое-кого из противников. Этот долговязый парень в полосатом джемпере, с длинными беззастенчивыми руками... внезапно мсье Нивуа видит другого депутата — с толстыми обвислыми усами. Эти усы ему знакомы. У мсье Нивуа сразу портится настроение. Противник повидимому тоже подготовил силы... особенно этот — с его обвислыми усами и поперечными морщинами на лбу! Единомышленники приветствуют мсье Нивуа. Присутствие вражеских сил в таком обилии, видимо, тоже смущает

их. Он пожимает сухую старческую руку полковника.

— Добрый вечер, господин полковник, — говорит он. — Как видите, дождь не служит для них препятствием, — он делает кивок в сторону зала.

— Проблема начинает заинтересовывать широкие круги, — отвечает безразлично полковник.

Черный пиджак с красным пятнышком Почетного легиона в петлице нескладно сидит на его кавалерийской фигуре. Депутат Моринье задумчиво сосет карандаш. По временам он делает записи на листках, подставляя под них коленку. Затем он обдергивает жилет и снова сосет карандаш. Устроитель, с одинаковым радушием улыбаясь всем своими неверными глазами, выходит на эстраду. Его упитанный зад обрисовывается, обтянутый пиджаком, в карманах которого устроитель держит руки. Его непринужденность и развязность водворяют тишину в зале.

— Наш сегодняшний вечер, — говорит он, прогуливаясь по эстраде, — посвящен вопросу, который все больше и больше — начинает беспокоить Европу. Этот вопрос — опасность коммунизма, опасность новых идей в Европе. Каждый век приносит свои идеалы и свои увлечения, — продолжает он сентенциозно, — таков и наш век... век борьбы старых и благородных идей гуманизма с новыми идеями демократии, идеями коммунизма. Для лучшего выяснения вопроса мы представим слово представителям двух партий... представителям республиканской партии и представителям коммунистической партии.

Держа руки в карманах пиджака, он глубокомысленно прохаживается по эстраде, как бы додумывая свою мысль. Мсье Нивуа смотрит на его круглый зад. Главное конечно сбор. А какая из партий возьмет верх, это ему решительно безразлично. У него нет идеалов... эти люди свободны от идеалов! — решает мсье Нивуа, подумывая, что республиканцы в их лице представлены не так-то уж сильно... Эта старая мямля — полковник д'Эшероль и депутат Моринье, который страдает органическим дефектом: повидимому полипами в носу, отчего голос его очень скоро приедается и становится

нестерпимым. Очевидно, надежда только на него одного, на Нивуа.

Устроитель между тем додумал свою мысль. Остановившись на ходу, он поднимает голову и продолжает:

— Лучшие представители партий, лучшие люди представлены сегодня здесь. Они помогут нам выяснить, они помогут нам разрешить вопрос, который терзает каждого человека, живущего социальными интересами. — Он вынимает наконец руку из кармана и проводит ею по волосам жестом, помогающим мысли найти свое выражение. — Следующий вечер будет посвящен перелету наших летчиков через океан в Америку. Мы постараемся выяснить, действительно ли наши летчики получили миллион франков от газеты... или это клевета на наших героев. Сейчас же мы предоставим слово выдающемуся представителю республиканской партии полковнику д'Эшеролю.

Несколько жидких хлопков приветствуют выступление полковника. Он выходит вперед на эстраду и начинает речь. Его старческий голос и однообразие жестов постепенно наводят скуку.

— Господа, — восклицает полковник своим склеротическим голосом, — неужели среди вас, собравшихся здесь, найдется хотя бы один, который не понимал бы к какой пропасти толкают коммунисты Европу!

— Республиканцы и демократы толкают Европу к пропасти, — отвечает из зала голос.

На углах пепельных скульптур полковника появляются красные треугольники. Выкрики из зала перебили его речь. Она утрачивает первоначальную плавность. Он начинает оглядываться чаще, чем это следовало бы. Его призыв подкреплен только чувствами. Толпа ожидает логики. Мсье Нивуа ерзает на стуле.

— Эти военные... — говорит он наконец депутату, — они хороши только на поле сражения!

Призывы полковника успеха не имели. Два-три слишком громких и поэтому оскорбительных хлопка приветствовали его патетическое заключение. Депутат Моринье, уже не обдергивая жилета, с сияющей голубой улыбкой на животе стремительно направляется к

авансцене. Он становится впереди и упирается в доски эстрады своими жирными кривыми ногами, образующими эллипсис.

— Мсье и медам, — говорит он, держа у близоруких глаз листки со своими записями. — Мы только-что выслушали предыдущего оратора, нашего уважаемого господина полковника д'Эшероля. Его словами руководило чувство... да, чувство патриота, национальное чувство истинного сына Франции. Это была речь эмоции... вы воздаем ей должное, но попробуем перейти к фактам.

На этот раз понадобилось значительно больше времени, прежде чем близоруки ми глазами он смог прочесть свою первую записку. Депутат начинает речь о кризисе идей вообще в начале XX века, о мировой войне, явившейся логическим завершением тех идеалов, которыми жила Европа в начале века.

Его гнусавая речь действует усыпительно. Большое количество носовых звуков вызывает неудобство в гортанях и дыхательных путях публики. Все начинают вдруг сморкаться и кашлять. Гриппозный и насморчный приступ обрушивается на зал. Эллипсис кривых ног депутата давно изменил форму. Мсье Нивуа вытирает потный лоб. Следующим вероятно будет говорить кто-нибудь из противников. Если это будет долговязый парень в полосатом джемпере, это еще ничего... но если это будет второй депутат, он сможет завоевать расположение зала после этих двух неудачников. Депутат Моринье безнадежным голосом приводит цифры статистики. На Европу идет покушение... покушение политическое и покушение экономическое. Советы заваливают международные рынки дешевыми товарами... их нефть вытесняет заслуженные мировые концерны... прибивочная стоимость рабочей силы у них отсутствует... для них работают рабы. Они воскресили эпоху древнего Рима. Европа слишком благоденствует... она ищет корень мирового кризиса совсем не там, где его нужно искать!

На этот раз депутат рассыпает листки. Он начинает близоруко искать их на эстраде. Пользуясь передышкой, зал охотно подвергает себя новому приступу простуды. Позади откровенно говорят

друг с другом, как будто здесь не происходит собрание. Депутат наконец кончает речь.

— Вы потеряли листок, господин депутат, — кричат ему из зала вместо возгласов одобрения.

Он возвращается к столу, прижав к груди свой веер статистики. На этот раз происходит то, чего мсье Нивуа опасался. Устроитель выходит на авансцену.

— Теперь мы предоставим слово представителю другой партии, — говорит он с той же ничего не обозначающей улыбкой человека, которому безразличны убеждения. — Слово предоставляется депутату Карно.

Как вспугнутый птичник, зал подлетает аплодисментами.

— Bravo, Карно! — кричат в зале. — Скажи им, Карно!

Депутат, наклонив свой упрямый лоб, выходит на авансцену. Теперь он виден весь со своими мешками под зоркими немолодыми глазами и большим ртом, по бокам которого свисают усы. Он коренаст и упрям упрямством нормандца. После оживления, прошедшего по залу, его так же быстро застигает тишина. В задних рядах происходит движение; застрявшие в дверях стараются втиснуться внутрь. Голос депутата поставлен привычным дыханием оратора. Мсье Нивуа судорожно достает из кармана коробочку с эвкалиптовыми лепешками и кидает лепешку в рот. Речь депутата, лишённая патетики, вталкивает понятия с методической силой.

— Я буду говорить о стране, существование которой давно уже расстраивает привычные ходы европейской игры, — говорит депутат. — В течение ряда лет Европа пыталась убедить себя, что эта страна существует только в ее воображении. Сегодня сны становятся действительностью. Спящим необходимо проснуться, чтобы не проспать историю. Экономический крах, которого они ожидали, не произошел. Успехи этой страны начинают беспокоить Европу. В чем же эти успехи и в чем действительная угроза Европе? — Голос депутата крепнет и приобретает неумолимость. Мсье Нивуа смотрит с тоской на его широкий затылок. — Эти успехи в том, что в тысячу девятьсот тридцатом году они произвели хлебных злаков в двенадцать

раз больше, чем произвела их Франция! — восклицает депутат.

Мсье Нивуа быстро пишет на листке своих записей: «Какой ценой?»

Депутат продолжает:

— Экспорт ее нефти привел к снижению наполовину мировых цен на нефть.

Мсье Нивуа пишет: «Труд рабов. Принудительная система. Демпинг».

Депутат говорит дальше:

— Они могут продавать товары по ценам более низким, потому что у них нет капиталистической прибыли!

Из зала аплодируют. Мсье Нивуа пишет: «Однако расплата происходит деньгами. Принудительный труд маскирует растущую безработицу. Оплата по пониженным ставкам».

Речь депутата построена на системе. Почему успехи страны встречают не только бешеную ненависть в определенных кругах Европы, но даже свободомыслящие пацифисты помышляют о ее военном разгроме? — Он начинает приводить факты этих военных и политических замыслов. Мсье Нивуа не устает писать возражения. Его блокнот исписывается с двух сторон. Как и следовало ожидать, после тех двух неспособных болтунов депутату нетрудно завладеть вниманием зала... большей его половины — во всяком случае. Мсье Нивуа посылает полковнику д'Эшеролю взгляд, лишенный сочувствия. Эти военные болтуны, которые годятся только для участия в парадах! Доводы депутата развертываются в политическую речь. Знакомая неумержимость оратора придает убедительность его деловому голосу.

— Кто подготавливает войну? В чьих интересах попытаться сбросить со счетов полтораasta миллионов человечества, которые впервые в истории становятся независимыми? Не проходит дня, не проходит часа, чтобы страна не осмеивалась, не оскорблялась, не подвергалась угрозам! — По временам депутат поворачивается и обращается к тем, кто сидит на эстраде. Он пытается создать впечатление, что особенно виноваты они, сидящие здесь. Это трибуна, а не скамья подсудимых в конце концов.

— Обращайтесь к публике! — восклицает мсье Нивуа.

— Вы тоже публика, — отвечает депутат.

Зал поддерживает его выкриками. Полковник д'Эшероль оттягивает пальцем крахмальный воротничок.

— Это — демагогия! — произносит он яростно.

— Их привычный прием! — отзывается мсье Нивуа. — Посмотрим, что он запоет, когда я раскрою карты закулисной игры коммунистов...

Полчаса, предоставленные для речи, проходят. Устроитель пытается выйти на эстраду. Из зала кричат: «Пускай продолжает речь!» «Браво, Карно!» «Говорите дальше, Карно!»

— Я скоро кончаю, — отвечает депутат. — Я нарисовал вам картину, изображающую современное состояние Европы. Судите сами, кто прав: этот прогнивший мир дипломатов и демократов, которые, будучи пацифистами, не прочь подвергнуть военному разгрому страну, или эта молодая страна, которая расширяет старые устои Европы? Спор решит история. Ее завтрашний день. Но мы — не зрители, мы — участники этой истории. Мы протягиваем руку для совместной борьбы тем, кто обновляет понятия для дряхлого человечества!

Грохот обрушивается вслед за его речью. Мсье Нивуа с яростью смотрит на потный лоб депутата. Они набили зал своими молодцами... как всегда, действуют организованно, снимают свой урожай повсюду, где это только возможно. Устроитель дает утихнуть гулу. Он смотрит на депутата поощрительно, как на гвоздь сегодняшней программы.

— Следующее слово, — произносит он довольным голосом, — предоставляется представителю партии республиканцев, господину адвокату Нивуа.

Одинокий оскорбительный свист развертывается вдруг над залом, как лента серпантина.

— Довольно болтовни! — кричат сзади. — Скажите что-нибудь поновее, господин адвокат.

Мсье Нивуа багровеет. Его рыжие кудри, зачесанные вокруг лысины, приходят в движение; он собирает в складки кожу на лбу — признак негодования и иронии.

— Я отношу ваш свист и ваши возгласы к предыдущему оратору, — произносит он наконец. — Он заслужил их по праву.

Новые свистки и новые возгласы. Мсье Нивуа с привычной терпеливостью оратора выжидает.

— Что мы слышали в этой демагогической речи? — произносит он снова. — Дешевую брань по адресу Европы и защиту рабства и лжи... да, рабства и лжи! — восклицает он окрепнувшим голосом. — Вся Россия давно превращена в старую римскую галеру, на которой работают невольники и рабы.

На этот раз свистки и возгласы долго не дают ему возможности продолжить речь. Он тщетно поднимает руку. «Долой адвокатов!», «Долой болтунов!» — кричат из зала. Устроитель торопится ему на помощь. Мсье Нивуа пробует продолжить свою речь.

— Я начну с вопроса о демпинге. Демпинг, это — система, построенная, с одной стороны, на том, чтобы подорвать экономический строй Европы и покоящаяся, с другой, на рабском труде, на принуждении...

Зал постепенно начинает походить на фойе. Между рядов прогуливаются люди, все говорят друг с другом и курят, толпящиеся позади прерывают его речь насмешками и возгласами. Им шикают первые верные ряды единомышленников. Постепенно мсье Нивуа убеждается, что речь его слушают не дальше пятого ряда. Он повышает голос, но голос — привычный голос оратора — от табачного дыма или от подхваченной по дороге простуды начинает внезапно садиться. В нем появляются угрожающие трещинки. Мсье Нивуа наливает из графина воды. Его подготовленная речь оказывается смятой. Уверенность оратора впервые покидает его. Он вытирает лоб. Равнодушие зала становится угрожающим. Он начинает понемногу обращаться только к первым рядам. Его широкий воротник совершенно обмякнул от пота. Речь его тянется вяло, иронические возражения не получают отклика; полчаса, предоставленные ему, проходят. Никто не требует, чтобы он продолжил время. Последняя величественная фраза речи заглушена кашлем в зале. Самое оскорбительное, что речь его

не вызывала больше ни свистков, ни возгласов. Его просто не слушали. Сухая безрадостная плескотня в первых рядах. Устроитель объявляет перерыв. Вторая половина вечера посвящена выступлениям последних ораторов и желающих из публики. Несколько молодых, вероятно рабочие, взбираются на эстраду. Они совещаются с долговязым парнем в полосатом джемпере. Голос мсье Нивуа садится окончательно. Он тщетно кидает одну за другой эвкалиптовые лепешки в рот. В его рту становится мерзко, как если бы он наелся сосновой коры. Устроитель со своими блестящими волосами приводит его на этот раз в бешенство.

— Вы нагнали полную залу коммунистов, — кричит ему мсье Нивуа.

Устроитель пожимает плечами. Его неверные глаза привычно лгут.

— Никто не может гарантировать успеха, господин адвокат, — произносит он, вытягивая за белое ушко платочек. — Столкновение идей... ничего не поделаешь. Новые идеи имеют больше сторонников. Об этом можно сожалеть, но это — история!

Антракт не приносит ничего утешительного. Выступления желающих из публики становятся организованными. Сторонники, если они и есть, не решаются говорить при таком настроении зала. Долговязый субъект в полосатом джемпере смотрит на адвоката ироническим взглядом. К тому же повидимому начинается грипп. Жар и перхоть в горле. От эвкалиптовых лепешек начинает тошнить. Полковник д'Эшероль пытается сохранить свое петушиное высокомерие. К сожалению, республиканцы не имели успеха... это печально, но это так. Неужели устроитель прав? Адвокату хочется уйти домой. Так — тихо и незаметно, узким коридорчиком, подняв воротник, чтобы не узнали, — и раствориться в ночи. Но это невозможно. Колокольчик устроителя прерывает его гриппозные мечтания. Мсье Нивуа возвращает себя с тоской на эстраду. Конечно все происходит именно так, как он предполагал. Ораторы громят республиканцев и демократов... ошибка была согласиться на устройство диспута в столь отдаленном районе... конечно рабочие фабрик, к тому же нашигованные коммунистами. Полковник д'Эшероль пы-

тается отвечать. Его склерозная патетика звучит бессильно и вдобавок бездарно... в этом надо сознаться. Гнусавый голос депутата Моринье берedit носоглотку и без того пораженную простудой. Когда окончится этот бесплодный вечер? Победа коммунистов. Да, к сожалению... — Неверные глаза устроителя глядят на него, как на сыгранную карту. — Столкновение идей... ничего не поделаешь!

Вечер кончается возгласами и успехом ораторов, поощряемых молодым в полосатом джемпере. О республиканцах забыли. Им остается поднять воротники и дожидаться, пока схлынет толпа.

— Я подозреваю, — говорит полковник д'Эшероль, — что устроитель кое-что от них получил... При его взглядах это весьма возможно.

Зал постепенно пустеет. Мсье Нивуа выбирает минутку, и долгожданный коридор простирается наконец перед ним. Вестибюль уже пуст. Последние посетители направляются к выходу. Он поднимает воротник и выходит из подезда. Ненужные мокрые афиши и черная хлещащая мгла Парижа. Ветер налетает с дождем. Грипп пробирается в суставы ног и рук. Столкновение идей... может быть, закат идей? Мы живем в переломное время эпохи. Наши фетровые шляпы станут через десятилетие старомодными, как высокие цилиндры времен революции. Пятьдесят два года, это — начало карьеры для адвоката, для политического деятеля, для оратора... но эпоха перемешала привычные счеты. Скольких друзей и современников проводил он за эти годы!

Жизнь, мокрый Париж, возвращение домой последним поездом метро кажутся мсье Нивуа безрадостными. Его впервые посещает меланхолия. На самом деле, стоит ли так держаться брлых убеждений, если завтра его может обогнать эпоха? Предпочесть ей этого гнусавого Моринье или полковника д'Эшероля с его фарфоровыми зубами? — Он начинает завидовать депутату Карно. Тот правильно разглядел современность. Его будет сопровождать успех... кто знает, может, он в конце концов станет и министром. Кабинеты не прочны, любая политическая ошибка сваливает их в один день. Состояние умов в Европе

шатко и неопределенно. Но если он даже изменит взгляды... кто поверит в то, что он искренне переменял убеждения... кто? — Последний поезд метро несет и раскачивает, словно ведомый безумным машинистом. Бетонные стены тоннелей грохочут. Провода на них похожи на смертные жгуты. Ему становится нехорошо. Его голова раскачивается, сны возникают и тухнут. Опять стены, грохот и провода. Наконец подплывает нужная станция. Хорошо бы качаться дальше в этом несущемся поезде. Но нужно выходить, одолевая слабыми ногами лестницу и продолжать путь. Мсье Нивуа покидает вагон. Ноги вяло отсчитывают ступени. Опять сырость и небо. Он направляется к дому, но по дороге садится на мокрую скамейку бульвара. Испарина покрывает его спину. Дождь выстукивает по раскрытому зонту. Посидев, он движется дальше. Он приносит домой, на третий этаж, грипп и разочарование жизнью.

— Я очень болен, — говорит он, ложась на диван. — Кроме того... это решено... я выхожу из республиканской партии. Я не знаю еще, куда я примкну впоследствии... но сейчас я хочу быть свободным. Свободным!..

На этом сон, прерванный в вагоне метро, завертывает его в себя, как одеяло.

Человек шагает сквозь улицы. Он поднимается на мосты с их фонарями, раздутыми туманом, как флюсом, его длинные неутомимые ноги измеряют Париж. Черное масло дождя кипит на камнях. Из дансинга человеческим голосом бормочет по временам саксофон. Негритянка стоит на углу. Модная шляпка обтягивает непристойно ее узкую голову. Еще час пути. Ноги человека в худых башмаках промокли. Его туберкулезный рот по-рыбьему ловит воздух. Улица Ламарка возникает наконец, заматаемая дождем, как метлою. Человек ускоряет шаг. Внезапно он останавливается. Он стоит пораженный и смотрит на угловое кафе, над которым сияла обычно электрическая надпись. Кафе закрыто. Это ясно — оно закрыто. В его черных окнах нет света. Улица Ламарка меняет свои привычные очертания. Полицейский на углу поворачивается и смотрит на остановившегося прохожего. Прохо-

жий движется дальше. Он не решается перейти улицу поближе к окнам кафе, впервые неосвещенным. Его походка становится вялой. Он идет по другой стороне, заходит в бистро и медленно стряхивает с себя дождь, как мокрая собака. Проточная вода, в которой ополаскиваются стаканы и рюмки, журчит на стойке. Рука буфетчика с татуировкой синего якоря повертывает металлический крантик. Меховая опушка пены спускается через края. Человек выпивает залпом полкружки пива. Его мутное лицо отстаивается. Он садится на стул возле стойки.

— Кафе Мозули закрыто, — произносит он равнодушно. — Можно подумать, что весь Париж вылетел в трубу в одну ночь. Что произошло с Мозули?

На этот раз буфетчик облокачивается обоими локтями на стойку.

— Надо полагать, что на этот раз Мозули кончил свою карьеру, — отвечает он возвышенно. — Префектуре надоело терпеть его притон... в нем показывали орудия пыток — они оказались ветеринарными инструментами, а цепи, которыми приковывали аристократов, — старыми цепями с набережной Сены. Мозули будут судить за мошенничество. Кроме того, эта девка, которая изображала мегеру... она натворила дел — эта девка.

— Что она натворила? — спрашивает посетитель незаинтересованно.

— Когда в подвал явилась полиция, чтобы проверить документы у посетителей, она толкнула лампу, которая висела над эстрадой... старую корабельную лампу с керосином. У девки был друг... вероятно с хорошим прошлым. Она полагала повидимому, что он сумеет ускользнуть в суматохе.

Человек держит кружку у рта.

— И ему удалось ускользнуть? — произносит он минуту спустя.

— Ну, нет. Полиция оказалась предусмотрительной. Несмотря на то, что керосин вылился и девка получила ожоги...

— Она получила ожоги? — спрашивает человек.

— Да, она получила ожоги... ее тряпки загорелись, как масляные.

Человек запрокидывает голову. Его

жесткий кадык ходит от жадных глотков.

— Теперь рюмку аперо, — говорит он, глядя на буфетчика как бы запотевшими глазами.

Буфетчик снимает с полки бутылку и расквашивает пробку. Верматовое тепло согревает иссохнувший пищевод. Человек ставит рюмку на стойку.

— Что же стало с ней, с этой девкой? — произносит он затем.

— Ее отвезли в госпиталь Андрала. Все-таки, что ни говори, а французская женщина умеет любить! — добавляет буфетчик философически.

Он меняет бумажку и выкидывает франки на стойку.

— Добрый вечер, мсье.

— Добрый вечер.

Тепло быстро с его газовыми рожками остается позади. Кафе Мозулè темно и безглазо, как после пожарища. Человек медленно проходит мимо него по другой стороне. Умберто Бенкò выстрелил в себя, когда к нему явилась полиция... эти итальянские анархисты — они могут взорвать половину мира и предпочитают умереть, нежели сдать. Сесиль... она толкнула горящую лампу, чтобы спасти в суматохе Эмиля. Париж! — Человек стоит на углу и смотрит на черепичные крыши, на трубы, на дымы, на тысячи дымов этого города, который создан для любования и гибели...

Потом дождь и туман, ползущие вдоль улицы Ламарка, поглощают его.

Мужчины с узелками стоят у ворот госпиталя Андрала. Поезда Восточной дороги пересекают канал Сент-Дени и набережную Фландрского моста. Они идут на восток, в горные кряжи Эльзаса. Посетителей впускают в больницу в одиннадцать часов. Длинные коридоры с их сложными запахами эфира и иодформа встречают их.

— Мне нужна больная Сесиль Бланзи... я ее брат, — говорит человек.

Туберкулезные глаза смотрят на сестру в накрахмаленном белом тюрбане. Его крахмальные лопасти похожи на экраны.

— Сесиль Бланзи, — повторяет она, — вы ее брат?

— Да, я ее брат.

Сестра оглядывает человека.

— Я могу разрешить вам свидание не больше пяти минут, — говорит она затем.

Человек, скрипя по натертому полу своими разбитыми башмаками, следует за ней. Палаты белы и переполнены надеждами и страданиями. Наконец он подходит к постели. Сестра оставляет его. Он может сесть на белую крашеную табуретку. Это — Сесиль. Ее голова закутана бинтами до глаз. В узеньком белом ущелье видны только зубы ее открытого рта. Мелкие белые матовые зубы.

— Сесиль, — говорит человек.

Веки закрытых глаз вздрагивают. Их ресницы дрожат, как крылья бабочки, готовой сняться.

— Сесиль, — повторяет человек. — Это я, Пеллетье...

Теперь глаза раскрываются. Они смотрят на человека. Вопрошающее отчаяние плывет из них.

— Все отлично, Сесиль, — говорит Пеллетье. — Одно только плохо, чтобы себя так обожгла. Шарлю удалось скрыться. Ему помог бежать итальянец... Умберто Бенкò. Ты знаешь Умберто Бенкò? Теперь все дело в том, чтобы ты поскорее поправилась.

Губы женщины пытаются заговорить. Пеллетье наклоняется над белым шаром ее головы.

— Не говори ничего. Тебе нельзя говорить. Я повторяю: все дело сейчас за тобой. Вчера вечером Шарль покинул Париж. В Марселе у нас больше друзей.

Отчаяние отплывает из глаз. Потом они закрываются. Их ресницы становятся мокрыми. Приходит сестра и смотрит на часы.

— Пять минут прошло, мсье, — говорит она недружелюбно.

— До свиданья, Сесиль!

Пеллетье наклоняется и смотрит на маленький рот с белыми счастливыми зубами. Башмаки скрипят по натертому полу коридора. Мокрые черепицы крыши за его окнами. Париж причаливает сюда с тяжелыми барками человеческих страданий. Коридоры кончаются. Из раскрытых дверей дышит сырость. Пеллетье выходит на улицу. Он проходит бульвар Макдональда до канала Сент-Дени. Мутная темная вода пузырится под дождем. Поезд взлетает на мост и грохо-

чет железом. Полоса горького дыма, придавленная сыростью, остается висеть. Пеллетье поднимается на пешеходный мост и смотрит на воду. Она не отражает ничего и течет преисподней Парижа. Париж изрыт кротовыми ходами. В них проходят реки и стоки, трубы, кабели и подземные поезда. Оно источено ими — древнее тело Лютеции. Бомба в чемодане Умберто Бенкò не взорвалась... Шарль Эмиль долго не увидит Марселя... но он жив — Пеллетье. Он дышит, он движется, он смотрит на воду. Неизвестные солдаты образуют армию. Мы еще пройдем по твоим высокомерным улицам, Париж!..

Он отрывает наконец руки от железных перил моста, вдавившихся в них, и покидает окраину, чтобы снова своими длинными неутомимыми ногами измерять площади, бульвары и рынки.

Дождь переходит в ливень. Над Восточным вокзалом с его мокрой закопченной крышей лежит низкое деловое небо осени. Сырость просторов дышит с путей. Их черные разветвления теряются в тумане и ливне. Полтора десятка людей несут чемоданы. Это жалкие дешевые чемоданы, лишённые цветистых наклеек путешественников. Десяток полицейских и агентов сопровождают их. Курт Фосс шагает рядом с человеком в котелке. Человек кутает горло в шарф. Его широкое красное лицо грубо украшено бровями. У человека дрянная служба. Надо до вечера трястись в жестком, скучном вагоне, чтобы затем так же трястись всю ночь обратным путем. Ему надлежит сопровождать до границы людей, чтобы выкинуть их за пределы Франции. Занятие скучное и недоходное. Люди лезут со всего света в Париж. По временам префектура принимается за чистку и перетряхивает его, как перину. Богатство и благополучие Франции туманят головы бездельникам и безработным всех стран. Посмотрим, посмотрим. Не слишком ли рано вы залезли на чужой корабль? Вот сходи. Спускайтесь на берег. Корабль отойдет без вас.

— Залезайте сюда, в этот вагон, — говорит полицейский агент.

Люди берутся за мокрые поручни и лезут один за другим на ступеньки. Ва-

гон пуст. Никто не едет в этот ранний час на восток. У людей озябшие лица и небритые подбородки. Они занимают четыре отделения в вагоне и сразу наполняют их разговором и табачным дымом. Курту Фоссу и агенту не остается места. Они занимают вдвоем пустое соседнее отделение. Агент садится на скамейку напротив. Он расстегивает пальто и хлопает себя по карманам.

— Нет ли у вас табаку? — спрашивает он затем. — Я забыл свой табак дома.

Он набивает трубочку. В конце концов даже среди этих бродяг встречаются приличные люди.

— Зачем вы общались с коммунистами? — произносит он, умиротворенный первой затяжкой. — Посмотрите на них как следует... эти господа никому еще не принесли пользы!

Мальчишка везет по перрону тележку с бутылками минеральной воды. От одного их вида в желудке возникает тоска. Агент дымит табаком.

— На что вы рассчитывали? — продолжает он далее рассудительно. — На слабость полиции? Слава богу, полиция во Франции еще достаточно сильна... я бы сказал — могущественна. Она все видит и все знает. Всё! На многое, правда, она смотрит сквозь пальцы... но на то мы и самый свободный народ в мире, чтобы позволять себе то, что не доступно другим нациям.

Высокий столб, поддерживающий крышу перрона, медленно отодвигается назад. Под полом начинается чугунная возня. Поезд отходит с Восточного вокзала. Крыша перрона остается позади и обнажает небо. Оно льет дождь. Люди сидят нахохлившись, курят и дремлют: это немцы, поляки и чехи... Стрелки переходов швыряют вагон. Мокрые кирпичные срезы домов с изломами кладки, означающими дымоходы, вывески, железнодорожные службы. Агент устраивается в углу поудобнее.

— Теперь мне приходится сопровождать вас до границы, чтобы вы раз навсегда покинули Францию, — продолжает он рассудительно. — Согласитесь сами, это — неприятность для вас и для меня также... я не смогу сегодня позавтракать во-время и измотаюсь в пути. А при разумном поведении всего

этого могло бы и не быть. Да, с Францией вам придется проститься надолго...

Вагон начинает рвать и раскачивать. Черепичные кровли домов, улицы окраины, возникающие вдруг во всю длину со своими мокрыми продольными камнями; рекламы; потом — огороды, потом — поля... Курт Фосс стоит у окна. Он смотрит назад, на закругленые пути, на котором виден еще хвост поезда и за которым — со всеми своими дымами, теснинами домов, кровлями, трубами заводов — остался Париж. Агент дымит и начинает подремывать. Стук и качка поезда умеряют его красноречие.

— В сущности, если отказаться от некоторых удобств, в поезде можно отлично отдохнуть, — произносит он задумчиво. Его ноги в грубых башмаках вытянуты на скамейке. — Отлично отдохнуть и даже помечтать... например о хорошенькой соседке. — Ритмическая качка поезда тревожит его воображение. Минуту спустя его рот открывается для первого легкого всхрапывания. Он спит чутким полицейским сном, готовый проснуться от любого движения. Поезд прошивает Францию. Осенние разливы рек заливают наводнением поля. Из воды торчат верхушки лесов. На мокрых станциях подсаживаются редкие пассажиры. Эперне, потом темная многоводная Марна, разлившаяся от дождей. Поезд строчит дальше. Мост грохочет, как противень, на котором перетряхивают каштаны. В Париже на всех углах уже дымят жаровни с каштанами. По стеклу окна стежками прошивается дождь. Курт Фосс смотрит в стеганное мокрое окно. За Францией, за Эльзасом — Германия. Его возвращают на родину, как отставшего солдата в свою часть. Работа! Кто приготовит ее для него? Ее нет. Агент всхрапывает. В его раскрытом рту лежит толстый нечистый язык. Мецц подходит покатыми мокрыми крышами. Поезд вдвигается в сумрак перрона. Агент сбрасывает ноги со скамьи.

— Мецц! — говорит он удовлетворенно.

Он достает сверток и разворачивает газету. Его желтые зубы вгрызаются в бутерброт. Крошки сыплются ему на живот. Огромная длинная булка исчезает постепенно в его рту.

— Разве вам не дали на дорогу де-

нег? — говорит он с набитым ртом. — Ваши товарищи могли бы о вас позаботиться. Хотя, по правде сказать, ваши товарищи умеют только болтать на митингах и устраивать беспорядки. Кто предложит вам работу в Германии? Германия переживает кризис. У нее без вас предостаточно безработных... все это оттого конечно, что Германия не хочет платить аккуратно долгов.

Он доедает бутерброд и достает из бумаги новую булку. Потом он вытаскивает зубами пробку из бутылки. Он запрокидывает голову и пьет. Дешевое красное вино льется в его горло.

— Не плохо, — произносит он наконец, оторвавшись, и вытирает усы. — И вы всего этого лишены... почему? Каждый человек, который уважает порядок в государстве, имеет это.

Он снова ест и снова пьет. Наконец он насытился. Он затыкает пробкой бутылку с остатком вина и откидывается на спинку скамейки.

— Теперь хорошо покурить. К сожалению, я забыл свой табак дома.

Он набивает трубку и курит. Сумерки постепенно начинают оглаживать мокрые окна. За Меццом приходит Бенниген. Агент щелкает крышкой часов.

— Через час граница, — говорит он умиротворенно. — Здесь мы расстанемся.

По сторонам идут угольные шахты в горах, подвесные дороги с их ползущими вагонетками. Свинцовые долины лежат под ними. Агент располагается на скамейке, вытянув ноги. Курт Фосс продолжает смотреть в окно. В соседнем купе поют песню: это четыре словака, которых высылают из Франции. Тучи, набухшие ливнем, движутся следом за поездом. Наконец далеко возникают огни.

— Мы под'езжаем, — говорит агент благодушно. — Форбах.

Стрелки начинают выстукивать. Он засовывает бутылку с остатком вина в карман и надевает котелок.

— Повидимому вы симпатичный малый, — добавляет он, — но вы попали в плохое общество. Может быть, все это послужит для вас уроком.

За окном начинают проскакивать дома, потом станционные службы. Поезд приходит в Форбах.

— Мы еще вернемся во Францию, — говорит вдруг Курт Фосс.

Агент, собравшийся покинуть отделение, останавливается в дверях.

— Ну, я полагаю, на это мало надежд.... по крайней мере в ближайшее время.

Курт Фосс смотрит на рыжие брови агента и на его мигающие тупые ресницы.

— Рабочие Парижа помогут нам вернуться во Францию, — добавляет он.

На этот раз лицо агента теряет свое благодушие. Это — дерзость и вызов. Он даже багровеет от ярости.

— Министерство знает, кого оно удаляет из Франции... Таких проходимцев, как вы, следовало бы вообще не впускать!..

Он полон негодования и задвигает с грохотом дверь. Сальная газета «Котидьен», в которую были завернуты его бутерброды, остается лежать на скамейке. Минуту спустя его красное широкое лицо возникает по другую сторону окна. Он стоит на перроне и смотрит на преступника. Агенты сопровождавшие остальных, стоят поодаль, в таких же котелках и с такими же шарфами через шею, словно это их форма. Паро-

воз дает гудок. Перрон Форбаха начинает двигаться вправо. Агент идет вслед за вагоном. Он разгневан и неумолим. Он не делает приветственного жеста на прощание. Он не обязан внимать гаерским шуткам преступника. Он охраняет границу государства. Дойдя до конца перрона, он пропускает мимо себя весь поезд и облегченно поправляет котелок. Курт Фосс открывает окно. Холодный северный ветер ударяет ему в лицо. Угольные кряжи Саара затянуты дождем. Работу! Люди стоят у окон и смотрят на вагонетки, на трубы, на дымящийся шлак. — Работу! Кондуктор проходит по коридору. Его фуражка по-прусски приподнята сзади.

— Ваш билет! — говорит он и щелкает машинкой билет.

У кондуктора шрам между бровей. Это — война. Курт Фосс сидит на скамейке. Его грубые башмаки тяжело подкованы. Дождь, пронесившийся сетями, переходит в ливень. Он застилает долины и шахты. Потом каменноугольные дымы Саарбрюкена безрадостно возвещают о возвращении на родину.

Февраль. 1931.

Дид Днипро

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Там, где рвется сизый ситец
О гранит и известняк,
Где сквозь пену Ненасытец
Кажет каменный костяк,

Где отроги Прикарпатъя
На клыки, как тур или вепрь,
Сдвинув острые об'ятья,
Подымает белый Днепр, —

Степь оскалила утесы,
Небо высушило синь,
Опоясала откосы
Рельс текучая полынь.

Седоусый и чубатый,
Прорываясь сквозь века,
Дид Днипро, казак заклятый,
Шпорой пробует бока,

Вздыбив сивую кобылу,
Нагибаясь к стременам,
В лук крутой сгибает силу,
Пляшет саблей по камням.

Но, и фыркая, и роя
Закипающий сугроб,
Конь в бетоны Днепростроя
Упирает черный лоб,

И крутое половецье
Пухнет злобою, пока
Ищет со слепу поводья
Ослабелая рука.

А вверху — сплетенье кранов,
Вагонеток разнобой,
Крутобедрых котлованов
Грохот, скрежет, лязг и вой.

И, как черный триумфатор,
Там, где чмокает земля,
Жрет камня экскаватор,
Челюстями шевели,

Да, вытягивая спину,
Длиннорук и крепкосшит,
Кран выносит на плотину
Развороченный гранит.

Не гордись своим корытом,
Запорожец, Дид Днипро,
Не дивись, что динамитом
Рвем мы дряхлое нутро, —

Чуя близкую могилу
Понесешь ты — рад не рад —
Всех веков седую силу
На Днепровский комбинат;

В разозленном пленном смехе
В провода вольешь до дна
Ветер сабельной потехи,
Топот песни, гул вина,

Чтоб, как чуб твой — сизый иней —
И седин колючий луч,
Стал советский алюминий
Тонок, звонок и летуч.

Чтоб, как некогда в булатном
Вихре сечи, ветре струн,
На полу в рельсопрокатном,
Извиваясь, полз чугун,

Чтоб по шлюзам злые воды
На скользоте крутизны
Подымали пароходы
От Херсона до Десны.

Чтоб в лугах по Заднепровью,
Вспарывая целину,
Ты поил своею кровью
Всю червонную страну!

Будем жить, все выше строя,
Песней Хортицу стеречь —
И о корни Днепростроя
Разобьется вражья сечь!

Армия в пути

(Куски поэмы)

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

1

Армия шла по долинам Брабанта, —
Армия аркебузирова и лучников,
Рослых копейщиков, рваных драбантов,
Тоших ландскнехтов, ханжей и обжор.

Армия гулко рыгала в харчевнях,
Пылко читала воззвания герцогов,
Домыслы риториков, списки плачевных
Жертв и плачевных трофеев обзор.

Сколько смертей, нечистот и лохмотьев,
Скотской ботвы и расклеванной падали,
Стертых подошв и чесоток в дремоте,
Ноющих спин и слезящихся век!

Жарко на мордах и на алебардах
Рыжее солнце играло. И молодость
Крепла от грязи, мохнатой, как бархат,
Жесткой, как сбруя, налипшей навек.

Сыграла им зорю труба. И с небес
Прокаркала дико ворона.
И шли они с криком:
— Да здравствует Гез!
— Да сгинет чужая корона!

И бились, как черти, за каждую пядь
Брабантского вольного графства.
— Да здравствует Гез!
И опять, и опять:
— Да здравствует Гез! и да здрав-
ству...

...Но, чорт возьми, я тут, в котле со-
бытий,
Где смерть решает быть или не быть
ей,
Где варится похлебка из дерьма,

«Новый мир», № 7

Тщеславия и страха, где тюрьма
Уже не каменная кладка зданья,
А целый мир, — будь ты овца иль волк,
Достаточно попасться в мирозданье,
Ногой в капкан, — и родился, — и щелк!

Бежать. Бежать. Бежать. Пока не поздно.

Бежать, пока не схвачен, не опознан,
Не заклеимен, как злостный дезертир,
Оравой этих пакостных задир.

Играют в кости. Спорят. Ругань. Рвота.
Кусок селедки ржавой. Жбан с вином.
Светаёт. Этот ужас для кого-то
Покажется историей и сном.
Пусть! Для меня он больше сна и мень-

ше
Истории. Плач пограничных женщин.
Мрак сеновалов. Запах нечистот.
Усталость потных лошадей. А тот
Усач ландскнехт с багровым шрамом...

2

Но прежде чем дневник продолжить,
Я, автор, должен объяснить
Свое намеренье. Я должен
Вплести сюда другую нить, —
Необходимый комментарий,
Условность иль сюжетный ход, —
Но персонаж я свой состарю:
Он — неудачник, Дон Кихот,
Гость в этой армии. Искатель
Ненужной истины. Он трезв.
Пятно вина марает скатерть.
Все отказало наотрез
Ему в сочувствии. Все сбито,
Размыто, смято, сметено.
Марает мир уродство быта,

Как это винное пятно.
Война в разгаре. Как он робок,
Как необщителен! Над ним
Дух крепкой ругани и пробок
Раскупоренных будто нимб.

И в этом воздухе неясно
Обозначаясь, чуть сквозя,
Он бурей века опоясан.

И втерся к чудаку в друзья
Усач ландскнехт с багровым шрамом
(Хороший малый, но дурак)
— Отстань!
— Стой! Отвечай мне прямо!
(И по столу стаканом бряк)
— Эй, малый! Может, ты лазутчик?
Не отпирайся! Я пойму...

И скука этих глаз ползучих
Всесильней кажется ему.

Хорошая ночь. И попойка лихая.
И пламя в полнеба стоит польхая.

И песней, и паклей, и порохом пахнет.
И памяти в пьяных уже черепях нет.

И вдруг — как бабахнет!
И ухает эхо.
И в чьем-то камзоле дымится прореха.

И падает наземь, проклятья хрипя,
Бескостное тело, как ворох тряпья.

Товарищ! Гордился ты шрамом багровым,
Усами ландскнехта, любовью стряпух.
Зачем же ты, рекрутом в ад завербован,
Лежишь на полу, посинел и распух?

Какого ты чорта со сволочью спорил?
Какого ты чорта со сволочью пил?

Светает. Человек коня прищпорил.
Кордон повстанцев сам же торопил
Его, — и, не дочтя бумаг, дал пропуск.
Летят навстречу мельницы, мосты,
Харчевни и развалины. И пропасть
Меж ним и прошлым. И глаза чисты.
В мозгу несутся свежевымытые
Отчетливые мысли. Без конца
Он повторяет: вы, — мы, — ты, — я, —
За всех людей от своего лица.
Еще двенадцать лье — он за границей.

Еще двенадцать вот таких столбов —
И никаких улик не сохранится.
Светает...

Он чувствовал, что
Все, что было сегодня,
Свинцом залито,
Сожжено в преисподней.

И дальше летел он.
И глубже дышал,
Как будто бы с телом
Прощалась душа.

Вот кинулись в очи в снедающем дыме:
Порты Адриатики, снасти фелук,
И синее пойло воды с молодыми,
Высокими чувствами долгих разлук.

По скошенному горизонту хлестало
Дождем и снегом. Время летело.
Пока на Альпах едва светало,
Неслось по Фландрии хилое тело.

И конская грива истлела, Как вдруг —
Ров. Кончено. Кончено.

3

Светало. Светало. Светало.
Но все еще не рассвело.
Чего-то во сне нехватало.
Иль плечи ознобом свело?

Сначала харчевня кренилась.
И головы были, как жбаны.
И девки в подоткнутых юбках
Прошлепали мимо пропойц.
Икнув, он внезапно проснулся.
Взял шляпу, пощупал свой пояс.
Ссаднило коленку, и сухо
И вязко горело во рту.

Стрелял он в кого-то? Но что за
Бессмыслица! Клюв разодрал,
Петух закричал маэстозо:
— Да здравствуют Гезы, да здрав...

Вторым проснулся, — совершенно цел,
Здоров, как бык, — ландскнехт с багровым шрамом.

Но наш герой соображал упрямо,
Как будто проверяя тот прицел.
Стрелял. В того. Вчера. Зачем? но чорт
с ним...

Но он бежал. Еще сейчас в ушах
Свист ветра. (Память меркнет, что ни шаг.)

Нет! Утром жизнь должна быть хлебом
 черствым
 И трезвою водой. Жизнь и на пядь
 Не сдвинута. Поспали, пошумели, —
 И кончено. Всему виной похмелье.
 Проснись, мечтатель! Дважды два не
 пять.

И вот опять плетется он по грязи.
 И вот опять дорога. Вот опять
 Канав и изгородей безобразье.
 Не спотыкайся. Дважды два не пять.

А там, в харчевне «Золотой лисицы»,
 Где столько фляг и кружек на столе,—
 Как бы к таким вещам ни относиться,—
 Он — призрак, опоздавший на сто лет.

Он — призрак? Ха! Придуманно не пло-
 хо!

Плащ, кожа, память, мускулы, костяк
 Не за себя — так за свою эпоху,
 Не за нее, — так за чужую мстят.

4

В Остендэ — бой. И в Генте — бой.
 И в Сент-Омере — схватка.
 Не время нянчиться с тобой,
 Хоть это и не сладко.

Во все горло раздутое дую и дую,
 Что пора полюбить мне страну моло-
 дую.
 Не тускнеет, не ржавеет трубная медь,
 И никто не посмеет мешать мне шуметь.

Святые спят в ковчехах рак.
 Монахи нежат пуза.
 Все, кто не трус и не дурак,
 Готовьте аркебузы!

И раздутое горло, как зоб соловьиный,
 Задыхается трелью над свежей доли-
 ной.

Но дыхания хватит ему, чтоб гора
 Отвечала: Да здравствуют Гезы! Пора!

Я не тупой монах и не испанский ры-
 царь,
 Не шлюха, не торгаш. Есть у меня
 Брабант,
 Вот почему я тут. И некуда мне
 скрыться
 От этой участи, от этих рваных банд.
 Пора. Пора. Пора. Смотреть на вещи
 прямо.

Довольно снов и чувств, и песен,
 и вранья.

Бей зорю барабан.

А тот с багровым шрамом —
 Сын своего отца и века, как и я.

Ты—армия в пути.

Ты—молодость чужая.

Тебя не обойти,

Форпосты об'езжая.

Не бойся за меня!
 Я стал твоею частью,
 И ветер заменял
 Мне мать, и дом, и счастье.

Иду, как все они,
 С твоей походкой вровень.
 Огнем в лицо дохни,
 Узнай меня по крови,

По рваному плащу,
 По облику худому.
 Не я в тебе гощу, —
 А ты во мне—как дома.

Повороты

Главы из 2-ой части романа

(Продолжение¹)

А. ЯКОВЛЕВ

XXIV. В клетке

Вокруг дома наскоро поставили два забора, чтобы толпа с улицы не плялила глаза в окна и чтобы царь-арестант не мог сговориться со своими приверженцами. А приверженцев в городе уже теперь было много. В толпе, что собиралась перед домом Ипатьева в первые дни по приезде, часто мелькали лощеные лица переодетых офицеров, упитанные лица бар, попов, монахов и монахинь, иногда к дому подходили группы офицеров академии генерального штаба, расквартированной в Екатеринбурге. И бывало много чиновников, живших ныне не у дел. В их сдержанных движениях, осторожных разговорах с уха на ухо, вполголоса, в их воровских озирах (как озирались они вокруг — не слушает ли кто?) Старостину чудились заговоры.

Пока строили второй забор (на это потребовалось три дня), Старостин не спал ночи, попеременно дежурил с комендантом Андреевым, тем самым, что приехал с царем из Тобольска, по нескольку раз обходил посты, и оба, сидя в комендантской комнате, наверху, рядом с комнатами, где жили узники, поминутно прислушивались, что делается в городе, на улице и в комнатах заключенных. Часовые двумя цепями стояли вокруг дома. На балконе маячил пулемет, тупым рылом посматривая в улицу, под балконом виднелся другой пулемет, — всё на случай нападения. В двухэтажном доме напротив жила охрана — шестьдесят пять человек, — рабочие

ткацкой фабрики Злоказовых и Сысертского завода. Старостин сам набирал их, ему казалось, он набрал таких, на кого можно положиться, как на себя. Он настоял: в первый же день устроили собрание охраны только для того, чтобы поговорить «как следует». На собрание приехал сам Белопухов, сказал речь, и Андреев сказал речь о долге, ответственности, о том, что вся Россия теперь смотрит на этот дом, где живут заключенные. Старостину обе речи не понравились: туман! Хмурый, внутренне раздраженный, он сказал сердито:

— Вы вот что, ребята, долг там долгом, это само собой, а вообще помните, за царя ответите своей головой... то есть, если он убежит. Сколько столетий цари нас угнетали, и теперь для них пришел час расплаты. Николай стрелял в нас. Сколько убил! И вот довел Россию до войны, два миллиона убитых, четыре миллиона инвалидов. Это как? Простить? Никогда народ этого не простит. Суд будет верный, всенародный. И мы должны довести царя до суда. И мы доведем. Не выпустим. Поглядел я эти дни: сколько подозрительного народа вокруг дома ходит. И вообще теперь в город ползет разное офицерье, буржуи, пытаются вырвать его из наших рук. Стерегите строго. Своими головами ответите. Ни с кем знакомства не ведите, а то враги скоро вас на удочку поймают.

— Ну да, мы без тебя знаем, — недовольно загадела охрана. — Кому говорить? Аль мы не такие же рабочие, как ты?

— Я знаю, что такие же. Потому вас и позвали охранять. А все ж сказать надо. Вот вы плялите глаза на них, будто

¹ См. «Новый мир», кн. 6 с. г.

картина какая заморская, аж у иного рот раззявится. Недопустимо так. Гляди, царь заговорит с вами, вы перед ним залезбите.

— Ну, ну, ну, — недовольно заворчала охрана.

— То-то, разговаривать не можете. Замечу, строго взыщу. Вплоть до увольнения.

Забор построился высокий — в три человеческих роста, столбы стояли в нем плотным частоколом, дом закрылся по верхние наличники окон, только видна была крыша с двумя трубами, с парапетом, двумя слуховыми окнами по бокам, с карнизом, — нарядный дом сразу превратился по виду в тюрьму. Старостин издала обошел дом, не видно ли чего от куда. Ниоткуда ничего! Он вплотную подошел к забору, прошел его весь и по каждому столбу ударил кулаком, как кувалдой, испытывая, не свалится ли какой, не закачается ли. Андреев, наблюдавший от ворот, засмеялся:

— Ты даже столбам не доверяешь?

— А что ты думаешь? И столбы могут выдать.

— Не бойся, птички не улетят.

— Не улетят, если мы с тобой не упустим.

— А как ты думаешь? Гулять-то их ныне пустить можно? Надо бы.

— Теперь можно. Выпускай. Я сейчас усилию охрану, а ты предупреди... их (Он с трудом сказал это слово: «их»). Да смотри, не больше двадцати минут.

Цепь часовых растянулась по улице вдоль забора, и другая цепь — по двору и по саду. Старостин сам развел часовых по постам. Он ждал: выйдут все трое — царь, царица, царевна. Опясаный наганом, он встал у калитки, что вела в сад со двора. Минут пять никого не было, над всем двором нависло напряженное ожидание, и перед внутренними глазами Старостина сразу встала картина: он стоит перед воротами царского парка, напряженно стережет: вот залаяла собака, показалась на дорожке, из-за кустов вышел молодой царь... Да, царь вышел, в гимнастерке, в фуражке защитного цвета, в высоких сапогах, похожий на старого бородатого солдата, — в полку, где служил Старостин, был вот такой кашевар сверхсрочной службы Миронов: в бороде седина, под глазами большие мешки, и все лицо обрюзгшее,

как бывают лица у давних пьяниц. С ним шла царевна в белой кофточке и в черной юбке. Голова ее была непокрыта, пышные волосы связаны узлом на затылке. Перед калиткой она сказала молодод, бодро, весело:

— Какое глубокое небо!

Царь уже знакомым бубукающим голосом ответил:

— Да, весна сказывается.

Переступив порог калитки, царь быстро, пристально глянул в лицо Старостина, будто ждал, что ему отдадут честь, как прежде отдавали ему честь миллионы народа. Старостин стоял внешне безучастный, хмурый, с опущенными руками. Но под быстрым взглядом царя он весь напрягся. Царь прошел грузным, четким солдатским шагом. Царевна неслышно прошла за ним, легкая, ловкая в движениях. Она вольно посмотрела в лицо Старостина большими светлосерыми, очень красивыми глазами.

— Смотри, папа, яблони скоро распустятся, — сказал громко она.

Они — двое — быстро пошли по дорожкам мимо часовых. Теперь они шли рядом, в ногу, — царь по-солдатски твердо, царевна — легко и весело. Они осматривали яблони, на которых вот-вот должен развернуться цвет, останавливались перед молодыми кедрами:

— У нас в Царском такие же кедров были. Ты помнишь, папа? У пруда.

Они обошли сад три раза. Старостин со своего места от калитки смотрел за ними, слушал их разговор. Царевна наклонилась, что-то рассматривала в траве. Царь подошел к часовому, бубукнул:

— Давно на службе?

Часовой — черноватый хмурый парень-злоказовец — торопливо оглянулся, будто хотел узнать, не смотрит ли кто в этот миг на него, и, заметив пристальный взгляд Старостина, сказал сурово:

— Проходите, господин Романов, проходите. Гуляйте себе, раз дозволено.

Старостин широким шагом направился к царю. От озлобления, которое вдруг вспыхнуло в нем с невероятной силой, у него поднялись на затылке волосы. И, чувствуя, что царь теперь в его руках, что настал миг какой-то местности, он сказал громко, срывающимся от волнения голосом:

— Господин Романов, разговаривать с часовыми нельзя. Вы знаете сами. Им запрещено отвечать.

И было у него такое чувство, что, скажи царь хоть одно слово против, он начал бы кричать, ругаться, может быть, выхватил бы револьвер. Царь молча, медлительным жестом приложил руку к фуражке, пошел мимо. Царевна посмотрела на Старостина строго, торопливо подошла к отцу, будто хотела защитить его, заговорила звонко, точно ничего не случилось сейчас. «Ишь, собаки дрессированные!» — злобно подумал Старостин, удивленный тем, что ему ничего не возразили. Он бы... он на их месте обругался бы обязательно, а там будь что будет.

С этого дня жизнь в ипатьевском доме вошла в колею, по-тюремному наладилась, у Старостина осталась только одна забота: не упустить. Пристальными, изучающими глазами он смогел теперь на арестованных. Он просто предался тому острому любопытству, за которое он же так сердито ругал других товарищей из охраны. Прежде царь и царица для него были нечто бесконечно далекое, как небо, простому смертному недоступное. В молодости они ему казались богами (тут и военная служба и первые годы на заводе), потом, после девятого января и после казни Филиппа, они стали казаться теми страшными чудовищами, у которых, как в сказке, пышет изо рта злое пламя, попадающее людей («И делают же беду цари народу!»). Но всегда они были далеки, загадочны, таинственны. А теперь вот они, смотри. Царь был похож на ротного кашевара сверхсрочной службы Миронова. И сидит на у него в бороде тоже, как у Миронова. И солдатский ремень с простой пряжкой. Заговори с ним, он будет отвечать охотно. Старостин смотрел на него сверху вниз, потому что царь ростом был ему только по плечо. И, невольно поддаваясь тому застарелому чувству злобы к царю, что копилось долгие годы, он рассматривал его острым звериным, пронзающим взглядом. «Такое маленькое и такое злое... царь!»

Через полчаса царь и царица ушли с прогулки, Старостин снял с постов лишних часовых, подошел к Андрееву и, скупно улыбаясь, сказал:

— Гляжу я на него... такое маленькое и такое злое.

Андреев рассмеялся:

— А ты думал, что? Богатырь трехсаженный?

Они медленно пошли из сада во двор, со двора в дом, по широкой лестнице во второй этаж, в комендантскую комнату.

— Чудно как-то! Видал я его прежде, а вот не заметил, что он такой... не рослый.

— Издали всё большим кажется, а вблизи — пустяки. Положим он такой маленький перед тобой, столбиной. Ты на свою мерку не мерь.

— Почему же царица не гуляла?

— Больна. Ныне и из спальни не вышла. Все будто плачет. Я сам видал, как она из баночки соль нюхала. И доктор Боткин всегда возле нее.

— А, плачет. О чем же?

— Детей жалко. О сыне беспокоится. Он больной в Тобольске остался.

Старостин помолчал, потом сказал раздельно, раздумчиво:

— Гм... плачет. Так и они могут плакать? Чудно! Чего же тогда она наши слезы не понимала? Филиппа когда казнили, четверо детей осталось, — телеграмму посылали, чтоб не вешали отца.

— Плачет о своем. Нешто о нас кто заплачет?

Они вошли в комендантскую комнату, просторную, в два окна, оклеенную серыми дорогими обоями. В углу стояли две кровати. Большой электрический звонок и щит с высканивающими номерками постов нелепо торчали над входной дверью, — они были прикреплены здесь только вчера, и еще не слились со стеной. На большом столе стоял голубой эмалированный чайник, три голубые кружки, сальная тарелка с недоеденной котлетой... Андреев швырнул фуражку на стол. В дверь постучали. Оба крикнули: «Можно!» Неслышно вошел, будто прокрался, бритый старик с лицом, изрезанным глубокими морщинами.

— Господин комендант... — начал он медлительно.

— Теперь господ нет, — живо откликнулся Андреев, — есть граждане.

— Гражданин комендант, скажите, пожалуйста, будет ли нам отпущено столовое белье?

— Что именно?

— Ну, скатерти там, салфетки. Мы своего ничего не привезли из Тобольска.

— Вам ведь вероятно много надо?

— Хотя бы три скатерти и две дюжины салфеток.

— А без скатерти нельзя обойтись?

— Неудобно. Сами понимаете, очень неудобно. Всю жизнь они привыкли на скатертях и с салфетками.

— Все-таки придется обойтись. У нас нет скатертей.

— Это... окончательно?

— Да, это окончательно.

Старик выше поднял голову, величественно повернулся, вышел. Андреев, улыбаясь, посмотрел на Старостина.

— Видал? Вот где величественность-то. Царь куда проще, чем этот холуй.

— Кто такой?

— Камердинер Чемодуров. Будто тридцать лет за царем ухаживает. И надоедливый же! Каждый день по десяти раз приходит.

— А ты его в тюрьму отправь, чтобы не очень лез.

— Придется. Вот еще доктор Боткин. Лисица! Вежливый, мягкий, так и лезет без мыла. Хочет выведать, что будет с царем.

— И его можно в тюрьму.

— Его не отправишь. Он, как верная собака, возле царицы неотступно.

— Ага. Неотступно? Так и запишем. Пойдем что ли? Осмотреть надо.

Они повернулись к двери. Но прежде чем отворить ее, оба поправили на себе пояса, одернулись. Старостин пригладил рукой бороду.

— Ишь ты, будто к параду готовимся, — усмехнулся Андреев.

Старостин посмотрел на него удивленно, сразу понял, засмеялся, махнул рукой. Они прошли через большую переднюю с чуелом бурого медведя, заглянули в боковую комнату, где возле двери в уборную и ванную комнату стоял часовой с винтовкой. Здесь царицына горничная что-то стирала в тазу, поставленном на табуретке. Она мельком сердито глянула на вошедших. Андреев неловко потолкался у самой двери и, ничего не говоря, повернул назад. Старостин за ним. Через широкий коридор они прошли в большой зал, разделенный аркой пополам. Здесь, на взгляд Старостина, все было очень богато. Большая люстра, закомуристая мягкая мебель, большие картины на стенах, много живых цветов и большая острелистая пальма в зеленой деревянной кадке. Одно

окно было открыто, глядело в новый забор. У открытого окна в креслах сидели царь и царица Мария с книгами в руках. А за аркой стоял доктор Боткин — толстый, с выхоленными усами, в пенсне. Все трое, оторвавшись от книг, молча смотрели на Андреева и Старостина, пока они, оглядев залу, не повернули назад к двери. У двери их встретил лакей Трупп и, неслышно ступая, пошел за ними.

— А где бывшая царица? — спросил Старостин лакея.

— У себя, то-есть в спальне. Они больны.

Лакей провожал их всюду, — вплоть до кухни, где повар Харитонов возился у плиты.

Так четыре раза в сутки Андреев и Старостин молча обходили весь дом.

Днями в доме еще шевелилась какая-то жизнь: по огромным комнатам бродили тихие люди—доктор, лакей, камердинер, горничная, иногда размеренным солдатским шагом проходил сам царь или, легко постукивая каблучками, шла царица. Ночью же всё тяжело, чисто потюремному замирало. Только шаги часовых, сменявшихся через каждые четыре часа, нарушали каменную тишину. Иногда под окнами запевал от скуки часовой и, вспомнив наказ не петь на посту, быстро обрывал песню. Иногда раздавался кашель из сада, вздох из дальней комнаты — и опять тихо, тихо. Огромный дом молчал, как гроб.

С рассветом в саду и на дворе начинали возиться воробьи, галки, грачи. Большое солнце неторопливо вставало из-за гор. Май стоял теплый, безоблачный, рассветы сини. В том году мало дымили трубы фабрик и заводов, небо глядело прозрачное, глубокое, дали ясны, вечера зелены. Природа обещала покой и беззлобие.

Ипатьевский дом жил будто так же, как растет вот эта береза под окном в зеленый безветренный вечер.

XXV. Все вместе

Днями Старостин уходил домой в Верх-Исетск, в исполком, в совет, в Чека. И, выйдя из ворот, он будто сразу попадал полой в зубья громадной машины, которая неудержимо тянула его: хочешь не хочешь, тащишься за ней. Так

шумно и волнующе было все кругом после тишины ипатьевского дома. Дутовские казачьи банды, разбитые зимой, опять забушевали там и здесь. На Сибирской дороге забуянили чехи, по Сибири и Приуралью зашевелились бандитские шайки, — не разобрать было, кто они. Екатеринбург, как столица Урала, постепенно опоясывался пожарами восстаний. В городе ходили нелепые слухи. Говорили например, что стотысячная армия монархистов поспешно идет освобождать царя, что немцы объединились с чехами и тоже идут царю на выручку.

Старостин не был дома уже полторы недели. Марина сурово заворчала, едва он успел переступить порог:

— Еще не совсем забыл дорогу-то домой? Что ж это ты? Забыть бы пора. Вона сколько дней прошло, ни разу и не вспомнил, как живет жена, как сын.

— Будет! — небывало резко оборвал ее Старостин. — Не бубни.

Марина растерянно посмотрела на него:

— Ты что? Какая муха тебя укусила?

— Не говори глупостей. Тут голова от дум вспухла, а ты чорт-те что говоришь. Собирай поесть. Да мне сменить-ся надо, — ишь, рубаха-то черней земли.

Он быстро переоделся, сел за стол, где Марина уже успела поставить блюдо со щами.

— Про тебя тут говоют... будто ты главный над царем. И злобятся которые. Вчера я иду по улице, а какая-то баба указывает на меня господину какому-то и говорит: «Вот муж этой царя-то караулит». Ну, думаю, замечают. Ежели в обрат пойдет дело, ни тебе, ни мне не сдобровать.

— Ничего, сдобруем, — бодро сказал Старостин, принимаясь за еду.

Пока он ел, Марина металась от печки к столу, присаживалась только на минуту, но успела задать мужу множество бесполовых вопросов:

— Когда кончится-то это? Революция-то? Ни днем, ни ночью нет покоя. Гляди, на базаре никакой еды не продают. Правда что ли, будто у царицы платья золотые? Чего они едят? Неужто катлеты? Ай, батюшка! А у нас нивесть что говорят, — будто с ними вагон печатных пряников пришел и вагон меду.

— А Гришка-то в красную гвардию

хочет записаться. Все мальчишки теперь записываются. Ты бы к себе его взял, всё на глазах будет, а так уйдет куда, убьют его и не узнаем. И-и, хизнул-то ты как? Аль больно плохо кормишься?! А еще начальник. Когда она наступит, сладкая-то жизнь? Царь-то поди не молодой уж? Что вы с ним хотите сделать? Судить? Вот теперь будет дело...

В совете, в исполкоме, в Чека кипело-горело, все были заняты выше маковки, говорили отрывисто:

— А, царь! Чорт бы его... накачался не во-время на нашу шею.

— Полезла сюда офицерня. Того и гляди устроят бучу.

— Великих князей привезли, живут в гостинице, шатаются по городу. Вчера буржуи устраивали им вечеринку у адвоката Галлионова. Пили за здоровье императора.

— Пусть выпьют, на похмелье глядишь поплачут.

— Откуда вы всё знаете?

— Ну, достаточно денежкой брякнуть, найдется тысяча охотников сообщать, что только мы хотим. От нас ни один их шаг не ускользает.

— Все-таки с судом надо спешить. Чехи эти... они наделают нам хлопот.

— Спешим, в Москву поехал Горлов за инструкциями.

— Вы держите там ухо остро. Мы на тебя, Старостин, только и надеемся.

— О нас не беспокойтесь. Умрем, а не отдадим. Вы-то спешите.

— Скоро привезут из Тобольска и остальных. Детей то-есть.

— Их-то привезут или не привезут, нам не важно. Они нам не нужны. Судить будем не их, а Николая.

— Эк ты рассуждаешь. Перед судом должны все быть.

— Ну-ну, не говори зря. Зачем детей на суд?

И будто подстегнутый этими разговорами, настороженный Старостин возвращался в ипатьевский дом — в тишину, томление, размеренность. Он зорко наблюдал за охраной. Он по многу раз в сутки ходил в маленький домик, что через дорогу напротив, узнать, чем заняты товарищи из охраны. Всё это были рабочие, привыкшие работать изо всех сил по десять часов в сутки. Теперь, томясь от физического безделья, они скущали. Они много спали, кое-что читали,

лениво разговаривали. В город их отпускали редко, и это добровольное заключение всех явно томило. В первую неделю двое напились пьяными, Старостин посадил их под арест в баню, что была в саду маленького домика. И после, когда те протрезвели, он долго срашил их:

— Вы теперь на историческом, можно сказать, посту и вдруг пьяные. Стыдитесь!

Он пригрозил уволить, если еще раз заметит их пьяными.

И днем и вечерами перед ипатьевским домом появлялись подозрительные люди, — их легко можно было узнать по франтовской одежде. Монашенки начали приносить подавание заключенным: пироги, бутылки с молоком, горшки с маслом, целые корзины яиц, булки. Случалось, что обильными подаваниями бывал заставлен весь стол в комендантской. Андреев и Старостин осматривали каждый кусок пирога, каждую пробку бутылки и порой находили записки самого странного содержания:

«Милость господня приблизилась».

«Ни один волос не падет с головы государя, ибо господь не допустит».

«Мужество и вера».

«Верное сердце не спит дни и ночи».

— Эх-ма! Сколько еще рабов-то на свете, — вздыхал Андреев, читая записки.

...Май доходил необычно ясный и жаркий в этом году. Как-то вечером в ипатьевский дом из исполкома позвонил Белоухов.

— Ныне ночью приедут дети. Встретьте.

Андреев поехал на вокзал. Старостин остался один в комендантской, он усилил караулы, два раза обошел все посты, он с некоторым удивлением увидел, что никто из узников в эту ночь не ложится спать. Поезд должен был притти на рассвете, — именно так подгоняли, чтобы снова у вокзала не собралась толпа и чтобы переезд по городу был обставлен как можно незаметней. В три часа ночи со станции позвонили по телефону: «Поезд подходит». Старостин ответил сердито: «Ладно, ждем». Приезд детей ему был неприятен: вот теперь может случиться, что белогвардейцы попытаются напасть на ипатьевский дом, чтобы освободить сразу всю семью.

Как знать, что кроется за этими дикими записками, что в таком изобилии присылаются на имя царя и царицы? Председатель Чека, которому пересылаются все эти записки, уверяет, что он всё теперь держит в своих руках. Может быть, он и держит, но удержит ли?

Старостин подошел к окну. Небо над дальними горами сияло золотом. В городе под горой горланили петухи. По двору ходили двое часовых, — шаги их звонко чеканились в тишине. Вдруг позади раздался стук. То стучали в дверь — вежливо, очень осторожно.

— Войдите! — крикнул Старостин, удивленный и чуть встревоженный («Кто там мог быть?»), и на всякий случай поправил револьвер.

Но никто не входил. Стук повторился, такой же вежливый.

— Войдите же! — громче крикнул Старостин и нетерпеливо направился к двери. «Опять этот старый чорт Чемодуров» — раздраженно подумал он, берясь за дверную ручку. У двери стояла сама царица. Старостин от неожиданности сделал шаг назад. Лицо царицы постоянно напоминало ему голову хищной птицы, — этот тонкий, выгнутый нос, большие холодные, гордые глаза, маленький властный рот... Весь прошедший месяц царица ни с кем из охраны не сказала ни слова. Даже старалась не смотреть ни на кого, так явно она всех ненавидела. Замкнувшись в своей сатанинской или царской гордости и в своей величественности, она будто не замечала ничего окружающего или не хотела замечать. И вся охрана, оскорбленная и возмущенная этим бьющим по лицу презрением, в свою очередь ненавидела ее. А теперь вот она сама у двери... стучала.

— Извините! — сказала она металлическим, не по-русски жестким голосом. — И скажите, пожалуйста, поезд уже пришел?

У нее было необычное лицо: явное волнение глядело ее глазами.

— Да, пришел, — с невольной холодностью, враждебно ответил Старостин, как будто он теперь был царь, а она его нерадивая слуга.

— И дети сейчас будут?

— Сейчас будут.

Она важно, чуть-чуть наклонила голову, и углы ее губ слегка покривились в улыбке.

— Благодарю вас.

Она своей обычной гордой походкой пошла от двери. Старостин шагнул в коридор и смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью спальни. «Ишь ты, что значит свое-то. Не постеснялась, сама пришла узнать».

В комнатах заговорили. В коридор вышел царь, поспешно прошел в двери комнаты дочери, постучал, что-то сказал бубукающим, неразборчивым голосом. Тотчас появилась царевна Мария, в капотике, с полотенцем через плечо, с мыльницей в руках поспешно прошла в ванную комнату. Горничная Демидова бегом пронесла фарфоровый ночной горшок по коридору в уборную. Старостин, увидав горшок, смущенно отступил в комендантскую. Из окна уже лился дневной свет, и можно было потушить лампу. На улице зацокали подковы множества лошадей, звонок над дверью резко зазвонил, на щитке выскочил номер первый, что обозначал пост у парадного крыльца и главных ворот. Старостин стремительно пошел к воротам. Уходя, он слышал, как позади громко заговорили голоса.

На улице вдоль нового забора стояло множество извозчиков. На пролетках сидели молодые девицы и старые барыни в шляпах, мужчины в черных котелках, генералы и офицеры в серых пальто без погонов. За ними на десяти извозчиках — чемоданы, чемоданы всех размеров. Конные красnogвардейцы в пиджаках, в рубашках и гимнастерках плотной цепью окружали извозчиков. Лошади, возбужденные быстрым бегом на гору, храпели, не стояли на месте. К воротам, где стоял Старостин, подошел Андреев и с ним четыре товарища из исполкома и Чека. Андреев сказал:

— Куда нам такую толпу? По-моему, всех, кроме детей, отправить прямо в тюрьму.

— Сколько же их? — спросил Старостин.

— Только свитских и прислуги двадцать семь.

— А-а, — удивленно протянул Старостин (слово «свитских» напомнило ему гвардейские времена и почему-то сразу взволновало и обозлило), — конечно в тюрьму. Столько негде поместить.

— Пойдите вы, — вмешался товарищ из исполкома (его имени Старостин не

знал), — вы сначала введите их в помещение, а потом будете разбирать, кого в тюрьму, кого оставить. Здесь неудобно.

— Ну, вы разбирайте этих, а я поведу детей наверх, — сказал Старостин и пошел к переднему экипажу.

Возле экипажа стояли царевны, все три, в серых летних пальто. В экипаже сидел четырнадцатилетний большеглазый мальчик в военной фуражке с большими полями. Он держал на руках черную собаку. Это был царевич, Старостин сразу узнал его по портретам. Он очень серьезно, будто испуганно, осматривал забор, такой неказистый, с неровным верхом, осматривал ворота, людей и все кругом.

— Можно входить! — отрывисто сказал Старостин.

Большой усатый человек, стоявший рядом с экипажем, поднял царевича на руки, понес. Собака, выпрыгнувшая из экипажа, побежала возле его ног. Царевич наклонился, чтобы увидеть, где собака, крикнул срывающимся мальчишским голосом.

— Джой! Джой! Не отставай.

Царевны одна за другой пошли за ними. Они несли в руках крошечные чемоданчики, а у одной, средней, была в переплете руки крошечная лохматая собачонка с оскаленными зубами. И все другие было двинулись за ними, но Андреев встал на их пути, поднял вверх правую руку, сказал повелительно:

— А вы подождите.

Старостин зашагал вслед за царевнами. «Даже собак привезли!» — сердито отметил он про себя. Все молча и быстро прошли через ворота, парадную дверь, где стояли часовые, и стали подниматься по лестнице. На верхней площадке ждали царь, царица, царевна Мария. Еще снизу, от начала лестницы, царевич крикнул:

— Мама! Мама!

Царица сверху протянула руки ему навстречу, и по лицу ее катились слезы. Все заговорили, засмеялись, заплакали, слились в одну, пеструю, говорливую толпу. Джой громко залаял. Старостин стоял на лестнице, смотрел вбок, вниз, — ему не хотелось и стыдно было смотреть, как эти ненавистные ему люди плачут. Возбужденно и громко разговаривая, все наконец двинулись во внутрен-

ние комнаты. Снизу молчаливые люди начали вносить сундуки и чемоданы.

Два дня потом в доме стоял ералаш: переставляли вещи с места на место, распаковывали сундуки и чемоданы, развешивали всюду иконы; — икон было очень много, два сундука, — хлопотали так, будто поселились здесь надолго, навсегда. Все были оживлены, веселы, по виду беззаботны. Ни у кого не вырвалось ни одного слова протеста или просто недовольства даже в ту минуту, когда им объявили, что всех свитских и лишнюю прислугу удалят, — кого в тюрьму, кого прочь из города. Еще неделю тому назад на совещании в исполкоме было постановлено: в ипатьевском доме установить действительно тюремный режим. И теперь с семьей оставались только доктор, лакей, повар, горничная и еще мальчик Леня Седнев — поваренок и товарищ по играм царевича Алексея. Все другие ушли покорно и молча, — кто в тюрьму, кто на высылку. Только камердинер Чемодуров, когда ему приказали уходить с конвойными, неожиданно низко поклонился Андрееву и Старостину, попросил:

— Прошу милости, разрешите остаться. Тридцать лет служил я моему государю.

Андреев холодно ответил:

— Вот поэтому-то мы и отправляем вас в тюрьму.

И эта молчаливая покорность опять удивила Старостина, он бы... хоть покричал бы.

Но пусть многие ушли, — дом стал жить шумно: вся семья опять вместе, — разговоры и девичий смех, и громкие голоса. Когда Старостин, проверяя посты, проходил коридором, он видел пытливые глаза царевен, слышал отрывки разговоров, — никогда с раздражением. Будто жили здесь обычные люди в обычной, будничной обстановке.

Просыпались в доме все рано, царевны — все четыре — деловито убрали комнаты вместе с горничной. Лакей торопливо подметал полы. По коридору до ванной царь ходил в шинели, накинутой на плечи. В комнатах говорили громко, русская речь перебивалась чужою, — и Старостин уже в первые дни успел заметить: дети говорят с отцом по-русски, а с матерью на языке незнакомого. Он не утерпел, спросил доктора:

— Скажите, по-каковски говорят барышни?

Доктор улыбнулся в усы, ответил лубезно:

— По-английски.

День на третий по приезде, когда царевны перед полднем вышли на прогулку в сад, Старостин их не узнал: еще вчера пышноволосые, они ныне были все четыре подстрижены, как мальчики. Обрезанные волосы топорщились на затылках, прядями налезали на виски и глаза, и видать было: стригла неопытная рука.

«Эк себя обезобразили!» — внутренне подосадовал Старостин. Они стали похожи на тех стриженных, что вечерами гуляли по Воскресенскому проспекту, вертлявые, крикливые, он мысленно называл их вертихвостками.

Старостин, угрюмо оглядывая царевен, прошел по дорожкам, сел на скамейку рядом с Андреевым.

— Чего это они? Ровно унтер-офицера стали, — сказал он и кивнул в сторону царевен.

Андреев усмехнулся:

— Ты про волосы? Горничная говорит, будто им надоело с волосами возиться. Остригли косы, сложили их в коробку. Хе-хе! Должно быть, женихам потом подарят...

А царевич Алексей был совсем больной. Целую неделю по приезде он не вылезал из постели, и только на восьмой день его вывели в залу на кресле-коляске. В раскрытую дверь однажды Старостин видел: Алексей сидел в постели, на коленях у него лежала широкая, гладкая доска, на доске — книжка, он что-то записывал в книжку, по-мальчишески низко и старательно склонив голову. От всей его тощей и длинной спины, от вытянутой шеи повеяло чем-то больным и жалким, и Старостин почему-то сердито подумал: «А еще в царю его готовили!»

Потом Алексея стали вывозить в сад на прогулку. Поваренок Леня Седнев возил его по дорожкам в кресле-коляске, ноги царевича в высоких сапогах казались необычно длинными, худыми, беспомощными. И только в громких разговорах и криках еще проглядывало мальчишеское. И невольно он сравнивал своего Гришку (каждый отец сравнивает), — куда бойчее и крепче был Гришка в таком возрасте. Дня по два

они вдвоем пропадали на охоте далеко в лесу. А посади этого... он бы в тот же день скапустился. Леня вез коляску из одного угла сада в другой быстро. Старостин шел за ними поодаль. Вдруг царевич протянул руку, указывая на что-то и повелительно сказал:

— Подай мне!

Леня торопливо поднял с земли гвоздь, подал царевичу. Тот долго его вертел в руках, потом спрятал в карман. «Для чего ему гвоздь? — мысленно спросил себя Старостин. — Не помышляют ли что-нибудь папаша с мамашей?» Он насторожился. Когда возвращались с прогулки, царевич еще показал на что-то и заставил Леню подобрать. Леня подал ему обрывок веревочки, такой, какими в магазинах перевязывают кульки. И веревка была тоже старательно спрятана в карман. «Неприменно что-нибудь задумали там!» — решил Старостин.

Красногвардейцы принесли из советской столовой обед, узники пошли обедать, Старостин прошел по коридору, посмотрел в полуоткрытую дверь столовой, — вся семья, тихо разговаривая, сидела вокруг большого стола... Старостин вернулся в комендантскую и вполголоса сказал Андрееву:

— Там что-то задумали.

— Конечно задумали. Они спят и видят, как бы отсюда вырваться. А для тебя разве это новость?

— Новости конечно нет, а вот сегодня я видел, как начали готовиться.

Андреев встревоженно посмотрел на него:

— А что такое?

— Алексей поднял на дорожке гвоздь и спрятал в карман. Потом веревочку.

— Только-то?

— А тебе этого мало?

Андреев рассмеялся:

— Это пустяк. Мальчуган блажит. Он скупой. Он собирает всякую дрянь. Вчера потребовал, чтобы ему дали свинцовую бумажку от чая. Копейки собирает. Вообще чудной мальчуган.

— Вон как! — удивился Старостин. А я-то думал, раз царевич, так скупым-то ему быть нельзя.

— Издали все кажутся необыкновенными, а вблизи — все люди, как люди.

— Нет, мой Гришка куда лучше.

— Ты подумай-ка, что было бы, если

бы этот больной мальчик стал царем. Какая была у нас несправедливость. Больной, ногами плохо владеет, и вот скупенький, а самодержавнейший, великий государь... Вчера нашел копейку на полу, обрадовался, как нивесть чему.

— Его бы прямо в богадельню для малолетних.

Старостин задумался, молча вышел из комендантской. В самом деле, какая была несправедливость: вот больной мальчик, скупенький, стал бы править огромной страной, делать массу несправедливостей. И ему воздавали бы почти божеские почести, все бы попы всей огромной страны ежедневно молились бы за него в церквях. А он собирает старые гвозди и свинцовую бумагу. И убожество пошло бы по всей стране. Может, он умный? Да не похоже. Мальчик, как мальчик. И отец-то у него... умный что ли? Почти двадцать пять лет управлял страной и как проявил себя! Где же умный? Вот до чего довел страну. Война, голод. Странное дело, как будто для правителя и ума не надо.

Дверь в столовую была открыта. Толстый повар Харитонов и вылощенный лакей Групп вынесли тарелки, те самые тарелки с гербами, что были привезены из Тобольска. На тарелках лежал только черный хлеб. Харитонов остановился перед Старостиным, протянул ему тарелку.

— Чем кормите-то? Один черный хлеб остался на ужин да вот по полкоте.

Старостин нахмурился:

— Даем то, что есть у самих. Мы сами то же едим.

— Са-ми! — раздраженно протянул Харитонов. — Вы народ привычный, а тут...

— А тут пусть привыкают. У вас от одних приношений столы ломаются. Мы вдесять раз хуже вашего едим.

— Царь ест то же, что часовые! Когда это было? — возмущенно прошипел Харитонов.

— Не было прежде. Теперь есть и будет. А чем часовые хуже царя?

Харитонов ничего не сказал, только взглянул свирепо, побежал по коридору к дверям на кухню. Старостин прошел по всему дому. На балконе тупорылый пулемет, покрытый брезентовым чехлом, смотрел на гребень забора. Возле пуле-

мета на венском гнущем стуле сидел часовой — сухопарый рабочий-злоказовец.

— Все в порядке? — спросил Старостин, чтобы спросить что-нибудь.

— Все в порядке, — эхом откликнулся часовой, вставая со стула.

Старостин спустился во двор, обошел все посты. Положительно, этот Харитонов раздражил его. На втором году революции он еще верит, что царь—это какое-то высшее существо... выше во всяком случае часового! И почему-то Старостин невольно присматривался к часовым. Люди как люди. Во всяком случае не хуже царя. Гришка положительно лучше царевича.

А часовые... часовые явно скучали на постах. Они теперь уже привыкли к своему необычному положению, привыкли к пленникам. Они уже не рассматривали их так назойливо, как в первые дни. И даже царицу, которая стала теперь выходить на прогулки, они провожали равнодушными, скучающими глазами. И все в ипатьевском доме будто стало обычным — часовым сторожить, узникам сидеть.

В саду было поставлено пять новых скамеек, гладко выструганных, блестящих на солнце золотом выструганной сосны. На прогулках Ольга отделялась от других, садилась на самую дальнюю скамейку, думала, поглядывая в небо. Как-то в один из дней, в те часы, когда вся семья гуляла, Старостин и Андреев прошли по дальней дорожке мимо Ольги. Она не шевельнулась, застывшая, как статуя. Только ветер шевельнул ее стриженные волосы, сделал ее живой.

— И о чем она думает? Поди о воле? — сказал Старостин, когда они отошли от нее.

— Она стихи пишет, — так же вполголоса отозвался Андреев. — Я сам видел.

У Старостина широко открылись глаза:

— Стихи? Да разве она может? Стихи пишут мужчины. Пушкин там аль, допустим, Некрасов. А был ли пример, когда женщины пишут?

— Были примеры. Ты отстал. Вот дожди, я добуду ее стихи, дам тебе.

— Клянет поди нас в стихах-то!

— Я думаю, достается и нам.

Они подошли к скамейке, сели. На скамейке карандашом было написано

грубое ругательство. Старостин поднял горсть песка и торопливо начал стирать букву за буквой.

— Кто это сделал? Опять Кузьмичов? Выгнать его к чорту. Он постоянно лезет с разговорами, говорит пакости...

— Что ж, выгоним. Он мне тоже кажется ненадежным.

Мимо прошли три царевны, оживленно разговаривая на языке незнакомом, за ними царь прокатил кресло-коляску с царевичем.

— Зря томят, — сказал Старостин, посмотрев им вслед. — Надо бы скорее судить их. А то будто забыли и их и нас вместе с ними. Гляди, кругом шум, бунты, восстания, а мы тут сиди и жди. Завтра же пойду, говорить буду.

— Да, пора бы.

Вечером Старостин и Андреев разбирали почту, что пришла на имя арестованных. Почта была большая, и с каждым днем она заметно увеличивалась. Письма шли пачками из Петрограда, Москвы, из городов больших и малых. Поздравляли царя с днем ангела, писали о милости божьей, о снах, видениях, и во многих письмах, точно сговорившись, неизвестные люди (письма всегда были без подписи) говорили о том, что «скоро господь вернет законному государю власть над измученной страной».

Андреев, читая письма, хохотал, Старостин хмурился.

— Ежели бы господь вернул власть, мы опять сделали бы революцию, — сказал Андреев.

Он отложил пачку писем в сторону.

— Вот эти письма подозрительные. Смотри, здесь подчеркнуты буквы, здесь что-то слишком много точек и стоят они где не следует. Их мы отправим в исполком. А в общем, эге-ге, сколько еще рабов на этом свете.

И поднялся, чтобы отнести просмотренные письма во внутренние комнаты. Старостин сказал:

— Я пойду поговорю с Кузьмичевым. Надо решить.

— Прогони и всё будет решено. Хотя они и звери в человеческом образе (Андреев большим пальцем правой руки ткнул в сторону зала, где обычно в эти часы сидели узники), хоть и звери, а так хулиганить нельзя. Надо, чтобы без оскорблений.

— А ты заметил? Всегда с разговорами лезет, как к простым девкам. Прогоню.

Старостин решительным шагом перешел улицу, вошел в маленький домик, где жила охрана. В комнатах как всегда густо стоял табачный дым, кто-то неясный играл на гармонике.

— Кузьмичев! Где Кузьмичев? Эй, Кузьмичев, тебя Старостин спрашивает.

— Кузьмичев ушел. К девкам в слободу.

— Кто ему разрешил?

— Он без разрешения ходит.

— Ага. Ну, завтра поговорим.

Расстроенный Старостин вернулся в комендантскую. Андреев, смеясь, подал ему листок бумаги.

— Ты хотел почитать стихи. Вот. Я в книжке обнаружил.

Старостин взял листок и машинально сунул его в карман. Ему было не до стихов.

— Кузьмичев этот... — раздраженно заговорил он, — опять убежал без разрешения. Говорят, к девкам. А может, и еще куда.

— Ну, брат, надоел ты со своим Кузьмичевым.

— Теперь-то уж обязательно прогоню.

— Стихи покажи в исполкоме. Посмотри, как нас трактует эта милая бабышня.

— Ладно, покажу. До завтра. Спать хочу.

Он отошел в угол, где стояла его кровать, и стал снимать сапоги. Спал он обычно одетый, лишь снимал сапоги.

Утром после бурного объяснения с Кузьмичевым (пришлось погрозить тюрьмой) Старостин пошел домой в Верх-Исетск.

Екатеринбург за последние дни заметно оживился: на улицах было больше народа, больше движения и... больше тревоги. На дороге ему встретился отряд молодых рабочих с винтовками на плечах. Они шли из Верх-Исетска. Срывающимися, еще не окрепшими голосами они пели: «За власть советов». Старостин беспокойным взглядом процедил толпу глазами, отыскивая, не здесь ли Гришка. Дома Марина его встретила суровой, чем обыкновенно, и встревоженной:

— Что долго не был? Башку-то еще не сломали? Гляди-ка, что кругом делается. Не ноне-завтра вашего брата опять вешать будут. Слыхал? Чихи бунтуют, идут сюда царя выручать. Гришка всё в драку рвется, не знаю, что с ним делать. Весь в дурака папашу.

— Гришку я с собой возьму в охрану, это я уже обдумал. Ему еще рано на фронт. Поспеет.

— Надо ли в охрану-то? Хорошо ли? Вон что в городе-то говорят: всех будут, кто в охране, всех вешать будут. И про тебя такой говор, аж меня роба берет.

Старостин не успел ничего ответить, в комнату вошел Гриша. Отец пристально посмотрел на него. Как-то сразу, вот в несколько месяцев, Гришка вытянулся, и стало видно: он выдубит такой же рослый, как его папаша. Только костлявей он был, со втянутыми щеками.

Отец добродушно заворчал:

— Что же ты, мать, не кормишь его что ли? Худой-то он какой.

— Едим, что придется. Хорошо тебе за одним столом с царем есть. Там поди всякие разносолы. А мы только картошками пробавляемся. Денег-то ты оставил, как кот заплакал. Из каких же средств нам питаться-то?

— А ты почему не скажешь? Есть у меня деньги.

Он полез в карман и, вынимая кошелек, уронил на пол бумажку. Гришка и Марина вместе устремили на бумажку пристальные глаза. Старостин нагнулся, развернул бумажку.

— Стихи, — сказал он несколько смущенным голосом. — Это одна из царских дочерей написала.

Гришка протянул руку:

— Неужели пишет стихи? Дай поглядеть.

Старостин отдал сыну бумажку:

— Пишет. Только я еще сам не читал. Андреев по этой части следит.

Тут вмешалась Марина:

— Почитай, Гришенька, вслух.

Гришка начал:

«Молитва».

Прочитав стихотворение, Гришка удивленно и взволнованно посмотрел по очереди на отца и мать. Марина шмырнула носом, сказала жалостливо:

— Страдалица бедная!

Старостин, точно его кольнуло в бок шилом, хлопнул по столу кулаком:

— Ну, страдалница! Через них, чертей, страдала вся Россия сколько лет. А их только-что под запор посадили, а ты уж и страдалница.

— Не через нее, чай.

— Все они черти одной шерсти. «Пытки палачей». Это она про кого так говорит? Про нас? Мы о ней заботимся, а она нас палачами. Вот спасибо. Я только сейчас одного хулигана прогнал, чтобы пакости им не делал, а она меня в стихах палачом кроет. Дьявол! Нет, каково! Она меня палачом? Та-ак! Значит в батюшку и матушку она. Такое же змеинное отродье. «Палачи»! Показать

бы тебе, какие палачи были в тюрьмах твоего батюшки.

Гришка стоял, опустив голову, среди комнаты. Отец посмотрел на него и вдруг крикнул:

— Ты что? Аль с мамашей одинаково думаешь?

Гришка вскинул на него глаза.

— Так... стихи-то. Неужели она сама сочиняла?

— А я бы за такие стихи в тюрьме подержал бы ее годика два.

— Ну, уж ты, тюремщик! — закричала Марина.—Откуда у тебя бугристость такая взялась? Аль тоже власть под собой почувал? Смотри, собьют тебе рога.

(Окончание следует)

Записки спутника

(Воспоминания)

Л. НИКУЛИН

«...Идут часы холодной столетий...»

А. Блок

1. Москва

Это — записи главным образом о людях нашей эпохи, покинувших нас, но живых в нашей памяти. Может быть, их следовало назвать Некрополь — город мертвых. Но наш Некрополь не город печали, а город славы, человеческой гордости и любви к людям, умершим за социализм. Некоторые события отстоят от нас больше, чем на десятилетие. Отдаленные планы, как известно, теряют рельефность и отчетливость. Поэтому автор не претендует на особую точность дат, географических названий, а иногда и имен. Скорее всего это будет повесть, неоконченная повесть, из тех биографических повестей, которые пишутся всей жизнью и кончаются вместе с ней. Наше поколение помнит 1905 год, оно вышло на линию огня в 1917, и год от году несет жестокие потери. Это закон жизни. Ко второй половине нашего века это поколение почти перестанет существовать. Обязанность и долг современника, если ему посчастливилось увидеть вплотную эту неповторимую в истории народов эпоху, объективно и честно рассказать о ней новому поколению. Я думаю, что поступлю правильно, если начну именем Ларисы Михайловны Рейснер. Из года в год повышается интерес современников к литературному наследию и образу писателя и человека, пять лет назад покинувшего нашу эпоху. Этот интерес существует и ощущается нами, несмотря на то, что наши издания почти не

отметили пятилетия со дня смерти Ларисы Рейснер, и в этом отношении нам дали урок немецкие товарищи. Мне не хотелось бы вторить и преумножать общепринятую по отношению к мертвым лесть. Не много стоит человек, которого все одинаково любят, одинаково признают. Не много стоят счастливицы и общие любимчики. Лариса Рейснер вошла в жизнь как настороженный беспощадный боец, сегодня — верный и преданный товарищ, завтра, может быть, ослепленный ненавистью враг. В этом была искренность, значительность и очарование этого сложного характера. Такие люди живут коротко, бурно и страстно. Есть люди, неуклонно убавляющие среднюю продолжительность жизни для данной страны. Лермонтов умер двадцати семи лет. В двадцать семь лет он сделал все, что повергло в изумление исследователей литературы и поставило в тупик авторов одиннадцати повестей о его жизни. Шелли умер двадцати четырех лет. В данном случае речь идет о писателе, умершем едва достигнув тридцати лет. Пять лет отделяет нас от конца жизни Ларисы Рейснер. В эти пять лет мы прожили десятилетия. Мы увидели лицо новой страны и эпохи. Но за рубежами все еще маневрируют вражеские армии. Весенний туман в лесах Полесья кажется всплывающим облаком газа. Пассажирский самолет напоминает о вражеском бомбардировщике. Когда наш современник надевает шинель и подпоясывается ремнем, — десятилетие отступает назад, и люди

Октября и гражданской войны — с нами и в наших рядах. Кто же из помнящих Волгу и Каспий, и Балтику может забыть Ларису Михайловну Рейснер? В библиотеке современников ее книги не отнимают много места на полке. Это не баррикада томов классика или полуклассика. Но эти три-четыре тома нельзя перелистать, как ювелирную словесность Цвейга или Моруа. Страницы книги «Фронт» до сих пор жгут руки врага и зажигают мужеством сердце друга. И в поисках героя биографического романа писатель неизменно будет обращаться к удивительной жизни Ларисы Рейснер.

Как сложился этот странный и сложный характер? В годы ее юности прозорливые люди откладывали революцию на двадцать-тридцать лет. Когда поэты славляли величие и византийское вероломство царизма, у Ларисы Михайловны было все для счастливой «личной» жизни. Ее юность могла тихо протекать в лирических садах «Аполлона», в садах российской словесности, в обществе «мэтров» акмеизма, в кругу стареющих символистов. Теплицы литературных подвальчиков, салоны петербургских меценатов, любителей фарфора и поэзии, премьеры балета, симфонические концерты и верниссажи убаюкивали и усыпляли ее поколение. Однако поэзо-концертам и верниссажам она предпочла возню с типографскими гранками, хлопоты в цензурном комитете и контрагентстве печати. Все это делалось для того, чтобы нерегулярно и неожиданно выходила в свет тощие тетрадки довольно строго журнала «Рудин». Лариса Рейснер конечно писала стихи. Она не любила вспоминать об этих стихах, когда стала прозаиком. Но даже в ранней, поэтической юности она не умела ни жеманничать, ни притворяться, как притворялись значительными акмеисты. Она пробовала переложить в стихи основы биологии. Получалось громоздко, но интересно. На письменном столе у юной и красивой девушки рядом с томиком стихов Ахматовой лежали внушительные тома Гегеля, Энгельса и Маркса. Кажется, к этому времени относится портрет Ларисы Михайловны, написанный Шухаевым. Она не любила этот плохо и претенциозно написанный портрет, и особая горечь заключалась в том, что мы

увидели его в траурную ночь в Доме печати. И там портрет выглядел живым, как всегда, — тяжеловетная и неумная лесть художника. Миниатюра Чехонина тоже суха и манерна. Даже фотография не оставила нам прелести этой насмешливой улыбки, внезапно вспыхивающего пламени в глазах и боевого задора в повороте головы. Все это ушло. Уйдет поколение знавших и видевших живую Рейснер и останутся живые портреты и бледные фотографии и конечно ее книги. Как странно смотреть на тусклый псевдорафаэлевский фон портрета Шухаева и на акварельные Неву и Васильевский остров миниатюры Чехонина. Если подумать об аксессуарах и фоне и идеального портрета, надо вспомнить о вещах, которые ее окружали: о книгах, желтом ящике полевого телефона, маленьком никелированном браунинге. А фон? Палуба «Межени» или палуба истребителя «Либкнехт», дорога из Кабула в Калапифата и конь «Ахмет», лучший в Кабуле. Но фон и аксессуары, может быть, остались, а ее нет и не будет идеального портрета.

Я увидел впервые Ларису Рейснер в 1914 году, в Москве. До этой встречи из Петрограда пришло письмо. На бланке журнала «Рудин» прямым и разборчивым почерком Лариса Михайловна писала о том, что приезжает в Москву на несколько дней и просит позвонить ей в гостиницу или зайти и поговорить о журнале. Это было второе письмо. Первое письмо пришло годом раньше и оно тоже касалось редакционных дел одного журнала, издававшегося студенческим кружком психо-неврологического института. Деловой, товарищеский тон писем поразил меня, тайной его до конца дней владела Лариса Михайловна. Я не представлял себе автора писем, но все же так не могла писать литературная дама и дилетант. Я не совсем понимал, что это за журнал, названный фамилией тургеневского героя. Журнал был не слишком хорош, но и не плох, в нем были живость, острота, некоторая семейственность, или, вернее, кружковщина. Надо помнить, что в то время шовинистический бред и бравада уже просачивались в каждом бумажном клочке. Но не потому остался в памяти нашего поколения этот журнал, что в нем

явственно звучали пораженческая нота и некоторая литературная независимость, а только потому, что он был связан с биографией писателя Ларисы Рейснер. Когда я позвонил по телефону в гостиницу, мне ответил звонкий девический голос и назначил время — десять часов утра. Это было по-деловому и ничуть не похоже на дилетантствующую литературную даму. Но дальше предстоял удивительный контраст, который вначале просто лишил меня дара слова. Старая купеческая гостиница с длинными темными коридорами и душным и сладковатым запахом в skleпообразных номерах. Исцарапанные алмазом зеркала, вишнево-красные драпировки, пузатые купеческие кресла и тусклый самовар на столе, филипповский калач и над всем этим тирольский пейзаж в капитальной раме. Среди убогого и пыльного старого хлама я увидел очень молодую и очень красивую девушку в темном платье, с косами, аккуратно уложенными вокруг лба. Я плохо помню, о чем мы говорили, но у меня осталось воспоминание о неуважении к авторитетам, независимости мысли, резкости суждений, все это не гармонировало с юностью и прозрачной хрустальностью взгляда этой девушки. Но самое удивительное в ней был радостный, счастливый и музыкальный смех, неповторимый и единственный, который я слышал в жизни. То, что я увидел в течение ее делового дня, напоминало американскую фильму или традиционный английский роман: прекрасная, юная девушка, укрощающая и перерождающая суровых нелюдимов. Это было в суворинском контрагентстве печати, контрагентство было монополистом в распространении всех печатных изданий на железных дорогах. Доверенные Суворина были суровые и каменные люди. Что была для них судьба толстых пачек порывешего на солнце журнала с лаконическим штампом «возврат» на обложке? Против всех правил Ларисе Михайловне заплатили в тот же день, и бесчувственный читатель был порадован еще одним и последним номером журнала с силуэтом тургеневского героя на обложке.

После такого делового дня имело некоторый смысл смотреть дрессированных попугаев в цирке на Цветном. Там пышная дама в декольтированном бисер-

ном платье снимала с жердочек дрессированных попугаев. Она располагала их живописными группами, она заставляла их раскачиваться в игрушечных качелях. Попугаи пронзительно кричали, но делалось все, что от них требовалось. «Уверю вас, это наши поэты. Белый какаду с хохолком это . . . , а зеленый . . . (Лариса Михайловна называла имена)... А толстая дама... допустим; критика. Она не любит, когда птички без позволения меняют жердочки и слишком громко кричат и хлопают крылышками. У каждого должна быть своя жердочка. Да»: Немного позже, когда мы встретились в Петрограде, дрессировщики попугаев были встревожены затянувшейся войной и попугаи нестерпимо орали невпопад. А через год мы присутствовали при агонии толстой дамы, попугаи молчали или слабо хрипели и пробовали улететь на юг.

Еще меня удивила квартира на Большой Зелениной. Узкий коридор, заставленный книжными шкапами. Скромная, не для удобной жизни, профессорская квартира, отдаленно напоминающая уплотненную квартиру нашего времени. Постепенно все потухает в человеческой памяти. Отдаленные планы тускнеют и выключаются, как дальние планы театральной декораций, спектакль идет к концу. Так исчезли из памяти вещи и комнаты, и время, и даже Большая Зеленина улица, и дом, где прошло детство Ларисы Михайловны. Большая Зеленина, о которой она всегда говорила с нежностью, народный сад «Симпатия» и переулок, выходящий на Карповку и Большой проспект, все это впрочем имело значение для ее прежних и новых друзей, пока здесь жила и пока вообще жила женщина, писатель с замечательной биографией и книгами.

Весна восемнадцатого года. Лоскутная гостиница называется «Красный флот». Гостиница степенного провинциального купечества стала общедоступным военным моряком, штабом формирующихся отрядов, военным лагерем, и как и во всем, совершающемся у нас на глазах, был законный исторический смысл. Млечные пути трещин, звездное сияние покрывало тусклые зеркала, недавно отражавшие коммерции советников и купцов первой гильдии. Пулемет темно-

зеленой лягушкой уставился во входную дверь. В комнате Ларисы Михайловны — походный штаб. Вишневый бархат драпировок сразу пошел на самодельные знамена. Тирольский пейзаж; меланхолически повис над столом для купеческих чаепитий. Здесь было много разнообразных вещей — телефонные аппараты, полевые бинокли, пишущая машинка, печати, мандаты, пропуска, удостоверения, неподписанная статья о «Скифах» Блока и пачка трагических телеграмм из Новороссийска. Ф. Ф. Раскольников читал их, как стихи. Его путь лежал в Новороссийск, где надо было топить Черноморский флот, чтобы он не достался немцам. Немцы собирались отхватить половину страны. Развертывался неопишимо прекрасный и страшный восемнадцатый год. Восемнадцатый год пламенел и обжигал в словах Ларисы Михайловны. Она говорила, как зрелый революционер и боец: «Левые эсеры — кокетки», «саботажники — сволочь, путается в ногах». «Познакомьтесь, это — товарищ Железняк. Он разогнал учредилку. Вошел и прямо сказал: «караул, устал». В памяти возникает рослый черноволосый малый, его рукопожатие, сильные, нетгибающиеся пальцы и морской кольт на лакированном поясе. Он возникает и исчезает, этот черноволосый парень, однажды появившийся на авансцене истории. Он во-время сказал свою реплику на первом плане исторической комедии. Сказал и слился с тысячами таких же, как он, и умер на фронте, с морским кольцом в руках. В коридорах шаги, как глухие выстрелы, гулкие голоса и окрики, постоянный, неугомонный шум военного лагеря. В мелодическом голосе Ларисы Михайловны, в голосе, который неповторимо передавал стихи Райнера Мариа Рильке, теперь звучит медь. Этот голос не заглушают ни грохот шагов, ни едкие соленые слова матросской перебранки. Однажды в белый летний вечер она сказала: «Мы расстреляли Щастного». «Мы» она сказала твердо и несколько вызывающе. Так говорили в то время немногие революционеры-интеллигенты. Сейчас мне казалось, что два-три года назад этот голос звучал несколько неуверенно, звучал в пустоте и что настоящий, неизменный металлический тембр голос Ларисы Рейснер

обрел только теперь, в революции и в революционной стихии.

Лето. Черноморский флот лежит на дне Черного моря, однако в Киеве в гостинице «Франсуа» действует, сохраняет штаты, отдает в приказе назначения и перемещения морское министерство гетмана Скоропадского. В Москве, на Воздвиженке, в бывшем особняке Ассадулаева находится морком, — комиссариат по морским делам. Продолговатый зал для балов и присмов превратили в зал заседаний. Кажется, оттуда еще не успели убрать сияющий белый рояль, и стулья стояли вдоль стен, как полагалось в танцевальных залах. Под окнами — приближающийся и удаляющийся шум моторов. В арбатских переулках и на Смоленском перекликаются одинокие ружейные выстрелы. В подъезде, на мраморных ступенях, сидит, вытянув ноги, караульный матрос. Винтовка лежит у него на коленях, бескозырка сдвинута на лоб, и он насвистывает «Варяга», — революция еще не придумала своих песен. Плоские кружки лент прямого провода лежат на хрупком красного дерева столике. Скупой, предельно сокращенный язык морского кода говорит о вышедших в море и атакованных английскими подлодками эсминцах, о подорвавшемся на mine тральщике. Танцевальный зал Шамси Ассадулаева уже не имеет больше невинного идилического вида. Это — не отель «Франсуа», не державное министерство несуществующего флота. Это — морской штаб революции. Раскольников возвращается из Кремля и рассказывает: «Чехо-словаки начали военные действия». Не зажигая света, он наизусть читает приказ о воззвании Совета народных комиссаров. В пустом зале, ударяясь в потолок и стены, звучит молодой, почти юношеский голос: «Белогвардейцы... чехо-словаки... степной полковник Иванов...» В открытую балконную дверь свирепым аккомпанементом врываются сирена грузовика и суматошная стрельба на Смоленском. И с балкона на Воздвиженке обращенная в сумеречное небо Троицкая кремлевская башня кажется острием копья.

Весна и лето восемнадцатого года в Москве. Можно ли пройти мимо этой эпохи? Революция обуздывает хаос, она заставляет враждебные стихии служить

революции. Левые эсеры входят в рабоче-крестьянское правительство, меньшевики вчера еще были членами ЦИК, а Малая Дмитровка — квартал анархистов. Под черным знаменем превосходно работали рестораны и главным образом винный погреб бывшего купеческого клуба. Мэтр д'отель ресторана на вопрос, где работает, внушительно и с достоинством отвечал: «У анархистов». В особняках Малой Дмитровки и на Поварской находились боевые штабы анархистских групп и группочек. В общем фантазмагория, неразличимая для здравого рассудка и острого глаза амальгама парадоксальных идей, политических парадоксов, софизмов, проповедуемых философами, истериками, уголовниками и наркоманами. Политические клубы и склады оружия, шампанского, динамита, кокаина и экспропрированных драгоценностей. Партизанские анархистские отряды — «палачи буржуазии», «черные динамитчики», «бомбисты смерти» — впрочем несколько не торопились на калединский фронт. На столиках кафе поэтов в Настасьинском они раскладывали бомбы и маузеры и аплодировали Бурлюку и Каменскому. И вожак у них был «Гвидо», красивый и наглый парень. Открыто и непринужденно они обсуждали план налета на клуб у Красных ворот. Они покровительствовали искусствам, они устраивали концерты в захваченных особняках и расплачивались с артистами пачками «думок», лентами «кереенок» и корзинами с шампанским. Всех их в одну ночь уничтожила ВЧК, отделив философствующих интеллигентов от уголовных преступников. И тогда только понял смысл краткого лаконического объявления Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Сначала объявление затерялось на стенах и заборах, сплошь заклеенных афишами, воззваниями и декларациями. Ночью на Трубной площади и Цветном шли правильные бои между милицией и уголовными, длительные ночные бои с перебежками, гранатными атаками и расстрелом пленных. «Черные динамитчики» и «бомбисты смерти» облагали данью игорные притоны и клубы. Белогвардейские организации проводили правильные мобилизации и отправляли на Дон офицеров и юнкеров. Посольства

и консульства Франции и Англии организовывали заговоры и заговорщиков. Можно ли было предположить, что краткое объявление о начале работы ВЧК есть переход революции в наступление. Это поняли немногие дальновидные современники, когда отправлялись на рабочие окраины. Они видели молодых и старых рабочих, обучавшихся в стрельбе из пулемета, они видели более или менее обученные отряды красногвардейцев, зерно, из которого выросли первые революционные армии. В поэтическом кафе на Настасьинском сидели бойцы 1-го советского полка. На рассвете их эшелон уходил на донской фронт. Маяковский читал «Революцию», мужественно защищая эстраду от сюсюкающих поэтических мальчиков и загримированных поэтесс. В «Доме свободного искусства», который поместился в бывшем ресторане Эрмитаж, на эстраде почему-то танцевали испанские пляски. Но сюда ходили не для испанских танцев, а ради споров и настоящего чая и варенья. Люди говорили о своем, не слушая сентиментальных певцов из театра миниатюр. Однажды пришли Лариса Рейснер, Флеровский и еще кто-то из балтийцев. Все вместе иронизировали над «Домом свободного искусства». «Они собрали в отдельных кабинетах поваров и судомоек и читают им лекции об Эврипиде. Отдельные кабинеты-аудитории. Замечательно! Спрашивают повара: зачем ходите? Небось скучно? А повара отвечают: Егор Иванович приказал. Нельзя — хозяин». Лариса Михайловна хохочет: «Дом свободного искусства»? Спасают ресторан, правда? Их надо закрыть». В общем все, о чем говорили, было невероятным контрастом с эротическими песенками кабаре-певцов и болтовней беспогонных офицеров и их дам. С калединского фронта приехал командующий красногвардейским отрядом Юрий Саблин. Для краткости его называли командарм. Он рассказывал о героической смерти красного партизана казачьего хорунжего Подтелкова, повешенного белогвардейцами. На эстраде кумир земгусаров и тылового офицерства Вертинский пел панихидную песню по юнкерам, погибшим в октябрьские дни. Можно было прекратить панихиду, но было не до того. Раненый командарм проходил по залу, опираясь

на палку. Господа и дамы смотрели на него с насмешливым любопытством. Командарм думал: «Обреченные». То же вероятно они думали о нем. В самые неопределенные часы приходил работник ВЧК Георгий Лафар. Он писал стихи о Египте и мумиях, белые стихи, похожие на прозу Теофила Готье. Вместе с тем он выдавливал иностранных шпионов и подрытников. По происхождению он был обрусевший француз, и в 1919 году его расстреляли в Одессе интервенты, его соотечественники. Впрочем отечеством его была Советская страна, и он умер за нее. Повидимому это его вывел Алексей Толстой в «Ибикусе» под именем графа. Это был суровый и пламенный якобинец, якобинец в охотничьих сапогах и бархатной блузе, пришедший через 128 лет в Москву восемнадцатого года. Я читал о нем большую статью в «Матен», ее написал уцелевший лазутчик, убежавший из Москвы разведчик. Он писал, что Лафар походил на Сен-Жюста. У него были выющиеся льняные волосы и прозрачные желтозолотые глаза. Его любили товарищи по ночным спорам о революции, о поэзии и смерти.

Надо попытаться коротко рассказать о том положении, в котором находились в то время некоторые мои сверстники. Мы видели и помнили пятый год. Мы бегали на массовки, совали прокламации в карманы солдатских шинелей и клеили на заборах листовки. В четырнадцать лет мы изучали политграмоту по брошюрам «Молота» и «Буревестника». Мы дискуссировали, спорили о программах большевиков и меньшевиков, и эсеров, и анархистов. В четырнадцать лет наше развитие шло конечно не теми путями, какими оно идет теперь у учеников советской школы-семилетки. От брошюр «Буревестника», от массовок и стрельбы в цель из «бульдогов» и «веладогов» был прямой путь к «волчьему билету», обыску и аресту. Всем этим гимназическим испытаниям предшествовало отеческое внушение уездного жандармского ротмистра по фамилии фон-Канабих. И почти всегда этот разговор определял паш дальнейший путь. Иногда мой сверстник так и не возвращался в среднюю школу и отправлялся в жизнь с «волчьим билетом» неблагонадежного и далее проходил суровую школу ссылки, под-

поля и эмиграции, школу профессионального революционера. А иногда его убирали из этого города и отдавали в другое училище и обезоруживали, и разлагали родительскими увещаниями и слезами родных. Нельзя сказать, что наш возраст не доставлял больших хлопот ротмистру фон-Канабих. Он знал из газет и тайных сводок о романтической карьере атамана экспроприаторов, вождя террористов гимназиста Савицкого. Но чаще всего мечты о дерзких налетах на казачество и усадьбы приводили моего сверстника к лубочным книжечкам Пинкертонна, к тысячам соблазнов первой любви и отсюда прямо в эротическое и мистическое болото реакции 1907—1909 годов. Мой сверстник тонул в беспредметной символике Метерлинка, в мистических кошмарах Леонида Андреева, в беспредметно-либеральной сатире сатириконцев. Теперь уже забыли об этой эпохе, но мы вынесли ее на своих плечах, и яд этого времени долго бродил в нашей крови. Начало войны пробудило в нас чувства и страсти пятого года. Мы начали почти бессознательным пораженчеством, продолжали сознательным уклонением от воинской повинности и из чувства политической чистоплотности не принимали участия в шовинистической бравате тех дней. К концу войны многие впади в открытый пацифизм в прозе и стихах. И автор «Записок спутника» отдал ему дань слабыми по форме стихами, когда писал, что для войны есть только два слова:

...два жестких слова.

Это:

Кровь и грязь.

От этого, разумеется, очень далеко до открытого противодействия войне и похабному режиму, и в этом почти платоническом сочувствии революционерам была наша главная вина. Революцию мы встретили как возвратившуюся юность, как второе отрочество. Но мы успели охладить революционный задор ранней юности, но мы были обременены фетишами «всеобщим и равным», «прямым и тайным». Мы говорили: «свобода совести», не понимая, что собственно следует называть совестью и свободой. Мы могли спорить до хрипа о «национализации» и «социализации» земли в те го-

ды, когда князь Любомирский владел лесами и водами, уездом и городом, землей, по которой мы ходили. Но когда надо было выбирать между социализацией и национализацией, мы опять утонули в академических спорах. К лету восемнадцатого года мы уже окончательно расстались с «всеобщим и равным» с «демократией» и фетишами, но все же находились в размышлениях и колебаниях. Странные вещи творились вокруг. За Серпуховскими воротами, в 15 минутах от Коммерческого института, был завод Михельсона. И теперь мы другими глазами смотрели на фабричные корпуса, рабочие казармы и потемневшие от дождей деревянные флигели у заставы. В пятнадцатом году умирал в петроградской больнице старый политический эмигрант, участник демонстрации у Казанского собора, М. Л. Шефтель. Он лежал в палате, рассчитанной на шестьдесят человек. Вокруг на больничных койках боролись с болезнью и смертью мастеровые — питерские рабочие, трудовой народ. Умиравший смотрел поверх меня пронизательным, опережающим время и проникающим в пространство взглядом. Два месяца он лежал среди этих людей и слушал их и говорил с ними и однажды сказал мне: «Революция очень близка, настоящая и большая, невиданная в мире революция. Это не те рабочие, которых мы знали тридцать и двадцать, и пять лет назад. Многие могут оказаться в дураках». Многие и оказались в дураках. На адвокатских чаях, на литературных «средах» и «четвергах», перелистывая томы Карлейля, на пальцах высчитывали дату конца революции. Но для рабочих все было ясно — начала и концы мировой войны, начала и концы войны гражданской, и здесь могли говорить только большевики. У нас на глазах происходила явная дифференциация сил. В доме моего родственника, старого социал-демократа объединенца, я иногда встречал Владимира Максимовича Фриче. Они были старые знакомые и даже друзья, но теперь они спорили, как смертельные враги. Однажды на литературном четверге в Художественном кружке Илья Эренбург читал «Молитвы о России» — реакционные, контрреволюционные стихи (потом он от них отрекся). Мы не слишком смело атаковали его и все же

увидели против себя глухую стену, нескрываемую, злую вражду. Что нас связывало с прошлым и в общем, что было в нашем прошлом? Хроническая нужда, иногда голод (его впрочем легко было переносить в молодости), эффективные бумажные бури, бои у театральной рампы, споры с футуристами, им было легко нападать и отражать удары, они были в общем правы хотя бы потому, что взрывали старую форму и метко стреляли по реакции. Нужно было что-то делать и решать. Память о пятом годе указывала нам прямой путь к революции. Но «старые марксисты», «подлинные социалисты» клеили нам ярлычки: «авантюристы», «неучи», а наследники народолюбцев, левые эсеры, нажимали еще неослабевшие пружины чистого идеализма, народолюбства, народничества.

Все это конечно очень сжато уместилось на двух-трех страницах моей рукописи, по существу — это тема для новой истории моего современника. И однако все это уложилось в пределы одного ночного разговора на Никитском бульваре летом 1918 года в Москве.

Летняя, сомнительно белая ночь, прибитая теплым дождем пыль и внезапно ожившая листва бульваров. Пустынные улицы, мертвые дома. Деревянные щиты с вырезанными квадратными щелями закрывают двери подъездов. Вооруженные или на первый взгляд безоружные прохожие в гимнастерках. Сплошной защитный цвет, но что под защитной гимнастеркой — татуировка бандита или крестик и ладонка драгунского ротмистра? Уже реже стреляют по ночам, и реже носятся грузовики с красногвардейцами. Милиционеры (палец на взводе нагана) ведут арестованных, и нельзя знать, доведут ли живыми до уголовного розыска в Гнездиновском. О чем могли говорить люди в такую ночь? О будущем? Но кто знает это будущее? Будущее — шальная пуля в арбатском переулке или осколок гранаты на донском фронте. И мы говорили о прошлом. Мы вспоминали времена «Рудина», говорили о Рудиных без ковычек. Где теперь Рудины? «Они умели умирать на чужих баррикадах, пока не было своих». «Кто же по-вашему Рудин?» Лариса Михайловна называет имена вожakov левых эсеров, ин-

тернационалистов. Действительно не многие из них умерли на баррикадах. Теперь это обыватели, члены профсоюза и, скажем, общественники. На прощанье у ворот морского штаба на Воздвиженке возникает яростный и долгий спор. Что будет? Немцы оккупируют Украину. Есть смелые, хорошие парни, они хотят ехать на юг драться за революцию с немцами. Они формируют боевые летучие отряды. К ним идут матросы. Как им объяснишь, как втолкуешь передышку. Они только-что вошли во вкус классового возмездия. Есть настоящие самородки-революционеры, но они привыкли драться в открытую, а тут конспирация, подполье. Для них это — верная гибель. Лариса Михайловна сердится: «Драться с немцами? Булавочные уколы, блошинные укусы. Ребячество». Я вспоминаю ночной разговор на Воздвиженке и вижу людей, разбирающих неопытными руками железнодорожное полотно. Украинская ночь («Нет, вы не знаете украинской ночи...»), одинокий, облитый лунным серебром тополь у сторожевой железнодорожной будки. В шестом часу здесь пройдет немецкий воинский эшелон. Его хотят спустить под откос. И сторож, путевой сторож, стоит рядом и помогает разбирать путь. У сторожа деловой вид и суровый взгляд. Куда он денется потом с женой и тремя ребятами? Куда он пойдет из сторожевого домика с огородом, колодцем и качелями? Здесь он прожил шестнадцать лет. Но он помогает судовому механику и студенту, и двум демобилизованным солдатам калечить железнодорожное полотно. «Булавочные уколы». Теперь это для всех ясно, не это решило победу, но в конце концов тогда за эти ошибки, случилось, платили жизнью.

«До свиданья». Перед последним рукопожатием внезапный вопрос: «Вы принесли?» Это о синильной кислоте. Однажды я рассказал Ларисе Михайловне, что видел в лаборатории у моего приятеля-химика банку с синильной кислотой. «Кали циан. Хватит на целый полк». «Если можете, достаньте и принесите. Полезная вещь в одном случае...» — «В каком?» — «Ну, скажем, плен. Все же я женщина. Если обезоружат». Я увидел строгий и чистый профиль на тусклом, свинцовом стекле дверей. Сдвинутые брови и сжатые губы. «Только в самом

крайнем случае, разумеется». — «Разумеется».

Мы простились. Я ушел с чувством, похожим на зависть. Это был сильный и редкий характер, острый ум, для которого был ясен весь путь от начала до конца. У революции и ее рядового — Ларисы Рейснер — была общая молодость, сила и самоуверенность. Перед многими лежали еще путанные тропинки, месяцы сомнений, колебаний и испытаний жизнью и смертью. Все же этот разговор был мне вехой, путеводным светом. Это было что-то в роде исповеди воспреемнику в революции. И с тех пор мыслями и всеми чувствами уже владела стихия «Двенадцати».

Революционный
Держите шаг,
Неугомонный
Не дремлет враг...

Часовой пропустил Ларису Михайловну в штаб. Я увидел ее только через два года.

2. Украина

«Степь, чем далее, тем
становилась прекраснее...»

Н. Гоголь.

Группа фельдмаршала Эйхгорна занимала Украину. В оккупированных областях открыто формировались добровольческие армии. Советские губернии были осажденной крепостью, а Москва — ее штабом. Новая государственная граница — как выражались тогда немцы — проходила южнее Брянска. Заросшая бурьяном и орешником полоса шириной в несколько километров считалась демаркационной линией, нейтральной зоной. В ту пору эти заросли орешника были настоящими джунглями, населенными двуногими хищниками. В сторону города Стародуба и Клинцов двигался неиссякающий поток репатриантов, мнимых украинцев. Петроградская и московская аристократия и буржуазия начали великий исход из советских столиц, и контролировавшие документы с изумлением узнавали, что князь Митро Трубецкий есть, в сущности, прирожденный украинец. Прирожденными украинцами были барон Фелькерзам, графиня Граббе, банкир

Манус и Поляков. Так называемые консулы Украинской державы за некоторую сумму мгновенно обращали в украинцев уроженцев Эстляндии и коренных москвичей. Советские пограничные отряды формально не могли препятствовать этому переселению народов. Связь с Москвой поддерживали невиданные поезда: надрывающиеся паровозы медленно волокли теплушки, обвешенные гирляндами людей, крыши теплушек проламывались под тяжестью людей. И мы получали некоторое удовлетворение от вида, который приобретали в результате такого путешествия новые подданные гетмана Скоропадского. В одном вагоне я увидел однажды молодую женщину и мальчика. Платье ее было изорвано в клочья. Грязь, пот и запах мажорки не отличали ее от тысячи беженцев, проделавших путь от Петрограда до новой границы. Белокурый мальчик с птичьей головкой был ее спутником. Они говорили между собой по-английски. Повидимому, у них было не совсем благополучно с документами. По существу, в те времена на это обращали мало внимания. Но молодая женщина особенно волновалась у пропускного пункта. Мы были молоды и сентиментальны в те времена, я говорю о себе и моем товарище, эксперте нашей украинской мирной делегации. Мы вмешались в разговор молодой женщины и мальчика, мы сказали, что препятствий к их выезду, повидимому, не будет, потому что они—небольшая потеря для республики. Действительно, мать и сын произвели самое жалкое впечатление, их пропустили, и молодая женщина горячо благодарила нас. Ее лохмотья, остатки когда-то нарядного платья, грязь на лице и шее и свалывшиеся волосы не отнимали у нее привлекательности молодости. Она горячо благодарила нас и охрану: «Я и Светик, мы не забудем, никогда не забудем, товарищи... Скажите мне ваши фамилии, товарищи. И вам, товарищ комиссар, спасибо...» Это относилось к начальнику отряда, и он сурово сказал: «Не за что». Действительно благодарить было не за что. Их пропустили, и они перешли границу вместе с моим старым другом, экспертом нашей делегации. У немецкого поста моего товарища сразу

отвели в сторону, не глядя на дипломатический паспорт, грубо допросили и пытались обыскать. Потом ему разрешили продолжать путь. На железнодорожной станции он увидел молодую женщину и мальчика. Офицер в форме гетманских сердюков и лейтенант-немец стояли перед ней, держа руку у козырька: «Ganz richtig, Gräfin, absolut, Gräfin...» (Так, графиня... Совершенно верно, графиня...) Дама уже успела отмыть грязь и пот и переодеться. Мальчик был тоже переодет в лицейскую курточку. Нужно ли прибавить, что графиня даже не взглянула на моего товарища, когда он прошел под конвоем в двух шагах от прекрасной дамы. Так излечивается сентиментальность.

В двадцати километрах от нашего поста дымилась немецкие походные кухни. Прочной связи с Москвой почти не было. Из Брянска и Москвы доходили чудовищные слухи о разрыве с немцами и конце передышки. На базаре, на станции упорно говорили о том, что на троицу придут немцы, заберут Брянск и пойдут на Москву. В этой обстановке дымок немецких кухонь (он был виден с колокольни) и ночная перестрелка в нейтральной зоне казались началом новых, решающих событий. Поток беженцев, не иссякая, струился мимо нас, в конце концов было не до них. Охрана не слишком внимательно осматривала багаж и конфисковывала ценности в случае, если их неумело скрывали. Но вслед за официальным досмотром в демаркационной полосе подданных Скоропадского подстерегали хищники джунглей, они иногда дочиста грабили и были в сравнительной безопасности. Ни советские войска, ни немцы не проникали в нейтральную зону. Такое положение было небезопасно. Бандиты провоцировали конфликт между нами и немцами, и исход этих конфликтов, при явном перевесе сил немцев, был ясен для каждого. ЧК делала все, чтобы очистить зону от бандитов, с ними расправлялись сурово и безжалостно, но вести борьбу в самой нейтральной зоне было невозможно. Однажды я присутствовал при переговорах комиссара пограничного отряда с немецким майором. Место встречи было условлено. Мы поднимались по пригор-

ку с белыми повязками на рукаве и без винтовок. Птицы пели в густом орешнике, острый запах раздавленных стеблей, звенящий воздух знойного полдня и скрип колес — все было обыкновенно, идиллически мирно в этом дьявольском месте, называемом нейтральной зоной. Здесь еще больше ощущалась искусственность навязанной нам мнимой границы, где кончалась власть Советов, власть крестьян и рабочих, и начиналась власть оккупировавшей армии и опереточная гетманская держава. Мы выехали из кустарника и увидели немцев у верстового столба. Я думаю, что у нас всех были одинаковые чувства. Мы были лицом к лицу с самым страшным (в те времена) врагом революции. Немцы были в синих стальных шлемах, при винтовках и ручных гранатах. Вестовой держал лошадь майора. Майор сидел на складном стуле с часами в руках. Круглые очки, острый, курносый носик и треугольное личико делали его похожим на филина. Круглые стекла очков блестели, как совиные пустые глаза. Вся группа иностранных солдат выглядела неестественно на полях и равнинах, где скудная и серенькая среднерусская природа уже уступает мягкости, прозрачности и теплоте украинского пейзажа. Я прочел по-немецки наше заявление по поводу случаев в пограничной полосе и меры, которые будут нами приняты. Крестьянская телега поднималась по шоссе, и унтер-офицер пошел ей наперерез и сказал «цурюк», и по тому, как селянин задержал и погнался назад лошаденку, я понял, что слово «цурюк» и особенно режущий жест рукой — привычные слово и жест. Кто-то из наших вздохнул и тихо щелкнул языком. Майор выслушал до конца, сказал «зо» и встал. Вестовой подвел ему коня. Мы смотрели на немецких солдат. У них был довольный и сытый вид, они смотрели на нас с любопытством, но без всякой враждебности. Вероятно мы представляли странное зрелище в полувоенной форме, без оружия. Особенно поразил их высокий, скелетообразный человек с волосами до плеч, его матросская рубашка и стеганные, защитные солдатские штаны. Так кончилось это свидание. Но оно имело продолжение не очень благополучное

для нас. В числе сопровождающих комиссара был некто, называвший себя Иван Бунтарь. Это был худой, как скелет, длинноволосый, бритый, похожий на актера человек. Он считал себя то левым эсером-интернационалистом, то анархистом-коммунистом. В нем было много от провинциального театра, вернее от эстрады летних садов. Он рьяно митинговал при любом случае, и это было неудивительно для того времени и в условиях лагерной жизни. В отряде его называли «бритый поп». Его митинговые речи были смесью рифмованного эстрадного монолога и поповской проповеди. В общем это звучало архи-революционно и абсолютно сумбурно. Состав отряда был смешанный, лучшая его часть — московские красногвардейцы, группа латышей и наконец демобилизованные солдаты маршевых рот и фронтовики, вовлеченные в революционную стихию. Таких было большинство. Мы вернулись после свидания с майором, нас окружил отряд, каждый из нас рассказал, что видел, но «бритый поп» говорил больше всех. Я уходил в местечко и вернулся и написал донесение о встрече с майором. «Бритый поп» стоял на крылечке, его окружало человек сорок, и он говорил в обычном тоне, приплясывая и подпевая, говорил стихами и прозой, перемешанными с матерщиной, он порвал на себе матросскую рубашку и плакал настоящими слезами, размазывая грязь по лицу. Он грозил кулаками в сторону немцев и плакал по погибающей матери-Украине. Его слушали внимательно, чем всегда. Потом я ушел ночевать в местечко. Я жил у молочного торговца-еврея и спал на полу, а не на устрашающих пуховиках кровати. Я заснул сразу и проснулся от правильно повторяющегося грохота, точно с перерывами бросали на камни чугунные балки. Это были орудийные выстрелы. Была темная душная летняя ночь. Выстрелы шестидюймовых орудий повторялись с абсолютной точностью, и край неба вдруг окрасился розоватым, потом ало-желтым заревом пожара. Шпанов? Нет, Медовая И то и другое было на советской территории. Никто вокруг не говорил о немцах, но все думали о них, и началась обычная ночная неразбери-

ха, переходившая в панику. Утром все объяснилось. «Бритый поп» сагитировал фронтовиков. Они поставили трехдюймовку на платформу, прицепили маневренный паровоз и, выдвинув платформу до разъезда, обстреляли из трехдюймовки немецкие посты. Уцелевшие от этой экспедиции рассказывали, что немцы сначала побежали в панике. Они полагали, что вся советская армия перешла в наступление. Но знаменитая дисциплина и боеспособность еще не покинули немцев, и через двадцать минут батарея шестидюймовых орудий открыла огонь по хутору и селу у полотна дороги. Село выгорело, были жертвы, но «бритый поп» вероятно не увидел финала, он исчез, пропал без вести в ту же ночь, оставив отряд в полном недоумении относительно себя. Так и неизвестно, кто он был — сумасшедший, фанатик или провокатор.

Так было в те времена, и только дальновидные политики понимали, что дело не в булавочных уколах, понимали, что стальную фалангу Макензена расплавит пламя революции. Иногда это понимали, вернее угадывали, рядовые бойцы. Каким образом матрос военного транспорта, человек, едва осиливший грамоту, уже немолодой, суровый, замкнутый человек, мог исполнять обязанности начальника и комиссара отряда в это сумбурное и опасное время — это загадка революции. Каким образом он, опираясь на небольшую группу красногвардейцев, мог обуздать вольницу семнадцатого года, установить сравнительный порядок и районе и почти вывести бандитизм — это тоже загадка. Очень просто набросать ставший уже банальным тип «братишечки», полумажновца-сорвиголовы, интуитивно-го революционера, плохо разбирающегося в политических вопросах. Такой тип уже маска в литературе о гражданской войне. Но у Антона Антоновича Скорикова нет ничего общего с этой маской. Я видел этого человека в самых разнообразных обстоятельствах. Я видел его взятым в кольцо толпой обозленных демобилизованных, они требовали единственный паровоз для своего эшелона, я видел его и шестнадцать красногвардейцев и латышей лицом к лицу с ста двадцатью бойцами его

отряда. Эти хотели мстить за убитых немцами товарищей в трагическую ночь, когда немцы сожгли и обстреляли Медовое. И я видел его каждый день за хромоногим, грубосколоченным столом с карандашом и школьной синей тетрадкой. Перед ним лежали горкой отобранные у поданных Скоропадского золотые часы и драгоценности, длинные ленты керенок, пачки думок и плотные пачки сотенных. И он писал четырехугольными разборчивыми буквами: «Взято у гр. Маргулиеса зол. часов шесть штук, брошь с шестью камнями брил. одна и деньгами...» Раз в неделю он отправлялся в город, в совет, с двумя гранатами за поясом и круглой деревянной коробкой и сдавал конфискованные ценности. Председатель совета ставил черту под списком и писал «принято» и ставил печать. Когда Скориков заболел тифом и его увезли в город в жару и бреде, синие тетрадки были с ним, на груди. В этой же синей тетрадке, на последней странице я однажды прочитал: «Рассказ А. А. Скорикова. Я, Антон Антонович Скориков, из мещан города Санкт-Петербурга, матрос Добровольного флота, имею от роду тридцать один год. В 1916 году был потоплен подводной лодкой на транспорте № 45, потому что стояли мы, когда зачалась война, в порте Шербург и плавали потом по перевозке солдат из Дувер в Кале. На утро, когда брали нас шестерых, я сильно захолодал, потому что был месяц ноября. Теперь вернулся на родину и был ранен в городе Москве в месяце октябре на Тверском бульваре, когда у юнкеров брали дом восемь. Читал газету «Правду» и «Социаль-демократ» и голосовал за пятый номер. Выйде из госпиталя, поступил в партию большевиков. Антон Скориков». Скорикова я увидел еще однажды в 1920 году в Ленинграде.

Немцы производили импозантное впечатление. В Украину посылали испытанные боевые части как бы на отдых, на поправку. Это были части, испытанные ураганный огонь под Шато Тьерри и Верденом. Я не преувеличу, если скажу, что у солдат был монументальный вид в стальных, котлообразных шлемах и серых, как бы металлических мундирах. Они были довольны

солнцем и теплом, украинским хлебом и сравнительным покоем. Они посылали на родину, в отошавшую, изголодавшуюся Германию, аккуратно упакованные посылки с мукой и салом. Планомерно и безжалостно подавляли крестьянские и рабочие восстания. Их офицеры полагали, что на дикий народ надо действовать испытанными колониальными методами, то-есть публично вешали рабочих и шахтеров на Донбассе, расклеивая на двух языках объявления о предстоящей казни. Однако это не всегда помогало. Взлетали на воздух пороховые склады и склады огнеприпасов в Одессе, Киеве, Николаеве и Кременчуге. Катились под откос воинские эшелоны, и партизаны выдерживали бои с железными баварскими батальонами. Я видел торжественные похороны фельдмаршала фон-Эйхгорна. Его убил матрос Борис Донской. Гетманские сердюки — гвардия Скоропадского из сынков украинских землеробов — выстроились вдоль Крещатика. Это был траурный символический апофеоз военной мощи императорской Германии. Зеленовато-серые колонны спускались на Крещатик, бряцая железом и сталью. Колыхались языки факелов, отсвечивая на стали штыков и шлемов. Гром подков и гул тяжелых солдатских шагов заглушал траурный рев труб. Одни барабаны, барабанная дробь нарастающим и спадающим прибоем покрывала лязг железа и грохот шагов. Говорили, что все оркестры играли один и тот же марш из «Гибели богов». Траурный поезд прошел мимо киевского арсенала — упраздненной и, казалось бы, не существующей крепости революции. И затем он рассеялся, растаял, как дымовая завеса, этот траурный поезд императорской Германии. Потом эти же солдаты сидели в зрительном зале опереточного театра. В президиуме совета солдатских депутатов на сцене тоже сидели солдаты бывшей, уже не существующей группы Эйхгорна, пили пиво, дымили крепким табаком. Играющие в политику лейтенанты, морщась от крепкого запаха, уговаривали солдат уйти из этой страшной страны, соблюдая хоть некоторый боевой порядок.

Победа летела впереди войск революции. Искусственно задержанная окку-

пантами весна на этот раз была дружной весной. Две недели я странствовал с артиллерией Таращанской дивизии. В эпоху партизанских формирований артиллерийские части сохраняли полную самостоятельность, подчиняясь командующему только в оперативном отношении. Они различались по наименованиям, были именные бригады: «Имени германской революции», «Имени Третьего интернационала», но были и номерные бригады, сохранившие вооружение, кадры и номер от старой армии. Я странствовал именно с такой бригадой. Началась ранняя украинская весна. Первый же дождь обратил шлях, грунтовую дорогу в чернильную, черноземную жижу. Крестьянские лошадки, перемогаюсь, вытаскивали из грязи орудия. Казенная сбруя изнасилась и давно перестала существовать, ее заменила веревочная упряжь. Кони и сбруя, разумеется, не выдержали бы самого снисходительного инспекторского смотра, но по боевой подготовке люди выдержали бы любой смотр и бой. Но мы шли без боев, — незначительные части петлюровцев отступали к польской границе. И в этих странствиях я сдружился с Емельяном Бондаренко — дядей и Петрусем — племянником. На горизонте с червонным казачеством двигался еще третий Бондаренко, тоже из Черниговщины, но наши Бондаренко были батраки, до революции работавшие на графской экономии, а тот Бондаренко жил «по пид ричкой» хуторянином. Словом, как у Гоголя: «Писаренко, потом другой Писаренко, потом еще Писаренко—именитые, дюжие козак». В этих странствиях возникло наше товарищество и дружба, когда трое спят под двумя шинелями и на дневке делят на троих две печеных картофелины и одно печеное яйцо. И на-глаз трудно было найти разницу между двумя наследственными батраками и бывшим студентом, наследственным меццанином. Старший Бондаренко всего год назад вернулся из немецкого плена. Испытания и бедствия углубили и закалили этот ровный и цельный характер. Я редко встречал во всей моей жизни такое мудрое и глубокое приятие революции, единственного средства «найти правду», изменить и пере-

строить мир. И не этот ли человек имел безусловное, неоспоримое право на эту правду, дважды раненый, испытанный голодной молодостью батрака, тяжелой солдатчиной и невыносимой для человеческих сил эпопеей германского плена? Но даже из плена он сумел вынести уважение к технике, знаниям и целевой, монолитное миросозерцание пролетария, твердое деление мира на своих и чужих, на угнетенных и угнетателей. В одну ночь, когда «что-то величественное и страшное примешивалось к красоте ночи», — догорали подожженные петлюровцами станционные строения, и «над огнем вились вдали птицы, казавшиеся кучей темных мелких крестиков на огненном поле», — Бондаренко рассказывал о плене и о том, как шестерых русских пленных отправили во Франкфурт будто бы для работы на химическом заводе: «...встречают их работницы во дворе и почему-то плачут, потому что они знали, на что их везут и зачем привезли...». А привезли их затем, чтобы испытать на живых людях, русских пленных, действие новых удушливых газов. Об этом удалось узнать, когда заключили мир и справлялись об умерших в плену и пропавших без вести. Это был, пожалуй, самый страшный рассказ из всего, что я слышал от старшего Бондаренко. Утром мы пересекли железнодорожное полотно. В стороне от водокачки — свежее взрытая земля. Неизвестная женщина плакала над этой могилой: «Ой, не эмилывались, позабивали на смерть... От же ж есть у чоловіка ридна маты, а може жинка и диты... Защо ж воны их...» Нас провожал плач неизвестной женщины над могилой двух неизвестных. Их привели с собой и зарубили петлюровцы, оставляя станцию. Орудия и обозы растянулись на полверсты. Скрипели в облаках пыли возы, перекликались люди: «Старшина Гайда? Старшина Гайда?» Так вероятно двигались в походе запорожцы. Конники уже были давно за селом и переходили в брод разлившийся в целую реку ручей, а бригада только входила в большое богатое село. Было жаркое утро, парило, как в испарине, дышал чернозем, первая зелень прозрачным, нежно зеленым облаком одевала сады. За пе-

релазом у плетня стоял селянин, сонный, широкоплечий, даже величественный в белой вышитой рубашке. Почесывая спину, он курил трубку и строго оглядывал хозяйство — «свой» сад, огород, хату, клуню, дальше поле за хатой и волов под навесом. Хозяйским глазом он оглядывал свое хозяйство, собственность. А за плетнем, по широкой сельской улице, пылило «войско», войско шло мимо воевать за Советы, за «радянску владу» — советскую власть. И он поглядел на коней и орудия через плечо, как будто ему все равно было то, что в конские гривы вплетены красные кумачовые ленты, а не желто-блакитные — желто-голубые цвета петлюровцев. Бондаренко-старший поехал к плетню, фейерверкер старой армии, бывший военнопленный, старшина Бондаренко — наследственный батрак — встретился глазами с «хозяином» — с будущим, последним и самым страшным своим врагом. Они поглядели друг на друга, хозяин отвернулся и пошел в хату.

Мы были на подступах к Киеву. Весна встречала нас зеленеющими нивами и лесами. На перекрестке тускло глядела на нас с креста желтая резная фигурка Иисуса. «Воздух был наполнен тысячей птичьих свистов». Родина, юго-запад, встречала нас головокружительно весной. Я думаю, что не было ни одного из всех трех тысяч вооруженных людей, который не поддался бы очарованию этих ночей и зорь, должно быть, потому все пели, пели веселые и грустные песни:

Половина тих садив цвите,
Половина развеається,
Не вся и пара под вінец иде,
А иная и разлеається...

Соединялись пары и в эту весну, но тысячи пар разлучались и разлучались навсегда.

Трудно передать ощущение человека, входившего в город с войсками революции. Они проходили по окраинам, не встречая сопротивления, здесь они видели самую искреннюю радость. Они продвигались к центру с оружием в руках, внимательно поглядывая на чердаки и крыши. Внезапно в бессильной злобе захлопал пулемет в слуховом окне, и дом окружают, берут в кольцо, и пла-

мя гаснет в пулеметном дуле. Слабо щелкают ружейные и пулеметные выстрелы, но к ночи они переходят в частую перестрелку. Мы двигаемся ощутью по темным переулкам, слушая оклики: «Пароль!» «Сабля». «Отзыв?» — «Симбирск». Бессонная, утомительная, незабываемая первая ночь во взятом с бою городе. Через неделю жизнь войдет в норму. В гостинице Гранд-отель застучат машинки исполкомовских машинисток, у особняка сахарного магната пыхтят боевые, потрепанные штабные машины, на заводских окраинах, надрывающая горло, в десятый раз выступит на митинге член Реввоенсовета или член губкома. Город изменит лицо. В зале кафешантана две недели назад шансонетки пели: «Я, Таня, ребенок нежный», чины особого русского корпуса с револьверами в руках требовали у капельмейстера марш Нижегородского драгунского полка и «Боже, царя». Здесь будет клуб первого коммунистического полка. Кумач, плакаты, листовки и воззвания уничтожат всякие воспоминания о временах Преображенского марша и «Боже, царя». Армия революции входит в город. Она имеет неопишимо пестрый, своеобразный вид армий санюлотов. Проходят конники в гимназических, офицерских и генеральских шинелях и при белых саблях и палахах (к ним имели особую слабость партизаны). Под шинелями мундиры разных эпох, разных полков и ведомств. Гусарские ментики, взятые с бою у разоруженных венгерских гусар, а, может быть, без боя в уездной театральной костюмерной. Однажды я увидел сияющего, как солнце, всадника. Он весь горел золотом, в золотой церковной парче с головы до ног. Это было ослепительно. Галифе и френч, сшитые из церковной парчи, отражали весеннее солнце, а вздернутый нос и веселые глаза — молодость и жажду жизни, какая может быть только в двадцать лет.

Революция отбрасывала назад сопротивляющихся, революция вовлекла в свою орбиту новых спутников и союзников. Доцент Политехнического института, ученый, готовящийся к кафедре по финансовым наукам, от имени комиссии по контрибуции, делал обстоятельный доклад перед купцами и коммер-

сантами, собравшимися в державном театре. Он обстоятельно доказывал, почему именно данная группа населения обязана платить контрибуцию, он ссылаясь на авторитет признанных экономистов, он цитировал Спинозу и Маркса и статьи «Коммуниста» и, закончив почти научный доклад, уступал место следующему оратору. А следующий оратор сообщал этой публике, что все выходы в театре заперты, что театр оцеплен и ни один из названных граждан не будет выпущен на свободу до тех пор, пока не внесет контрибуции. И в тот год, когда противники схватились, не выпуская друг друга, в последней смертельной схватке, по улицам блокированного бандами города ходили с глубококомысленным видом чудачки-поэты, поэтические чудачки. Для них еще ничего не изменилось в окружающем, — их маленькие бури, словесные битвы и мнимозначительные страсти бушевали под четырьмя этажами дома советов, в поэтическом подвале, называемом ХЛАМ. ХЛАМ — анаграмма следующих слов: художники, литераторы, артисты, музыканты. В самом названии подвала, как видите, было своеобразное разоблачение, саморазоблачение. Там Осип Мандельштам еще «изучал науку расставанья в простоволосых жалобах ночных». Однако новый язык, новые словообразования устремляли поэтов в космические сферы, в палеонтологическую эпоху. С метелями «Голого года» переключались такие стихи:

От этих томных и тягучих букв
Пленительный, необычайный арум,
Как вопль шамана иль удары в
бубен:

Гувуз, Гувуз, Главбум, Чусоснабарм.

Но затем поэт уже окончательно приземлялся и конкретизировал, обращаясь к тем, «кого еще не сгребла Чека»:

Вы—барин,
Вы смотрите упрямо и тупо.
Ничего,
Еще успеет купить татарин
Штаны с вашего трупца...

Отчего сразу пустела часть столов и у выхода началась давка. Но в общем, что значили даже такие стихи рядом с боевыми приказами и лозунгами, которые обсуждались во всех этажах Дома

советов над сводами подвала. Старшее поколение поэтов все же искало оправдания своим стихам и темам. Илья Эренбург защищал свою мистерию «Золотое сердце», он искренне полагал, что ее может издать издательство наркомвоена Украины. В «Золотом сердце» были и такие строфы: «В нашей бедной церкви, где мы вздыхали и плакали, как плод, созрело сердце пресвятой богоматери. Золотое сердце! Великий плод! Оно всему миру дает». Осип Манделштам писал мифологические баены. В геральдических зверях читатель должен был угадать хотя бы государства Антанты, впрочем это было не обязательно. Почти в то же время красные партизаны, не прочитав мифологических басен, заставили французев сестр на суда, и атаман Григорьев в историческом, расклеенном по городу Одессе приказе так формулировал политическую ситуацию на Западе: «Взятием Одессы я выбил стул из-под ж... Клемансо».

Но в общем литература и искусства переживали великую эпоху политическо-го самоопределения и глубокого расслоения. Это происходило и на заседаниях Всеукраинской академии, где обсуждали проблемы языкознания и сражались против русского и против украинского шовинизма, и на заседаниях так называемого «левого блока», где так и не пошли дальше первого тезиса декларации. Несмотря на то, что вооруженных сил еле хватало, чтобы удерживать Киев, была уверенность в победе, и люди строили планы в расчете на месяцы и годы. В театре уже поняли, что постановка «Саломеи» Уайльда и «Овечьего источника» Лопе де Вега есть в сущности отговорки, но репертуара не было, и к неделе всеобща одному и тому же автору предлагали в порядке приказа за пять дней написать: социальную феерию для цирка в трех актах под названием «Все к оружию», одноактное представление из эпохи Великой революции под названием «Отечество в опасности» и одноактную пьесу для красноармейских клубов «Последний день Парижской коммуны». И действительно все это было готово в срок, и такая была жажда в отвечающем времени репертуаре, что

курсанты, красноармейцы и рабочие встречали взрывом оваций эти naive, упрощенные, но искренние агитки.

Фронт начинался за городской окраиной. Фронт был на первом полустанке, то отдалялся на сто километров, то оказывался тут же в городе, в километре от губкома и исполкома. В районе Фастова странствовал на убранный коврами тачанке безымянный «батько» в камергерском мундире. Вокруг него гарцовали, казнили и миловали народ гайдамаки девятнадцатого года, и войсковой писарь выдавал помилованным грамоты в роде такой: «Разрешаеца жить на белом свете». В самом гарнизоне не всегда было благополучно. Однажды в полевом трибунале судили пулеметчика бронепоезда за то, что он убил красноармейца-музыканта. Команда бронепоезда послала трибуналу ультиматум, она требовала освобождения убицы. Пока на вокзале политработники и командиры говорили с командой, мы выдвинули сторожевое охранение, на перекресток поставили бронемашину. В городе сразу опустели улицы, заперлись ворота и подезды и закрылись ларьки. Но переговоры на вокзале кончились благополучно, южный говор, смех и шуршание тысячи шагов опять наполнили улицы. Уехал, пошвыстывая, броневик, сняли сторожевое охранение у трибунала, и восторжествовал суровый, революционный закон. Фронт был боевой и политической школой. Приходили пополнения из молодых и старых рабочих, в первом же бою они обучались обращению с «гочкисом», «Максимом» и «луисом», лектор политотдела обучал их политической экономии и географии, истории и историческому материализму. Иногда в тот самый час, когда лектор посредством цитат из Маркса и Ленина вскрывал мнимый марксизм меньшевиков, дежурный останавливал его жестом и выкрикивал: «Такая-то рота такого-то полка в расположение полка», и лектор оказывался перед пустым злом и, спохватившись, вспоминал, что в шесть часов начинается его дежурство уже в качестве рядового бойца коммунистической роты при политуправлении наркомвоена УССР. Всероссийское бюро военных комиссаров — Всербюрвоенком — уже превра-

тилось в ПУР, и бок о бок с армиями странствовали политотделы и агитпросветы с киноаппаратами, библиотеками, типографскими машинами, бродячими фронтowymi актерами и музыкантами. Они оседали сразу цыганским лагерем в километре от фронта, рассыпали листовки и воззвания, облепляли города агитплакатами и полотнищами лозунгов и плакатами из фанеры. Мы кипели, спорили, агитировали, пропагандировали в конце концов в кругу с небольшим диаметром от Подола до Демиевки, потому что от Коростеня напирал Петлюра, с юга шли, выдыхаясь на быстром марше, денкинцы, а в Триполье еще не остыли трупы замученных кулаками комсомольцев.

Мы кипели в котле революции, мы плавилась в огне гражданской войны, но все же временами были ломким металлом. Личные трагедии, личные страсти не совсем заглохли в моем сверстнике. Он разгрузился от фетишей, для него уже не существовало политических миражей, перед лицом смерти, взятый на мушку врагом, он принимал на себя ответственность и за репозицию кроватей для раненых, и за новое правописание, за все декреты и за неделю террора. Но нечто нельзя было сразу отвергнуть, сломать и забыть. Люди убивали себя из-за несчастной любви, люди искали смерти, когда умирала любимая. Это было утверждено в них романтической поэзией, «Вертером», музыкой, шекспировской трагедией. Смерть любимой вдруг ставила моего сверстника перед черной бездной. Он выходил из знакомой комнаты, ее комнаты, на солнце, в зелень и жизнь. Но он шел по улице, не видя солнца и жизни. Крышка ее гроба закрыла для него мир. Он не видел мчащихся по улице грузовиков с вооруженными рабочими, он не слышал тревожных заводских гудков. Он не видел вооруженных товарищей, бегом спускающихся к заставам. Смертельная пустота и отчаянье внутри. Он окаменел, не чувствовал, что город под ударом, что если не отбиться, не отгрызться от банд, взрослые и дети обречены на чудовищную резню, город—на пожар и разграбление. Бессознательный дезертир уходил по притихшим улицам в пу-

стынный парк. Ухали шестидюймовки военной флотилии, стрекотали пулеметы, на одной стенищей ноте выли гудки паровозов и заводов, но он смотрел в степные дали, в серебряный, траурный позумент реки и видел восковое лицо и бархатную, точно подрисованную бровь мертвой. Солнце опустилось за край земли, потухло небо, таким его застал сырой вечер, ночные звезды. Наконец он ушел из парка и долго шел по пустым улицам, не прислушиваясь к перестрелке. Внезапный оклик и лязг ружейного затвора привели его в себя. «Пароль?» Кто его окликнул, свои или враги? «Стой» — и дуло винтовки упирается ему в грудь, двое хватают его за руки. Он соображает: «Чей патруль? Чья разведка?» Как пробудившийся от наркотического сна, он слабо напоминает утреннюю тревогу. Кто же его взял—свои или чужие? Его ведут во двор казенного здания, обыскивают, находят револьвер и бумаги. Человек с забинтованной головой говорит: «Ясно. Видать, что за птица. Поторопился малость. Что ж, время горячее. Веди». И мой сверстник чувствует близость смерти, легкой смерти, вместе с тем равнодушные и желанный покой, успокоение. Все же в ногах слабость, легкая дрожь, он идет вдоль нескончаемо длинной кирпичной стены, между плеч пробегает холодок от близости ружейного дула. И вот уже конец стены, прямой угол, тупик, дальше пути нет, конец. Вдруг торпливые шаги и крик: «Стой, Михалюк! Назад! Где тот товарищ?» В чернильной тьме вспыхивает молочно-белый, радужный круг электрического фонарика и слепит глаза. Радужный кружок упирается в удостоверения и карточку. «Ты ж свой. Чего ж ты молчал, чорт? Время такое, товарищ. Ведь мы ж тебя чуть...» Он молчит и с трудом находит слова: «А почему я знал, что свой». — «И то правда. Тут мы, там они. Чорт разберет. Слоеный пирог. Ну дела, у меня аж рубаха взмокла. Отходят банды». Марлевая повязка мелькает в свету, красный воспаленный глаз и усталое лицо командира. Стыд, раскаянье и презрение к себе охватывают моего сверстника. И вместе с тем внезапная легкость, радость пробуждения. И мой сверстник идет в обход с

патрулем, в ночь, в переключку ружей и сухие пулеметные трели. Он идет твердым шагом, прежним бодрым шагом, восемь смертей в его руке, в обращенном к врагу вороненом дуле. Кризис прошел. Он здоров, он будет жить, он здоров.

Это—новелла, короткая, правдивая новелла, одна романтическая страница из жизни моего сверстника. Утро приносит реальность, легкую печаль, легкую болезненность в том месте, где заживающая рана. Жизнь продолжается, надо закреплять тыл. Нас посылают на массовые операции, город еще переполнен контрреволюционерами, бандитами и разведчиками. Мы приходим в особнячок, забытый особнячок на горной тихой улочке. Старуха с мужеподобным лицом встретила нас в кабинете. Она стояла под портретами генералов и митрополитов и, не мигая, смотрела на свет. Это была помещица, миллионерша, покровительница союза русского народа и студентов-академистов. В доме не было никого, кроме старухи и ее прислужимонашки. Восковое, безгубое сухое лицо желтым пятном всплыло в свете лампы. Оно окаменело и не менялось, не изменилось даже тогда, когда вскрыли замурованные в стене кабинета винтовки, царские портреты и прокламации и архивы «особого русского корпуса», который перестал существовать четыре месяца назад.

Однажды ночью был расстрелян грекбулочник, палач-доброволец при одесской тюрьме в эпоху военно-окружных судов. Это был тупой и глупый, уже старый человек. В последний раз он вешал в 1910 году и вероятно думал о том, что ему уготована мирная и сытая старость на Арнаутской улице в собственном доме и квартире при булочной. Он бежал из Одессы в Киев в первые дни революции, он боялся соседей. Но возмездие пришло в Киеве, его выдал кто-то из арестованных охранников, «чтоб подышать было легче». Отовсюду приходили смотреть на палача. Он сидел на лестнице, почесывал небритую щеку и изредка зевал, толстый, опухший, уже старый человек. Он держал подмышкой каравай белого хлеба, глиняную кружку и в чистой тряпочке сахар. Все было припасено, заранее при-

готовлено на случай ареста. Полчаса он просидел на лестнице, не произнося ни слова и не отвечая на вопросы, и потом вдруг попросил кипятку. Все время приходили люди и смотрели на старого палача, как смотрят на труп, который надо убрать как можно скорее. Я почувствовал что-то в роде тошноты, но тут сыграли свою роль некоторые отороческие воспоминания. Однажды летней ночью в 1910 году трое гимназистов возвращались из сада попечительства о народной трезвости на дачу Среднего фонтана в Одессе. Они шли мимо Чумной горки — братской могилы умерших от чумы. Им было немного страшно, потому что вблизи находились переулки Шарлатанский и Сахалинчик — так нехорошо назывались эти дурные места. У тюрьмы их вдруг остановили конные стражники. Испуганный пристав пронзительным голосом погнав гимназистов прочь от шоссе, к морю. Конный городской для верности поехал следом за ними. Старшему из них было шестнадцать лет, младшему четырнадцать, и все сразу поняли, что происходит сейчас в стенах тюрьмы и почему ночью в этих пустынных местах полиция. Стук копыт в молчании ночи, мигающие фонари тюремной ограды — самое страшное воспоминание ранней юности. Именно в ту ночь работал старый палач, то-есть тогда он был не настолько стар, чтобы не суметь за двадцать пять рублей с головы делать подлое дело. Теперь он сидел на лестнице, ему дали кипятку и дали возможность допить кружку до последней капли. Возмездие пришло не так, как это полагается в трагедии, он сидел не в Косом капонире — камере смертников в царское время, а в подвале барского особняка и кончил жизнь без того церемониала, который привык видеть, когда вешал революционеров во дворе одесской тюрьмы. Но в этом прозаическом акте был великий закон революционного возмездия, справедливая кара, неумолимо постигшая старого палача через десятилетие.

Мы жили, мечтали, воевали, любили. Мы не знали, где застанет нас завтрашний день и застанет ли он нас в живых, но с нами была молодость, молодость революции и какая-то несокрушимая,

счастливая вера в то, что мы делаем правое дело. Мы были в своей семье, в семье бойцов за Интернационал и научились от них не думать о смерти и не верить в смерть. Однажды наш товарищ Митя Гольдберг не пришел в маленькое кафе Грека в проходном дворе у Думской площади. Там на некрашенных столах в узенькой лавчонке давали ароматный, крепчайший турецкий кофе. Там можно было встретить рядового красноармейца и члена рабоче-крестьянского правительства. Митя Гольдберг — политработник армии — не пришел в условленный час в кафе. Он погиб вместе с маленьким отрядом курсантов и немцев-спартаковцев на Житомирском шоссе, и там, где билось его буйное и отважное сердце, где отличала эмалью красная звезда в серебряном венке, бандиты атамана Струка вырезали ножом кровавую пятиконечную звезду. У него была короткая, но бурная биография. Он был льежским студентом, говорил по-французски, как француз, и ругался по-одесски, как одесский грузчик. Он насмерть дрался с гимназистами гимназии союза русского народа на Греческой. Он воевал в Карпатах и получил два солдатских Георгия, и в семнадцатом году сгреб их с широкой груди и бросил в мусорную яму. Он прожил двадцать семь лет, чтоб умереть за красную звезду, звезду интернационала. Его вспомнили добрым словом и, как могли, отомстили за него триста, пятьсот, а может, и тысяча его друзей и товарищей на всех фронтах гражданской войны.

Так умирали и жили, и писали стихи на облигациях и акциях Джамгаровых, Лианозовых. Учились военному делу и гуляли в том же бывшем царском саду с девушками...

Весны золотая свирель,
И эти речные дали,
Не знаю, бывает всегда ли
Такая весна и апрель.

Ядовитый критик говорил, что золотая свирель скорее подходит к осени, а не к весне. Ядовитый критик в длинной кавалерийской шинели, высокий худой человек с утомленным и бледным лицом, теперь легендарный Павлов, вернувшийся из Черниговского района с остатками своего отряда. И он шутил

над временной своей неудачей, и с ним говорили почтительно, хотя в те времена еще не было трех орденов Красного знамени на его старенькой гимнастерке. Он прошел всю гражданскую войну с храбростью обреченного себя на смерть фанатика, непоколебимостью комиссара Конвента и печальным юмором философа. Он прошел невредимым сквозь ураганный огонь, чтобы случайно и жутко утонуть в желтой и мутной китайской реке. Именно эти люди — командиры, комиссары, политработники — исполнили приказ коммунистической партии, обуздали стихии, переплавили разноликую, пеструю партизанскую массу в РККА — Рабоче-Крестьянскую Красную армию. Батьки-атаманы обзывали их ненавистной кличкой «назначенцы», предавали их мучительной смерти и просто предавали врагу, но уже в 1919 году из разношерстной и пестрой массы вырисовывался монолит — дисциплинированная, знающая свои цели, классовая Красная армия.

Москва и Петроград и недавние встречи вдруг напомнили о себе. На путях вокзала, в хвосте воинского эшелона я увидел сооружение на колесах, называемое в то время бронеплощадкой. Морское орудие высовывало жерло в прорез брони, и на серой стали брони я прочитал: «Бронеплощадка имени тов. Раскольников». И это убийственное сооружение через деникинский и бандитский махновский фронты связало Днепр с Волгой и напомнило о недавних московских встречах. Эшелон и броневыми силами командовал Семен Михайлович Лепетенко, упоминаемый Ларисой Михайловной в книге «Фронт». От матросов-черноморцев и балтийцев я узнал о пленении Раскольника на миноносце под Ревелем, о сидении в лондонской тюрьме. Затем его обменяли на пленных агличан, и он вернулся во флот и командовал Волжско-Каспийской военной флотилией. Раскольников вернулся из королевской тюрьмы, заучив на всю жизнь методистские псалмы на английском языке. Он запомнил их, как мы запомнили упражнения из Нурока. От скуки он ходил по воскресеньям в тюремную церковь, и проповеди были для него первыми уроками английского языка. От черноморцев я впервые услышал имена Миши и Бо-

риса Калинина, Владимира Кукеля, Володи Соколова, Кожанова, Сатанина, Андрея Сеницына, Чухновского (летчика Чухновского, которого знает мир). О них писала Лариса Михайловна в книге «Фронт», и все они останутся в памяти потомков так же прочно, как имя Чухновского, хотя комиссар Северного отряда моряков Миша Калинин сейчас скромный прораб (производитель работ) где-то в Армении, а другой Миша, Миша Кириллов, изощряется в биомеханике в театре имени Мейерхольда.

Передо мной лежит лист плотной бумаги. В левом углу бланка—комиссар Морского генерального штаба. Ниже карандашом написаны стихи персидского поэта XI века Омер-Хайям:

Неправда ль странно? Сколько до сих пор
Ушло людей в неведомый простор,
И ни один оттуда не вернулся:
Все б рассказал, и кончился бы спор.

«Неправда ль странно», что эти строки написаны на бланке «комиссара Морского генерального штаба». Комиссаром штаба была в 1918 году Лариса Михайловна Рейснер. Это ироническое четверостишие, мудрая насмешка над лукавыми мудрствованиями мистиков и спиритов, в духе и вкусе Ларисы Михайловны, и вот где секрет ее мужества перед лицом опасности, бесстрашия и спокойствия в минуты смертельной опасности. В спорах о поэзии и философических спорах ее собеседник встречал то же бесстрашие, углубление в дебри, лабиринт враждебных философских систем, но ариаднина нить ее мысли всегда приводила к единственной верной системе — материалистическому пониманию мира.

Лариса Рейснер была едва ли не первым писателем, работавшим над материалом гражданской войны. Ее первые очерки, напечатанные в «Известиях», прокладывали пути художественному очерку, они провели ясную видимую грань, черту между личной храбростью, доблестью дореволюционного солдата и героизмом красноармейца и краснофлотца, военмора гражданской войны. «Карл XII, — пишет Вольтер, — первым выезжал во главе своих драбантов и с удовольствием рубил и убивал... Вот пример того, что во все времена и у всех народов называлось геройством». И

когда Лариса Михайловна называла по именам героев Царицына и Волги, она показала примеры того, что в наши дни в пролетарской революции есть истинное геройство. Немногие в то время понимали значение ее очерков. Перечитывая документальные записи о классовых боях, участницей которых была Рейснер, позади блестящих, иногда нарядных образов и описаний гражданской войны мы угадываем другую, тоже значительную борьбу писателя с соблазнами «высокой эстетичности», борьбу с преодолением внешнего блеска формы. Эта борьба длилась из года в год, пока эстетизм и словесная инструментровка, склонность к несколько нарядному образу не уступила сдержанному, скупому и значительному языку ее последних произведений. Биография писателя разворачивалась рядом с биографией бойца и революционера. Подходили творческая зрелость и мудрость и полное овладение высоким, значительным, собственным стилем. Но я пишу не критический очерк о писателе, это только записи об эпохе и ее людях. Если не задумавшись, сказать, что Лариса Рейснер, человек и писатель, была всеми признана и любима при жизни, это будет ложь, «святая ложь» о мертвом. В жизни и литературе она, не задумываясь, бросалась в схватку, она находила самые резкие, жгущие, иногда несправедливые слова, которые выходили за пределы полемической атаки и спора. Чтобы разбить и унижить врага, она не останавливалась перед оскорблением и резким словом. Человек, игравший некоторую роль в Февральской революции, еще большую роль в контрреволюции и кончивший скамьей подсудимых в Верховном суде, рассердил ее высокомерием и развязностью, и в пылу спора она бросила ему жесточайшее обвинение, которое конечно никак не могла доказать. Кто-то сказал: «Знаете, это чересчур, Лариса Михайловна». «Да? Но вы бы видели его рожу». «Валькирия» — сказал про нее один поэт и меланхолически вздохнул...

Умершие в юности или цветущей зрелости не стареют. Мы навсегда запомним хрустальную звонкость голоса Ларисы Рейснер, непотухающее пламя ее глаз. Пережившим ее современникам суждено скрещивать взгляды и видеть,

как седина, вялость кожи и морщины отмечают каждый прожитый нами год. И горечь в том, что новое поколение будет помнить моих сверстников почти стариками, со старческой слабостью, робостью и усталостью.

В Киеве отряд черноморцев хоронил своих. Медленно плыли по Крещатику красные гробы. Ветер играл ленточками матросских бескозырок. Ветер играл ленточками мертвых, их сабли и фуражки лежали на красных гробах. Отряд привез своих мертвых в Киев. Отряд пересек с боями Донбасс с востока на запад. Мертвые бойцы сопутствовали живым. Это напомнило средние века, борьбу за «вольности» (fueros) Альбукирка с королем Кастилии дон Педро Первым, прозванным жестоким. Альбукирк умер в походе, но его воины не предали его земле, они везли его с собой в походах. везли в гробу, осененном боевыми знаменами. Вождь как бы участвовал в боях. На военных советах от его имени говорил его мажордом, и, когда король был разбит, прах Альбукирка предали земле. Когда в Киеве хоронили черноморцев, было еще далеко до победы. Салют над братской могилкой смешался с боевыми залпами на Подоле. Банда Зеленого ворвалась на окраину Киева, ее прогнали отряды Чэка, мобилизованные коммунисты и матросы Семена Лепетенко. На Сенной площади длинными, кавалерийскими палашами рубили банду конные матросы. Лепетенко был тогда очень молод, румян и круглолиц. Он был одет по форме, тщательно, как к инспекторскому смотру. После боя черноморцы пришли в кафе на Крещатике. Они оставляли карабины и винтовки в гардеробе, как тросточки.

В то лето нас обучал военному делу бывший ефрейтор Сибирской стрелковой дивизии Степа Нечай. Военное обучение у Нечая проходил один наш товарищ, фамилия его была Шульман, Лазарь Шульман. Он заведывал библиотечной секцией и книжной базой политотдела. Пятнадцать часов в сутки он проводил в подвальном этаже, в барской кухне, превращенной в книжный склад. Пожилой, грустный, близорукий еврей из Гомеля, он пришел к большевикам из Бунда, и его смущало и пугало многое в ходе событий, в людях революции. Он сидел на разноцветных

плитках, на кухонном полу, шелестел обложками брошюр и рассуждал: «Теория прибавочной ценности... Конечно Степа Нечай не имеет понятия о теории прибавочной ценности. Но разве я знал до революции, из каких именно частей состоит трехлинейная винтовка? Ох, как они брошируют книги!..» Он уходил последним из книжной базы и шел, гремя пыльными сапогами, через весь город в «общезитие спартаковцев», где мы жили. Он шел, не глядя под ноги, не замечая прохожих. Кубический караван черного хлеба (красноармейский паек), пачка газет стесняли его жесты, тем не менее он рассуждал, выразительно жестикулируя и обращаясь в пространство, а не к собеседнику: «Я имею полное уважение к товарищу Нечая. В старое время такие люди заполняли военные тюрьмы и дисциплинарные батальоны. Красавец - парень, просто геройский парень, но вы видели у него в руках книгу или газету? Ничего подобного». Правду сказать, эти соображения в то время были у многих. Время разбило нас наголову. Нечай и Скориковы научились обращаться с более сложными вещами, чем пулемет Максима и ручная граната «лимонка». Например Лепетенко, Семен Михайлович, командир черноморцев, потом начоперод Балтфлота оказался прекрасным консулом СССР на Востоке. И так военный инструктор Нечай обучал нас военному делу. Это было действительно наглядное обучение. Вспотевший и охрипший, он собирал нас в кружок, выбирал отъявленного штатского и спрашивал очень тихо и выразительно: «Знаешь как в старой армии учили?»—и вдруг оглушал страшным криком: «Стать смирнааа!.. Мать перемать!» Добродушное, привлекательное лицо искажалось, глаза наливались кровью: «Как стоишь, шляпа? Стать как следует, вольнопер, образованная...» Но морщины разглаживались, лицо Нечая принимало прежнее добродушное, привлекательное выражение, и голос приобретал прежний бархатный тембр: «Вот как вас в старой армии учили». Этот человек однажды рассказал эпизод, случившийся на Кавказском фронте в империалистическую войну. Во время боя полурота оторвалась от полка и, проблуждав в горах, не принимала участия в бою. К вечеру,

когда бой кончился, она нашла свою часть. Командир батальона, драчун и пьяница, выстроил полуроту на дистанцию в два шага и, переходя от солдата к солдату, избивал одного за другим. Так он дошел до Нечая. «Ваше высококородие, — сказал Нечай, — бейте, ваше высококородие, только бейте насмерть, а не убьете меня, я вас убью». Капитан помедлил, опустил руку и scomандовал: «Вольно. Все сволочи, один Нечай молодец». Может быть, это была солдатская легенда, но героем этой легенды по складу характера и какому-то особому чувству достоинства мог быть наш инструктор Нечай. Понятно, почему он внушал к себе почтительное уважение тихому и глубоко штатскому человеку Лазарю Шульману. И именно этому человеку Лазарю Шульману пришлось сыграть почти героическую роль в эпизоде, напоминающем по литературной композиции лермонтовского «Фаталиста». Некто Базилюк, соратник Махно, в прошлом уголовный каторжник, одно время командовавший какой-то частью под Бирзулой и подозреваемый в содействии бандам, приехал отдохнуть и развлечься в город. Была острая необходимость в его устранении из части, и вышло так, что философствующий Шульман и два молодых курсанта должны были исполнить эту операцию. Мы представляли себе, как выслушал этот приказ Шульман. Мы представляли себе его фигуру, очки, взерошенную бороду, вытертый пиджак, полосатые брюки, заправленные в тяжелые солдатские сапоги. К этому надо прибавить не последний анекдотический штрих. За ременным солдатским поясом у Шульмана почему-то торчал огромный смит-вессон, — такие в старые времена полагались только лесным об'ездчикам. «Шумит, тремит конец Киева», Базилюк гуляет на свадьбе у родственника. Он был человек большой физической силы и аппетита. По уверениям свидетелей, он сначала выпил ведро водки и один с'ел окорок. Затем выстрелами в потолок он разогнал гостей и потребовал простоквашу, огурцов и женщину. Ему выдали сильно подвыпившую девицу, и он заперся с ней в комнате новобрачной. Двенадцать часов он оставался наедине с девицей, пока не отыскался его след и заведующему книжной базой товарищу Шульману не при-

казали арестовать Базилюка. Шульман постучался, Базилюк ответил выстрелом в дверь. Шульман ознакомился с условиями местности — этому его учил Нечай. В комнате, где заперся Базилюк, была вторая дверь. Она была загорожена шкафом. Шкаф отодвинули и при помощи ножиц подняли внутреннюю задвижку. Дверь открылась. Гремя тяжелыми сапогами, Шульман набежал на удивленного Базилюка, приставил огромный смит-вессон к его широкой волосатой груди и сказал: «Вы арестованы». Я думаю, что Базилюк многое видел в своей жизни, но самое удивительное, что ему довелось увидеть, был этот пожилой, близорукий, бородатый человек с огромным пистолетом. Курсанты отобрали у Базилюка оружие и гранаты. Он был ошарашен настолько, что дал себя посадить в автомобиль. Шульман спрятал за пояс оружие и некоторое время меланхолически оглядывал обстановку — огурцы, простоквашу и девицу, равнодушно причисляющуюся у зеркала. (Базилюк подарил ей миллион керенками). Конец этой новеллы такой: Нечай, узнав об этой истории, с ласковым удивлением сказал о Шульмане: «Сволочь четырехглазая... А он может и контрика шлепнуть».

Мы шли по следам погрома. Вывороченные двери висели на сорванных петлях, двери, расколотые ударом обуха, ставни, разбитые прикладами. В комнатах, похожих на щели, невообразимый вихрь превратил в щебень, пепел и клочья бедную утварь нищих. Растерзанные женщины, сумасшедшие, изнасилованные, все еще кричали звериными голосами. Мертвые смотрели на нас тускло, оская зубы в нечеловеческой улыбке. Клочья рыжих и черных волос были в их сведенных смертью пальцах. Лошади шарахались от трупов, трупы лежали поперек и вдоль узенькой, засыпанной стеклом и заметенной пухом улицы. Мы шли по следам Симона Петлюры и его атамана Удовиченко, мы шли по трупам тысячи жертв, оставленных Симоном Петлюрой в этом городе. В шинке возле кладбища мы настигли двух пьяных из куреня сичевых стрельцов. В комнате был омерзительный запах блевотины, самогона и крови. В сенях лежал голый труп старика. Во рту у него торчал отрубленный половой ор-

ган. «А ну, сукины дети, стройся к расчету» — сказал Костик-Косточка, вежливый курсант из Харькова. Сичевик вышел, широко расставляя ноги, розовый от сна, с алыми, как у бурлака, губами. Другой был с виду подросток, он плакал. «Дядя, я пастух, меня набили лозами. Я вовсе пастух». «Опросить население, — приказал наш командир, чех из военнопленных, — в случае подтвердится, привести в сознание и отпустить». Женщины кричали и плакали во дворе. «Куда ведешь?» — спросил сичевик. «В штаб, — ответил Косточка, — в тот самый штаб, к самому Духонину. А ну, становись». Дети шуршали в кустах у плетня. «Геть свитселя, хлопчики» — сказал сичевик. Он стоял у акации, упираясь локтем в ствол и поддерживал ладонью голову. Арсенальный рабочий Юра юдзял карабин, и дуло остановилось в воздухе.

Пыль скрипела у меня между зубами, визжал блок у колодца; расплескивалась вода и ржал жеребец командира. Мне хотелось пить, я пил прямо из ведра, вода лилась по подбородку за ворот, и выстрел прозвучал глухо, потому что у меня голова на три четверти ушла в ведро. Гимнастерка насквозь промокла, но было необыкновенно приятно от влажности и прохлады. «Другой не пастух, он сын пономаря, недоросток, своей волей пошел, сволочь. Стало быть, распорядиться?» «Распорядись» — сказал командир и, оттянув стремя, примерился сесть на коня. «So ist die Geschichte». Мы ехали рядом, и жеребец, услышав еще один выстрел, слабо повел ушами. Моя кляча уныло пылила по шоссе.

Вечером настигли сичевиков у хутора за полотном дороги. Хутор был, как остров в степи, остров пирамидальных тополей. Соломенные крыши торчали из орешника, как семья грибов. Похоже, что здесь ночевал Хома Брут, когда шел из Киева. Был небольшой бой. Это было важно только потому, что это был первый настоящий бой в моей жизни. Никакая пасифистская проповедь не могла разрядить наши чувства и ружья в такие минуты. Мы были заряжены внутренней правотой, справедливостью нашего дела. Сто восемьдесят человек преследовали несколько сот хорошо вооруженных наемников. Мертвецы в раз-

громленном городе были дети нашей республики, сожженные скирды хлеба были хлебом республики. Бой, неохотно принятый петлюровцами, походил на ученье, на маневры, военную игру. Так его воспринимали впервые идущие в бой и горячились и теряли выдержку. Опытные удерживали неопытных и ретивых. Но очень скоро и мы, и враги поняли, что этот теплый вечер, и мирно летающие, жужжащие жуки, и острый серп месяца над тополем, и жалостное мычание коровы, и лай собак, вечер, совершенно такой же, как десять, как сто прожитых вечеров, могут быть последними в нашей жизни.

Правду говорят, что нельзя привыкнуть к жалостному посвисту пуль и сердитому хлопанию пулемета. Страшно итти по полю и вдруг с флангов, точно над самым ухом, услышать прерывистое стрекотание. Надо честно сказать, хочется припасть животом к земле, уйти в землю, под землю, катиться, позти на брюхе назад, подальше от этого проклятого места. Но тут же разбирает стыд, стыд перед чехом-командиром, перед Костиком, перед арсенальцем Юрой, перед ста восьмьюдесятью стрелками отряда. Поэтому только ежишься и стоишь, вцепившись пальцами в ствол винтовки, пока вдруг сзади не услышишь свирепого окрика: «Ложись, сука!» Удивительнее всего то, что кричат боевой Косточка или Юра, уже видевшие виды на Донбассе и на Северном Кавказе в боях с волчанцами и марковцами. Оказывается, не стыдно ложиться, когда надо лежать, и вот, лежа в траве, в предвечерней росе, думаешь, где и в чем настоящая храбрость бойца. В конце концов решаешь, что итти в лоб на пулемет — против человеческой природы, но есть случаи, когда тебя бросает вперед целесообразность, товарищеское чувство, наконец самый страх, желание скорее увидеть опасность и подавить в себе страх смерти. Впрочем невозможно представить себе смерть, когда четверть часа назад ел хрустящее, пахучее яблоко, когда крепко проспал ночь в стоге пахучего и колючего сена, когда утром купался в заросшей камышами неглубокой речке. Умереть в тот самый миг, когда так ощущаешь, так принимаешь всеми чувствами жизнь, когда тебе двадцать три года?..

Мы лежали в траве, высокой, по пояс взрослому человеку траве. Теплый воздух дымился над нами столбами мошкар. Шесть человек лежали у пулемета и слушали нарастающую и затихающую ружейную перестрелку. Маленькая, желтая, похожая на лисичку собака пробежала по меже, увидела нас и остановилась. Кто-то тихо щелкнул языком, и она вильнула хвостом и легла на землю, взвизгивая, виляя хвостом, вызывая на игру. В эту минуту дернулся и, содрогаясь, загрохотал наш пулемет. Собачка припала к земле и прижала уши. Зеленый зверь рычал и плевался огнем, и люди лежали близ него так, как будто держали его за ноги. Так запоминаешь всякие пустяки—перепуганную насмерть собаку, похожую на лисичку, простреленные и расколотые пулями глиняные горшки на частоколе. Это не беллетристические детали, не способ обойти главное, а именно то, что почему-то запомнилось из всего страшного вечера. Конец боя. Счастливая усталость. Не торопясь, по прямой шагает старая кляча и вдруг делает осторожный зигзаг. На пыльной дороге на боку, подложив кулак под подбородок, точно высматривая огни в ночи, лежит убитый. И тогда вдруг снова вспоминаешь о смерти и о том, что она могла притти к тебе, как пришла к нему в июльский вечер, когда столбами в поле дымилась мошкара, низко летали жуки и еще ниже, почти на земле, летали пули.

Прошло двенадцать лет. Вот я сижу за столом, в чистой и тихой комнате, в окно светит весеннее солнце. Здесь мой стол и книги, и постель, тишина и покой зрелости. Но как хочешь вернуть прошлое, это прошлое с стоверстными переходами, с боями и кровью, и ненавистью, и боевой дружбой, и молодостью, молодостью, которой никак не вернешь из прошлого. Еще будут бои и боевая усталость, и боевые товарищи, но не будет той легкости, легкого сна, легкой любви и неутомимости. В ту ночь петлюровцы оторвались от нас и ушли к польской границе. Лазейка в польской границе гостеприимно открылась перед ними, псы возвращались на псарню. При случае их снова спустят с цепи и пустят по нашим следам. Двенадцать лет отделяют нас от этих дней, от этих могил, наших братских могил в стороне

от шляха с веткой зелени, воткнутой в могильный холмик. Косточка, прозвище которого только дошло до меня, — он остался в моей памяти двадцатилетним, с золотым клоком из-под фуражки под розовым курсантским околышем. Косточка лежит у польской границы, в густом орешнике, с рассеченной пулей бровью. Великолепная и счастливая смерть. Запомним ее. Его убили в разведке, он упал с коня, и конь протащил его несколько шагов по росистой траве и остановился, потому что мертвые пальцы Косточки были опутаны ремнями поводьев, и мертвый всадник остановил коня. Четыре гранаты бросили в окно хаты, где засели петлюровцы, и Косточка был четырежды отомщен. Его долго поминали товарищи, и я вспомнил его в 1928 году в Париже, когда часовщик Шварцбард убил головного атамана Симона Петлюру.

Это был эпилог трагедии. Первый акт мы видели на Украине, он стоил жизни тысячам убитых, тысячам убитых на берегах Днепра. Эпилог был на берегу Сены. Там убили убийцу.

Эвакуация. Красные звезды из фанеры покоробились от дождей и солнца, вылиняли кумачевые лозунги. Все это вряд ли мы замечали в обыкновенный день, но в день нашего отступления все казалось символом, жестоком напоминанием о том, что мы на исходе лета, что идет суровая осень и надо уходить, чтобы не погибнуть от заморозков. Остающиеся с подозрительным вниманием поглядывали на нас, они были предупредительно вежливы, и от этой вежливости хотелось ругаться и стрелять в наглухо запертые ворота, спущенные шторы. У красноармейского театра стоял комендант Степанченко, инвалид, немного истерик, как все инвалиды. Он со слезами выругался и выстрелил в щит, заклеенный афишами. Афиши красноармейского театра трепетали под легким ветром, как клочья рваных знамен. На этих бумажных знаменах были более чем невинные Кины и Уриэли Ажосты, но красная звезда в заголовке превращала их в настоящее боевое знамя. Вот знакомый дом, здесь квартира либерала, сиониста, общественного деятеля. У него два сына, Бузя и Зяма, и дочь Бэба. Господин общественный деятель, как все господа, своевременно уехал в

Одессу и Румынию. Бузя и Зяма устроились клубными инструкторами в агитпросвете, Бэба играла на рояле в красноармейском кинотеатре. Они поили нас чаем с чудесным старорежимным вареньем. Они умели вставить неглупое слово в споры о пролеткульте и Маяковском. В этот жестокий день мы шли по Крещатику, по мостовой, а не по тротуару. В нас еще не стреляли из скон, это началось днем позже. Мы шли на пароходную пристань, скромные узлы не очень обременяли нас. Весельчак-извозчик прокатил мимо и ехидно спросил: «Ото вся ваша Украина от Подола до Демиевки». Инструкторы агит-

просвета, Зяма и Бузя, стояли в воротах проходного двора. Двусмысленная улыбка блуждала по их лицам, Бэбочка смотрела поверх нас в безоблачное небо. Она всегда любила природу. Мы были еще молодые, и нам было обидно, мы круто свернули вниз мимо «пролетарского» сада, который через два дня стал снова купеческим. Впрочем не надолго. Буксиры уводили вверх по Днепру тяжелые баржи. Утром полупановские пушки промили Киев, и отряды Чека с боем отходили на Чернигов. В этом была горечь поражения, но мы уже знали радость победы.

(Продолжение следует)

Путешествие в Сибирь

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ

То день, то ночь,
То ночь, то день.
Три. Четыре. Пять.
 Вверху звезда.
 Внизу олень.
Вдали рассвет опять.

Встает медведицей
Сибирь,
На север, на восток
 Пять тысяч
 Километров в ширь
Пять тысяч поперек.

Лохмато-белый
Цвет высот,
Саянских гор леса.
 Сибирь то лапу
 Пососет,
То плюнет в небеса.

Иркут река.
Ока река.
Еще река Китой.
 Ломают Ангаре
 Бока,
Играя высотой.

Идут года.
Бегут года.
Три. Четыре. Пять.
 Бежит олень.
 Бежит звезда.
Вдали рассвет опять.

В международном
За столом
Я слушаю пургу.
 Равнина мира
 За стеклом
Хохочет на бегу.

Товарищ мой
Чубук сосет,
Он морщит крепкий лоб:
 Лохмато-белый
 Цвет высот
Не любит рудоком.

Качнет вперед,
Качнет назад.
— Хо-хо, — пыхтит сосед, —
 На сотню тысяч
 Киловатт
В тайгу ворвался свет!

Мелькнет
Нефритова гора,
Опять пойдет тайга,
 Далеко хнычет
 Ангара,
Меня берега.

Идут года.
Бегут года.
Три. Четыре. Пять.
 Летит экспресс.
 Летит звезда.
Вдали рассвет опять.

Ни волков нет,
Ни медведей,
Над мостом Ине-Гол.
 Везем нефрит,
 Везем людей
Через страну монгол.

Я, презиравший
Пух усов,
Щетинюсь бородой.
 Ни гор Саянских,
 Ни лесов,
Я — старичок седой.

В работу взяла
 Ангара
 В сорок восьмом году.
 С Китой затеяли
 Игру
 Под медную руду.

Еще нас ждет
 Река Иркут:
 Под нею медь и ртуть.
 В тайге и под тайгою
 Труд
 Себе проложит путь!

Идут года.
 Бегут года.
 Три. Четыре. Пять.
 Хрипят часы.
 Свистит звезда.
 Вдали рассвет опять.

Сибирь, Сибирь,
 Страна моя,
 Как обмелел Байкал!
 Сибирь, Сибирь,
 Не помню я,
 Где твой олень скакал.

Сибирь, Сибирь,
 Уже три дня
 Ищу твои леса.
 Сибирь, Сибирь,
 Возьми меня,
 Тряхни за волоса!

Как люстра, небеса
 Горят
 С утра и до утра: —
 На двести тысяч
 Киловатт
 Сияет Ангара.

Ночами слышу
 Хор звезды,
 Оркестры тишины.
 На Миссисипи —

Шум воды,
 На Темзе — всплеск волны.

Идут года.
 Бегут года.
 Три. Четыре. Пять.
 Поет тайга.
 Поет звезда.
 Вдали рассвет опять.

Беру без денег
 В лавках снедь.
 Я в пище знаю толк.
 Пельмени подает
 Медведь,
 Салфетку тычет волк.

Я пью голландский
 Шоколад.
 Я масло ем с икрой:
 На триста тысяч
 Киловатт
 Сияет Ангарстрой!

Пути-дороги
 На Сибирь,
 На север, на восток.
 Пять тысяч
 Километров вширь.
 Пять тысяч поперек...

— Иркутск! — вставайте
 гражданин!
 Кричит мне проводник.
 В пустом вагоне
 Я один
 Над картою
 Поник.

Товарищи!
 Нам сквозь года
 И явь и сон мешать!
 Стоит вагон.
 Горит звезда.
 Вдали рассвет опять.
 1930 г.

Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹)

За пыльным окном — во всю стену — желтая береза, скошенный луг, стеклянное озеро. На подоконнике — дохлые мухи. Пыль и паутина. На обеденном столе — грязные тарелки, бутылки, остатки еды на бумажках.

— Странное впечатление, — сказал Налымов.

Мари, Лили и Налымов продолжали сидеть в столовой среди нераскрытых чемоданов. Наверху невнятно гудел голос Хаджет Лаше. Тоска — хуже чем на разбитом вокзале во время эвакуации.

— Пять стульев у стола, пять рюмок, похоже — здесь было деловое заседание. Чрезвычайное изобилие окурков. Дети мои, похоже — здесь хаза...

Лили опять всхлипнула. У Мари концы красивых бровей полезли вверх по вертикальной морщинке:

— Лаше — бандит, было видно сразу... Плевать, — завтра пою в шантане... Да чтобы я не нашла мужика с долларами, — только вы меня и видели... Вот Лильку жалко.

— Мари, возьми меня горничной, я здесь боюсь...

— Спроси у хозяина... Для чего-нибудь да нас привезли в это чортово место... Василий Алексеевич, ну?

— Не знаю, не понимаю, — сказал Налымов. — А не все ли равно... Логично мы должны докатиться до бандитизма... Всякая идея, деточки, создает

свою мораль... Священная собственность, честность, неприкосновенность личности, все уютные добродетели буржуа, наживающего шесть процентов годовых, расстреляны пушками... Шестипроцентный буржуа, ограбленный в чистую, галдит о революции... Версальский мир узаконил массовый грабеж, сверхпроцентный, грандиозный, небоскребный... Таскать бумажники из кармана нехорошо только потому, что это не предусмотрено в Версале, но если сразу вытащить семьдесят пять миллионов бумажников, по две тысячи долларов в каждом, то это уже не воровство, а репарация. Большие цифры — первый закон новой морали... В данном случае, я надеюсь, наш умный друг, Хаджет Лаше, ставит дело широко, в контакте с версальской политикой, и в Баль Станэсе не станут пачкать совесть на мелочах... Прочем, если хотите, я могу поговорить с ним на эту тему...

Покуривая на чемодане, он говорил вполголоса. Его не слушали. Лили, хлинув носиком:

— Пыль... Нежилое... Бандиты собираются... Не хочу, Мари, возьми меня в горничные, — ты счастливая...

Мари раздула ноздри, стучала туфелькой. Время подходило к обеду, — в Стокгольме позавтракали наспех. Налымов осмотрел буфет, — одни сухие корки и мышиный помет. Пошел на кухню, — там валялись какие-то мешки, кирпичи, связки веревок, повсюду — пустые бутылки и пепел. Вернулся в столовую, потирая руки:

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 с. г.

— Хаза, несомненно... Они что-то здесь затевают серьезное... Предлагаю открыть консервы и перекусим...

Затем голос наверху оборвался. Хлопнула дверь. Неверные шаги по лестнице. Вошла Вера Юрьевна, устало села у стола:

— Лаше пошел вызывать по телефону машину. Поедет в поселок и привезет женщин убирать дом. Ужин будет горячий.

Мари, вглядываясь в нее, спросила резко:

— О чем говорили? Почему у тебя физиономия перекошенная?

Не отвечая, Вера Юрьевна медленно прикрыла ладонью глаза. Все трое глядели на ее слабую, худую руку, туго охваченную у запястья суконным черным рукавом. Лили, вскрикнув, бросилась к Вере Юрьевне, обхватила изо всей силы:

— Что случилось, что случилось?

Вера Юрьевна подняла, уронила плечи. Сильно сжав глаза, отняла руку. Налымов, хихикая, потянул к себе чемодан с закусками. Раскрыл, шарил.

Она сказала:

— Вот что, Василий Алексеевич, уезжайте-ка вы отсюда... Левант наднях возвращается в Париж, вы — с ним... (Вдруг сердито затрясла волосами)... Я не хочу вас здесь. Не хочу ваших шуточек... Хочу быть одна, поняли? (Мрачными глазами — в окошко)... Все шуточки... Ничего шуточками не прикроешь. Трусость. Пошлость. Пусть — ночь, пусть — мрак, пусть — ужас, пусть — трагедия... (Станным, не своим голосом)... Душе нужен простор... Пусть ледяная ночь, безнадежность... К чорту шуточки.

Налымов подмигнул всем лицом:

— Только-что говорил: современности нужны большие цифры, в маленьких — тесно... Разбойничать, так уж разбойничать в масштабе, и — душе просторнее... (Вера оскалилась от омерзения)... Вера Юрьевна, хихикать могу перестать, если тебе противно... Но в Париж не поеду, — там мне будет скучно...

Она опустила голову. Опять все глядели на Веру Юрьевну. Ясно, что наверху ей приказали молчать. У Лили от страха стучало сердце.

— Он будет говорить с вами, с каждой отдельно, — сказала Вера Юрьевна. — Можете вы понять наконец, что у меня истерика...

Она упала на стол, — лицом в руки, схватила себя за волосы. Ступни ног повернулись носками внутрь. Лили осторожно отошла. Мари, чиркнув спичкой, не закурила, огонек догорел до ногтей. Налымов с усилием тащил пробку от коньяка, откупорил, пошел на кухню, принес стакан воды:

— Отхлебни глоток, Вера...

Она локтем отстранила стакан. Села прямо, почти спокойная:

— Летим на дно водоворота... Тени какие-то ночные... Разве мы живые? Только вопль от человека, а самого человека давно нет. Просто мы эмигранты, шелуха, надутая ветром. Лаше мне сказал, — мы здесь для того, чтобы бороться с большевиками террором... (Мари присвистнула). Сказал, — вам бы хотелось сидеть в Париже, ждать, когда союзники возьмут Петроград, и вернуться на готовое в туалетах от Пакэна. Союзные державы предлагают самим русским эмигрантам идти в авангарде. Авангард — Лилька, Мари, Вася!.. Мы должны шпионить, провоцировать, заманивать, отравлять, душище кого укажут... Лаше говорил о великой белой идее... Железный авангард — три проститутки и спившийся кот. Но не важно, — за нами стоят союзники, великие цивилизации... Для грязной работы посылают нас... Оказываемся, в первый же день приезда мы, три женщины, были включены в «Лигу борьбы за восстановление Российской империи»... Завтра даем клятву... Нарушение клятвы, выход из лиги карается смертью... Василий Алексеевич, прошу тебя — уезжай сегодня же... Ты еще не связан...

Серовато-мутными глазами Налымов тускло глядел на Веру Юрьевну, стоял, опустив по-военному руки, очень серьезный, даже важный. Она чуть-чуть, уголком рта, улыбнулась ему...

— Никак нет, в лигу не запишусь, Вера Юрьевна... Не почему иному, как потому, что не желаю одним волоском пожертвовать для европейской цивилизации... С большевиками тоже бороться не стану, большевиков боюсь... Будет

время, когда от них никуда не уйдешь, ни на какой остров не скроешься, и это будет скорее, чем думают, — у них идея, а у нас идеи нет... Признаю себя шелухой, подбитой ветром, но при всем том из Баль Станаса не уеду, Вера Юрьевна, никак нет...

33

— ... В сегодняшнем заседании, кроме членов лиги, присутствуют дорогие и уважаемые гости, а также кандидаты в лигу... Разрешите огласить повестку дня... Первое: принесение кандидатами торжественной присяги. Второе: оглашение письма генерала Сметанникова к морскому в Стокгольме атташе Североамериканских Соединенных Штатов. Третье: текущие дела и дальнейший план работы...

Хаджет Лаше снял черепаховое пенснэ и оглянул собрание. За раздвинутым обеденным столом (в мебелированной квартире, занимаемой генерал-майором Гиссером) сидело девятнадцать человек. Направо от председательствующего Лаше (в коричневой черкеске с полковничьими погонами) играл карандашом граф де-Мерси. Налево — маленький, сухой, востроносый американец в военном френче — адъютант атташе САСШ. Напротив блестел сальной лысиной (было душно, хотя окно в ночной сад открыто) генерал-майор Гиссер с отчетным животом, обывательской бородой, жесткими и пыльными усами. (Полосатый дешевый пиджак и белый галстук). В восемнадцатом году военный комиссариат Петрокоммуны почему-то поверил в его офицерскую честь (должно быть, приняв обывательскую тупость за преданность долгу) и послал Гиссера военным агентом в Швецию. Некоторое время он отправлял из Стокгольма курьером в Питер пачки газетных вырезок, куда не удалось выписать оттуда жену, дочь и сына. После этого он счел свои моральные обязанности исчерпанными. Теперь сильно нуждался в деньгах.

По сторонам его сидели нервный, рыжебородый Эттингер, потертый красавец Вонлярлярский, поручик Биттенбиндер и смуглый, темноглазый, с залысым лбом, с женственным ртом поручик Щенснович (он же Извольский).

На одном конце стола, у раскрытого окна, — четверо рослых, челоночно-румяных шведских офицеров, на другом — датчанин, коммерсант, Вольдемар Ларсен, Александр Левант и три дамы — Вера, Мари и Лили. Налымов — бочком на стуле, позади них.

— Господа, создатель лиги и почетный ее председатель, генерал Сметанников, находится в настоящее время в России, где с опасностью жизни производит работу по укомплектованию сил для борьбы изнутри. Мне поручено генералом Сметанниковым вести работу лиги на периферии. Угодно вам считать меня заместителем председателя? (Голос Биттенбиндера: — Просим, просим... — Нескольку хлопков)... Благодарю за честь... Господа, предлагаю считать заседание открытым, приступим к принятию присяги.

Хаджет Лаше перегнулся через стол к Извольскому и указал глазами на угол комнаты. Там на круглом столике стоял закрытый крепом и убранный хвоей и живыми цветами, повидимому, фотографический портрет в пласовой рамке. Извольский и поручик Биттенбиндер (соломенный блондин, со вздернутым носом, со шрамом на щеке) по военному ловко вскочили, выдвинули столик на середину комнаты и стали по сторонам на карауле, лихо вздернув подбородки.

Лаше, опять вздев пенснэ, вынул листочек, строго через стекла взглянул на дам и предложил подойти к столику. Вера — хмуро, Лили — растерянно, Мари, снисходительно усмехаясь, поднялись и встали перед портретом. (Члены лиги также поднялись. Иностранцы перешепнулись и остались сидеть).

— Вступающие в священную лигу борьбы за восстановление Российской империи княгиня Вера Юрьевна Чувашева, Елизавета Николаевна Степанова, дочь зверски замученного большевиками генерал-майора Николая Александровича Степанова, и Марья Михайловна Лещенко, урожденная Скоропадская, повторяйте за мной слова присяги... Помытуйте, что под этим траурным крепом — символ спасения и величия нашей родины... (Поправила пенснэ и — по бумажке, раздельным, торжественным голосом): «Я прочла и

одобрила предложенный мне для подписи текст присяги. Я подписала ее, вполне понимая ответственность за нарушение ее. Всей моей жизнью, всеми моими помышлениями, с радостью вступаю я в организованную по-военному группу и клянусь до последнего издыхания служить отечеству, не думая о вознаграждении или личных преимуществах. Ради восстановления его я отдаю себя в полное распоряжение комитета лиги. Если я вольно или невольно изменю святому делу, я тем самым сама себя осуждаю на смерть»...

Вера Юрьевна, Елизавета Николаевна и Марья Михайловна пробормотали вслед за Лаше слова присяги. Поручик Биттенбиндер, быстро наклонившись, приподнял конец креповой ленты:

— Поцелуйте, медам...

Клятва была принесена. Дамы вернулись к столу. Члены лиги сели. Лаше с мягкой улыбкой — Налымову:

— Мы никого не принуждаем вступать в лигу. Дело спасения родины — дело совести. Но позвольте еще раз повторить вам, патриоту, дворянину, офицеру императорской гвардии, наше горячее желание видеть командира Серебряной роты, Налымова, среди нас...

Вера Юрьевна за спинкой стула схватила руку Василия Алексеевича. Его красноватое, неопределенно улыбающееся лицо покивало председателю...

Хаджет Лаше нахмурился. Левант, торопливо подойдя, о чем-то зашептал ему на ухо. Генерал Гиссер строго и неодобрительно, Биттенбиндер угрожающе поглядывали на Налымова. Лаше кивком отпустил Леванта:

— Господа, подполковник Налымов наш друг. Его колебания не должны создавать впечатления недоверия к нему. Будем надеяться, что они скоро окончатся, и мы братски обнимем нового сочлена. (Короткие, как выстрелы, аплодисменты)... Теперь позвольте огласить письмо генерала Сметанникова, подписанное по передоверию мною, генералом Гиссером, лейтенантом Щенновичем и секретарем стокгольмского отделения лиги поручиком Биттенбиндером...

Он вынул из портфеля листы плотной бумаги, благоговейно развернул, поверх пенснэ с придушенным вздохом взгля-

нул на траурный портрет и начал читать, переводя фразу за фразой по-французски — с поклоном в сторону графа де-Мерси и по-английски — с поклоном в сторону адъютанта американского атташе:

— «Стокгольм. Морскому атташе САСШ американское посольство... Милостивый государь, настоящее положение в России требует немедленной военной поддержки со стороны союзников против большевиков. Так как за последние месяцы некоторые газеты во Франции, Англии и Америке предприняли поход против вмешательства, то крайне необходимо документально осветить политический характер и незаконный образ действия большевиков. Лишь тогда, когда общественное мнение союзных народов получит фактические доказательства политики большевиков, сможет Россия надеяться на действительную военную помощь против этих политических интриганов и авантюристов. В высшей степени важно, чтобы мы могли представить к предполагаемой мирной конференции (на Принцевых островах) как можно БОЛЬШЕ ДОКУМЕНТОВ, доказывающих злодеяния этих лжесоциалистов...»

Граф де-Мерси и адъютант военного атташе САСШ значительно переглянулись. Граф де-Мерси — успокоительно в сторону Хаджет Лаше:

— Мы слушаем внимательно.

Лаше, кашлянув в ладонь, продолжал:

— «За последние месяцы Стокгольм был центром, в который свозились все важные документы большевиков, а также большие ценности в кредитных билетах, валюте, золоте, платине и драгоценности царской короны. Указанное имущество хранится большевиками в трех помещениях в Стокгольме, местонахождение которых мы немедленно можем установить. Между прочим нам категорично удалось установить, что большевики получили следующие суммы: сто двадцать семь миллионов рублей русскими кредитными билетами, два миллиона американских долларов, двести тысяч английских фунтов и четыре миллиона франков. Нам совершенно известно, что на частных квартирах в Стокгольме хранятся личные драгоцен-

ности семьи Романовых, а также императорская корона, держава и скипетр, осыпанные бриллиантами мирового значения, шапка Мономаха, бриллиант «граф Орлов» в четыреста каратов, несколько десятков пудов жемчуга и горностаевая мантия».

— Тьен! — очень заинтересованный проговорил граф де-Мерси. Американец поджал губы. У многих из членов лиги светились глаза.

— «Полковник Магомет бек Хаджет Лаше, который перенес от большевиков неслыханные нравственные и физические страдания и является человеком железной воли и энергии и пламенным патриотом, предлагает достать все документы большевиков. Он готов принять на себя всю ответственность хотя бы перед публичным судом. Он имеет свою собственную организацию — стокгольмское отделение лиги — из храбрых и вполне надежных людей, с которыми предполагается посетить указанные помещения и овладеть деньгами и документами...»

Четыре шведских офицера сдвинулись головами, перешептались. Граф де-Мерси, собрав горизонтальными морщинами лоб, разглядывал кончик карандаша. У американца губы стали, как ниточки.

— «Большевистская пропаганда подкапывает социальный строй всего мира, и крупные суммы в их руках употребляются на подкуп всех народов. Потеря на полмиллиарда ценностей и опубликование всех их документов явились бы для большевиков большим ударом, чем даже военная экспедиция, и помогли бы всем странам избежать будущих затруднений.

Полковник Магомет бек Хаджет Лаше снесся по вышеуказанному делу со шведскими властями и получил сообщение, что в отношении посещения квартир ему НЕ СЛЕДУЕТ ОПАСАТЬСЯ каких-либо затруднений, но что Швеция как нейтральная страна не может принимать участия в осуществлении плана.

— Мы хотим совершенно ясно установить, что по изъятии документы должны попасть в руки американского посольства или его представителей и от лица Америки как мирового арбитра пред-

явлены будущей мирной конференцией...»

— Очень хорошо, — сказал американец.

— «Что касается денег и ценностей, то мы хотим, чтобы они были употреблены на образование русской белой гвардии для непосредственных действий против большевиков. Все конфискованные деньги лига, в полном сознании долга, внесет на текущий счет в любой из банков, какой укажут союзники».

— Разумно, — мятым голосом проговорил генерал Гиссер.

— «Настоящее письмо является сводкой тех разговоров, которые лига предварительно вела с предшественником вашего, господин атташе, адъютанта, лейтенантом Норманом Стэнес. Мы сочли разумным посвятить его во все подробности плана, зная, что он как истинный друг России был в состоянии с успехом целиком осуществить его. Лейтенант Стэнес сказал нам, что он сомневается, захочет ли американское правительство открыто поддержать материальными средствами нашу организацию, но рассчитывал, что ему удастся побудить некоторые русские партии отдать свои средства для этой цели.

Для исполнения нашего плана требуется двадцать пять тысяч крон для следующих надобностей: для найма квартир, прилегающих к вышеупомянутым помещениям (предварительные переговоры уже начаты); для найма дачи где-нибудь вне Стокгольма, куда свозились бы конфискованные деньги и документы (такая дача уже имеется); для найма автомобилей, покупки оружия, подкупа разных лиц, имеющих доступ в помещения, на слезку за большевиками.

Лейтенант Стэнес уже начал переговоры с известными русскими банкирами Левинсоном и Немировским для получения нужной нам суммы. Но неожиданный отъезд лейтенанта Стэнеса испортил все дело. Поэтому мы берем на себя смелость обратиться непосредственно к вам, господин атташе, в надежде, что вы окажете вышеизложенному полное внимание, ибо каждый день дорог и большевики могут покинуть Стокгольм и увезти документы и ценности. В надежде на ваш возможно

скорый ответ пребываем с совершенным почтением...»

— Следуют наши подписи, — сказал Хаджет Лаше, бросая пенсэ на листки письма. (Минута молчания за столом, чирканье спичек, дымки папироса)... Итак, господа, мы выходим из подполья и начинаем действовать с открытым лицом, — перед нашими друзьями, разумеется. Нам нужна нравственная поддержка, нужны средства, нужна защита. Деятельность лиги покрыта тайной только для наших врагов. Перед союзниками мы не имеем тайн, притом уверены (с очаровательной улыбкой) в скромности здесь присутствующих... Господа, вот краткий отчет деятельности лиги за год... Мы получили от генерала Трепова семьдесят две тысячи крон, от принца Ольденбургского пятнадцать тысяч крон и триста тысяч думских рублей. Эти суммы почти целиком поступили в распоряжение генерала Сметанникова для внутренней подрывной работы, для переброски нужных нам лиц через красную границу, для покупки оружия и прочее... Далее: лига организовала в Стокгольме бюро, куда вошли офицеры шведской королевской армии (поклон в сторону молочнорумяных шведов), задача бюро — формировать в Скандинавии и на побережья Балтики белые отряды для борьбы против Петрограда. (Положил короткие руки на стол и пальцы сунул в пальцы). Наконец, господа, я должен огласить наиболее щекотливую сторону моего доклада и делаю это с сознанием нравственной правоты. Дело в том, господа (в сторону графа де-Мерси и американца), что по русским полевым законам семь кадровых офицеров имеют право вынести смертный приговор государственному преступнику и привести приговор в исполнение.

— Вот как? — беспечно спросил граф де-Мерси.

— Да, граф... И пусть это не покажется вам проявлением личной мести или нарушением гуманности: лига приговорила к смерти и казнила четырех опаснейших большевиков, буквально купавшихся в крови, ближайших друзей, цепных собак Ленина — Якова Фейгина, Иосифа Домбровского, Самуила Либмана и Алексея Фокина, он же —

Сруль Браутман... Совершая этот акт, лига защищала благосостояние и покой миллионов культурных семейств, которые могли стать жертвой кровавого иступления вышеназванных садистов и лжепророков... Протоколы о времени, месте и подробностях казни будут в свое время переданы в американское посольство... Господа, я кончил. Господин лейтенант, позвольте вам вручить письмо для передачи господину атташе.

Американец, секунду колеблясь, взял письмо и медленно засунул его в набедренный карман френча. Лаше предложил обменяться мнениями. Все головы повернулись к графу де-Мерси. Он сломал кончик карандаша:

— Кажется, нужно, чтобы я высказался? (Полез в жилет за стеклышком моногля и, не бросая его во впадину глаза, вертел в пальцах). Очаровательные дамы и дорогие господа! Что я могу прибавить к словам энергичного Магомета бек Хаджет Лаше? Bravo... Bravo... Я очень живо провел сегодняшний вечер. Оказалось, у моих русских друзей чертовски много предприимчивости... Надеюсь, в Париже это воспримут также с чувством удовлетворения...

Покинув заседание, граф де-Мерси и адъютант американского атташе не спеша шли по Ваза гаттен. Прохожих было мало. Бесшумно вверх и вниз по главной улице проносились черные машины. У входов кино еще горели фонари. На перекрестках светились рекламы, — вспыхивала зубная щетка, из туба текла паста, мигала и пропадала огненная птица над крышей дома, оповещая о желудочной минеральной воде. Лиловатые ртутные лампы озаряли витрину табачной лавки. Окна домов темны. Ночной ветерок неприятно подувал с залива.

— Все-таки маленький городок, неправда ли? — сказал граф де-Мерси.

Американец шагал, глядя под ноги. Он был молчалив. (Граф де-Мерси с юмором поглядывал на него сбоку). На этот раз американец заговорил:

— Как вы относитесь к сообщению полковника Магомета бек Хаджет Лаше?

— Татарин врет процентов на семьдесят пять.

— Сегодня мне показалось, что нас втягивают в грязное дело.

— Это не совсем так, дорогой друг.

— Вы находите, что бывают дела грязнее?

— Сегодня нам демонстрировали один из участков фронта, снабженный не совсем обычным оружием, — только всего. Если большевики выволакивают против нас всех оборванцев всего мира, мы в праве спустить на них всю человеческую сволочь... Хороший профессиональный негодяй иногда стоит целого корпуса инфантерии.

— Я предпочел бы все же корпус инфантерии, — сурово сказал лейтенант. — Американская точка зрения может казаться слишком суровой, пуританской, но с этим приходится мириться. За тридцать серебрянников кровный американец не продаст вечного спасения...

— Тьен! Это красиво, — граф де-Мерси сделал неопределенный жест.

— Если мы только коснемся устоев нравственности, единственной непоколебимой реальности, Америка в тот же день взлетит на воздух... Я бы хотел выскоблить из памяти сегодняшнюю прогулку по ту сторону морали.

— Насколько мне не изменяет память, президент Вильсон развивал подобные же взгляды на парижской конференции. Но его, кажется, не слишком настойчиво поддержали в Америке.

— Это наш позор! Президент выражал самые светлые стороны американского духа, наши старые традиции, создавшие Америку и американцев, за его плечами стояла тень генерала Вашингтона. История с президентом наш позор! Война развратила многих. У нас оказалось слишком много денег. Окровавленные пожарища Европы, дешевые европейские руки, разоренная промышленность, — это воистину сатанинское искушение! Вместо нравственных законов, любви к ближнему, равенства и справедливости Америка несет, старому миру нашу технику, наши грандиозные масштабы, наше золото, наш гений... Ослепленные наживой, мы расточаем себя. Мы перестроим старый мир и создадим страшного конкурента... А сами шаг за шагом втянемся в европейскую грязь, очутимся в ней по уши.

— Это ужасно, — сочувственно качая головой, сказал граф де-Мерси.

— Когда я пересекал океан, я думал, что найду Европу, искупившей грехи, смиренной от перенесенных несчастий... И нашел всеевропейский шабаш, торжество наглое и откровенное зла... Русская революция! Мы ждали ее, мы приветствовали освобождение России от феодальной тирании великих князей... Русские воспользовались свободой, чтобы поставить трон сатане... Русские цинично растоптали все нравственные законы. А вы пытаетесь из ведерка залить этот адский пожар... В крестовый поход на Россию! С библейской суровостью вырвать плевелы зла! Не корпуса, — миллионные армии с крестом на шлемах, с крестом на танках! Что я увидел за этот месяц в Стокгольме? Жалкую кучку беспринципных журналистов и мелкие посольские интриги... Да этого полковника Магомета бек Хаджет Лаше, которому место, несомненно, на электрическом стуле...

Граф де-Мерси весело рассмеялся, взяв лейтенанта под руку:

— Я в восторге от вашей молодости и вашей принципиальности... По всей вероятности, вы правы, — Америка настолько богата, что может позволить себе роскошь не быть гибкой... Но все же, как вы думаете поступить с письмом полковника?

— Я передам письмо нашему атташе с моими комментариями.

— Если он все же найдет нужным воспользоваться некоторыми услугами полковника Лаше?

Лейтенант некоторое время шел молча, затем лицо его брезгливо сморщилось:

— Если бы мы были в Америке, не представляю, как бы мне могли задать подобный вопрос... Но здесь, на этих человеческих задворках!.. Если здесь возможно существование Магомета бек Хаджет Лаше, очевидно я чего-то не понимаю... Я подчинюсь...

— Превосходно... Вот! Мы и дошли... Очаровательный маленький кабачок. Вы не голодны? Зайдем. Я уже несколько дней собираюсь побеседовать с вами об одном милосердном деле: продовольствие несчастного населения Петрограда. Повидимому Юденич скоро освободи-

дит город, и во всю остроту встанет вопрос питания... Хотелось бы всю спекуляцию вокруг этого ввести в русло...

34

В старой узенькой улице на Стадене, близ корабельной стенки, при выходе из портового кабака, охотно посещаемого журналистами в поисках живописного материала, Карл Бистрем столкнулся с четырьмя рослыми, румяными шведами. Они были в одинаковых светлосерых шляпах и синих пиджаках. От них пахло пуншем и скандалом. Они загородили тротуар и, когда Бистрем сошел на мостовую, его толкнули в плечо. Он вспыльчиво обернулся, его окружили:

— Эй вы, господин в кепке... Вы умышленно толкнули нашего друга... Потрудитесь извиниться...

Несмотря на свои тяжелые мужицкие кулаки, Бистрем не любил драки. Этих к тому же было четверо. Он пробурчал, насколько мог примирительно, что в сущности не он, но его толкнули. Тогда четверо заорали:

— А! Он еще лжет!

— Лгун и трус!

— Мало тебя били по морде!

Задышав от гнева, Бистрем сказал:

— По морде меня никогда не били...

Прошу дать мне дорогу...

Но его так толкнули в спину, что он едва удержался на ногах. Он торопливо стал снимать очки, пятясь к стене. Но от второго толчка вылетел на среднюю улицу. Уже не помня себя, размахнулся, сбил чью-то шляпу. Сейчас же в его трясущееся от ярости лицо ударили костяной рукояткой стэка... Бросился вперед головой, схватил одного за мягкий живот, повалил... Рукоятки стэков замолотили по его голове, по шее, по плечам... Упал лицом на камни... Затрещали ребра, — его били каблуками, повторяли:

— Провокатор, шпион, большевик!

На шум выбежали из кабака матросы. Тогда эти четверо пустились бежать и в конце улицы вскочили в автомобиль. Матросы подняли окровавленного Бистрема, он сопел с закрытыми глазами. Повели в кабак. Усадили, залопотали. Голова у него была рассечена в нескольких местах, глаз затек.

губу раздуло. Ему водкой промыли раны, перевязали платками. Не разжимая зубов, Бистрем продолжал сопеть. Через зубы ему влили стакан рому.

Один из матросов, погладив по спине, сказал:

— Будь уверен, дружище, тебя обработали за политику, мы эти дела понимаем... Дай срок, — мы не так еще расправимся с этими буржуа. А ты — знай стой на своем... И тебе это даже полезно, газетному писаке: на своей шкуре узнал, что такое буржуа... Говорит тебе старый просоленный моряк... Мое имя Эдд между прочим, если хочешь знать...

Просоленный Эдд оказался прав. Костяные рукоятки стэков разрешили колебания Бистрема. Неделию пролежав в постели (в ужасающем душевном состоянии), однажды утром, замкнутый, сосредоточенный, худой, заклеенный пластырями, с лимонным кровоподтеком на глазу, он появился в столовой у Ардашеда.

— А! Бистрем, дружище...! Ай, ай, это где же вы так?..

— Это не играет теперь никакой роли, Николай Петрович... Я не буду рассказывать подробности... я много думал и понял, что обижаться на дураков глупо... Я стал выше личной мести... Но зато я очень прочно утвердился в классовой ненависти...

За стеклами очков глаза его цвета зимнего моря были жестки. На угловатом лице — ни прежней открытости, ни добродушия:

— Вы когда-нибудь слышали о берсеркьерах, Николай Петрович? У скандинавских морских королей некоторые из воинов были одержимы бешенством в бою, они сражались без щита и панцыря, в одной холщевой рубашке. Довольно страшные люди, их можно было убить, но не победить... За эти дни я почувствовал в себе кровь берсеркьера... Хочу просить вас, Николай Петрович, дать мне несколько рекомендательных писем в Петроград... Это пригодится на всякий случай... В дальнейшем я уже сам сговорюсь с большевиками...

— Слушайте, Бистрем, вы знаете, что ехать сейчас в Петроград — совершенное безумие...

— Почему?

— Я вообще не представляю, как большевики отстоят город... Юденичу помогают англичане, американцы, финны, эстонцы, латыши... Юденич неминуемо возьмет Петроград и зальет кровью...

— Значит тем более мне нужно ехать, кое-какую пользу я наверно принесу в Петрограде...

— Там террор...

— Революция всегда на внешнюю опасность отвечает террором, это лишь подтверждает ее жизнеспособность...

— Чудак... Вы там умрете с голоду...

— Не думаю... Я уверен, — когда человек приносит революции самого себя, революция дает ему хотя бы двести граммов хлеба в сутки... На большее я не рассчитываю...

— Ну, дело ваше... (Ардашев сильно почесал в затылке, иронически поглядел на Бистрема и почесал нос). Но слушайте, если вы попадетесь белым на границе и на вас найдут мои письма?..

— Вы напишете их на тонкой бумажке, я положу ее в капсулю, и на границе возьму капсулю в рот... Вы спокойно можете мне довериться, Николай Петрович...

— Хорошо, ладно... Кому бы только написать из видных большевиков? Предупреждаю, моя рекомендация — не ахти какая... Жалко, уехал Воровский... Я подумаю, вечером приготовлю... Давайте завтракать...

— Благодарю, Николай Петрович, но я уже начал приучать себя к суровому режиму...

Ардашев засмеялся было... Но нет... Перед ним — не прежний шутник Карл Бистрем, простодушный и веселый, как солнце. Получив согласие, что письма завтра будут, он медленно поднялся со стула, сдержанно поклонился и, кажется, даже секунду колебался, подавать ли руку или уйти из этого мира, оборвав все ниточки до последней.

В конце августа, в седьмом часу вечера, краснотвардеец, рабочий Путиловского завода, товарищ Иванов, сидевший на песчаной насыпи пограничного окопа под Сестрорецком, услышал со стороны финской границы осторожный хруст веток.

Товарищ Иванов вытянул за штык из окопа винтовку и сощурился, чтобы лучше слушать. Хрустело и затихало. Как будто ползком пробирался человек. Вечер был безветренный и теплый. В конце недавно поваленной артиллеристами просеки лежало оранжевое море с сизыми и красными отливами. Товарищу Иванову стало не по себе в этой странной, закатной тишине. Следующий пост был шагах в трехстах.

Друг не поползет от финской границы, — очевидно. Значит надо стрелять. Ну, а вдруг их там не один, а банда? Как действовать в таком случае? Остаться на посту до последней капли крови или, заметив приближение врага, бежать к телефонному посту, донести об опасности? Революционный пограничный воинский устав еще не был написан, он целиком вытек из сознательного понимания бойцом задачи революции и в частности обороны цитадели пролетариата — великой Северной коммуны...

Не решив еще тактической задачи, товарищ Иванов неслышно соскользнул с бруствера в окоп и, прикрываясь еловой веткой, поглядывал. Ни черта среди вечерних теней в лесу не было видно. Опять хруст, ближе... Он изготовил винтовку... Подумал и на всякий случай вытащил ноги из разбитых до последней степени и обмотанных бечевками валенок. (Добрые сапоги выдавались отрядам, бросавшимся на Дон или за Урал, а здесь обходились кое-как). Угрюмая ворона пролетела над просекой. Чем дальше товарищ Иванов ожидал, тем злее становилось на сердце. Ползут, ползут проклятые гады, не могут успокоиться, что рабочий класс, разутый и раздетый, голодный, страдает за то, чтобы жить и работать справедливо. Только один рабочий класс — великодушный и справедливый — сам строит свою жизнь, ни на чьем горбе не сидит и со своего горба — прочь паразитов... Так за это крови нашей хотите?..

Поправее расщепленной сосны заколебалась ветка. Вот он! Товарищ Иванов кинулся грудью на бруствер, выстрелил... Второй патрон заело. Захрустел зубами... Тотчас там за веткой чем-то замахали, и — срывающийся от страха — по-русски, но не русский голос:

— Товарищи, не стреляйте, свой, свой!..

Ближайший пост ответил гулко, и сейчас же по всему лесу застегали винтовки, захлопали за пограничной полосой белофинны.

А тот все вскрикивал: — Товарищи, не надо!.. — Иванов вывел тактическое заключение, что, повидимому, тут — один человек, угробить его никогда не поздно, а лучше взять живым и допросить. Надрывая горло, Иванов заорал в сторону веток за расщепленной елью:

— Выходи на открытое, эй!

Ветки заворожились, и из-за хвои поднялся длинный человек, вздел руки над головой, стекла его очков блеснули закатом. Высоко поднимая ноги, зашагал к окопу. Но Иванов опять — бешено:

— Не подходи ближе десяти шагов... Устав не знаешь, сволочь! Бросай оружие...

— У меня нет оружия, товарищ...

— Как нет оружия! Не шевелись...

Иванов влез на бруствер, поедая глазами длинного человека, — в хорошей буржуазной одежде, короткие штаны, чулки, морда конечно трясется со страха, а рот растянул до ушей... — Шутить хочешь? Мы покажем шутки. — Держа винтовку наизготове, Иванов подошел к нему:

— Покажь карманы...

Левой рукой ощупал, — ничего подозрительного нет... Платок, спички, коробка папирос...

— Товарищ, пожалуйста, возьмите папиросу...

— Что такое? Подкупать, — это знаешь? Застрелю на месте. Положь баракло в карман... Опустит руки. Кто такой?

— Я — шведский ученый... Я иду в Петроград, хочу работать с вами... Мое имя — Карл Бистрем.

— Ты один?

— Один, один.

Иванов в высшей степени подозрительно оглядывал лицо и одежду человека:

— Документы есть?

— Вот, пожалуйста...

— Ладно... Иди вперед меня... (Дойдя с ним до окопа, Иванов стал кричать ближайшему постовому): — Эй, товарищ Емельянов... Шпиона поймал.

Звони в штаб. Эээй! (И — Бистрему уже спокойно): — Обожди тут. Придет разводящий, отведем в штаб, там выясним... (Облокотился на дуло винтовки)... За переход границы — ты должен знать — расстрел.

— Товарищ, но я же не мог легально...

— Ладно, выясним... Как же белофинны тебя пропустили?

— О, я два дня скрывался в лесу... Я очень голоден, товарищ...

На это Иванов только усмехнулся недобро. Бистрем с возраставшей тревогой глядел на первого встреченного им большевика, — продранное подмышками черное пальто, подпоясанное патрон-ташем, зеленый армейский картузишко с полоторванным козырьком, босой, среднего роста, невзрачный, ввалившийся, давно небритые щеки, голодные скулы и чужие, не знающие жалости, усталые глаза.

И вдруг Бистрем (как прозрение) понял, что этот человек ничем человеческим с ним не связан, он из другого мира, куда нет перехода... Что, перебежав границу Северной коммуны, он еще не попал туда... Что недостаточно поверить в революцию, предпочесть старому порядку этот неведомый и страшный мир (такой романтический, такой грозно трагичный издали, из своей мансарды на Клара Кирка гаттан), но нужно что-то понять (найти в себе) простое, природное, совершенно ясное и простое, опрокидывающее внутри себя весь старый мир во имя абсолютного, неизбежного, совершенно нового... И тогда он увидит человеческий, ответный взгляд в глазах этого невзрачного и голодного рабочего, чьи негнувшиеся руки лежат — ладонь на ладони — на дуле винтовки.

Бистрем холодел от волнения. Стояли молча: Бистрем — засунув руки глубоко в карманы спортивных штанов, Иванов терпеливо поджидал разводящего. Негромко, будто отвечая на мысли, Иванов сказал:

— Хотя ты не сопротивлялся и взят без оружия, но твое положение скверное, прямо говорю...

— У меня с собой письма, рекомендации...

— Да что ж, письма... От тебя на версту буржуем несет... Кто тебя знает,

кто ты такой... Возиться, знаешь, теперь не время, каждый человек опасен...

— Товарищ, разве вы не можете представить, что в буржуазной Европе есть вам сочувствующие, которые хотят бороться вместе с вами...

Иванов ответил не сразу, — предостерегающе:

— Хочешь меня уговорить, чтобы я тебя отпустил, да?

— Товарищ... (Бистрем сказал с искренней горячностью)... Я не хочу от вас бежать... Я сам прибежал к вам...

— Это и подозрительно... Был бы ты еще рабочий... По очкам видно, не свой... Бежишь из буржуазного класса к нам... Идеалист что ли какой? И опять тебе здесь нечего делать... Мы шутили до восемнадцатого года... Теперь — война со всем миром... Сто лет мы, рабочие, будем воевать... (Отвернулся от взгляда Бистрема, засопел носом)...

Помолчали. Мрачнейший закат лежал на море в конце просеки. В лесу было совсем темно. Из-под откоса, куда спускался окоп, слышалось дыхание идущих по песку людей. Товарищ Иванов вздохнул: — Идут. — Поднял винтовку, — ложем под рваную подмышку, где сквозило тело.

— Вот почему не можем доверять буржуазным элементам... Конечно есть среди вас совестливые, мы ничего не говорим, что все уж огулом белобандиты... Есть и горячие... Был у нас один американец, — страсть ему нравилась революция, так и шуровал... Основа не та, основа — не наша. Ты не думай, мы, питерские рабочие, читали много и головкой варили много, видано-перевидано за десять лет... Мы понимаем, что вам нравится: революция сама по себе, самый процесс производства, спектакль... Так или нет? (Бистрем раздвинул рот до ушей, и на этот раз Иванов не рассердился на это). Для нас, рабочих, революция, то-есть эта драка, фронты, голод, борьба с деревней—черная, тяжелая работа... Нам конечный результат дорог — социалистический строй, в который верим... Понял, — разный классовый подход? Ты бы в этом пальтишке на голое тело зиму бы не проходил, — а ну бы ее к чорту вашу революцию! Да к мужику в деревню забил-

ся гусей кушать... Ты с производством не связан...

Подождал трое (в пиджаках, в куртках, перепоясанных патронташами и пулеметными лентами), те же суровые, худые лица, отрывистые голоса.

— Который, этот? — спросил разводящий, указав наганом на Бистрема. Двое других стали по сторонам наготове с винтовками. Товарищ Иванов рапортовал:

— Сижу, а винтовка у меня в окопе... Слышу, человек идет. Я — хватя винтовку да сам в яму и гляжу из-за ветки... (Рассказывал он все, в подробностях. Разводящий хмуро, не отрываясь, глядел на Бистрема)... Оружия на нем не было, попытки к бегству не делал, вот так вот руки поднял, идет на меня и сам смеется... Прямо думаю, — что такое за человек? Вот письма на нем к товарищу Антонову-Авсейко и к товарищу Коллонтай... Я его винти-лировал... Идеалист—сочувствующий...

— Вы задержаны, товарищ, — сказал разводящий, — следуйте за нами.

Держа в опущенной руке револьвер, он пошел по песчаной насыпи вниз по откосу, за ним зашагал Бистрем, — руки в карманх, — за ним два красногвардейца...

Его привели на уединенную дачу на пустыре с разрушенными службами и выбитыми стеклами. Заперли в одной из комнат, в нижнем этаже. Он изнемог от усталости и голода, сел на какой-то ящик, подпер щеки. За единственным окном догорал, уже не светя, кровавый закат. Звезда появилась над зеленоватым его краем...

Чего ты собственно ждал, Карл Бистрем? Вот ты на земле Великой Революции... Ждал, чтобы земля эта сотрясалась, перед тобой проходили бы колонны великанов с железными лицами и небо иного цвета было, чем над Стокгольмом?

Подпирая скулы так, что очки взлезли на лоб, он вспоминал слова товарища Иванова... Ты ехал на праздник, Карл Бистрем, — тебя сразу раскусили... Вот она, революция — полутемная, ободранная комната на заброшенной даче, мертвая усталость и горькая слюна голода... Дырявое пальтишко на го-

лом теле, унылый окоп, ржавая винтовка и слюна голода. Карл Бистрем, ты не идеалист, не романтик... Ты не отступишь назад перед унынием революционных будней... Загляни хорошенько в самого себя, — честно, как перед смертью... Веришь в начало великого наступления Пролетариата? Веришь, что пробил первый час века Социализма?

Бистрем встал с ящика и заходил по гнилому полу, где между щелями пробивалась трава. Будто горячее вдохновение охватило его голову. И, стараясь обуздать разбросанные мысли, он с методичностью и беспристрастностью захотел еще раз проверить выводы... Послевоенная Европа, — разорение мелкобуржуа, спекуляции, сосредоточие капитала, гигантские концерны, инфляция, обнищание рабочих масс и легкость революционных взрывов, национальная политика и усиление конкуренции между странами, астрономические долги Германии, вооружение Франции, Англия, раздираемая экономическими и социальными противоречиями, наступление Америки... Страшные предпосылки для буржуазного хозяйства после войны... В этом хаосе всеобщей торопливой индустриализации и конкуренции сосредоточенный капитал надеется только на силу оружия, вооружает государство против конкурента и против мятежного пролетариата...

Шагая по гнилым доскам, Бистрем уже громко разговаривал сам с собой... Русская революция одним взмахом зачеркивает порочное буржуазное хозяйство. Она отказывается от эволюции, она считает идею эволюции самой хитрой и опаснейшей ловушкой, расставленной, чтоб выиграть время. Эволюция — сознательный обман, одурманивание пролетариата... Времени выигрывать нечего, буржуазное хозяйство не справится от смертельной язвы войны... Равновесие уже нарушено, и противоречия будут расти с каждым годом, как раковые опухоли. Русская революция опережает естественный процесс разложения старого порядка, этим она спасает запасы творческой энергии пролетариата. Это правильно! Вот в чем пафос русской революции. Мы спасаем одно, два, может быть, три поколения...

На три поколения приближаем социализм и будем строить его со всем буйством неистраченных сил...

Он потер ладонь о ладонь и только тогда заметил стоящего у дверного косяка человека в кожаной куртке, в черном картузе. На бледном в сумерках лице его черная борода казалась приклеенной.

— Ну, что же пойдете, побеседуем, Карл Бистрем, — сказал он негромко...

Он пошел вперед по темному коридору и толкнул дверь в небольшую комнату, едва освещенную огоньком фитиля, плавающего в жестянке из-под консервов. Сел у стола, указал Бистрему напротив мягкое кресло, изъеденное мышами:

— Осторожнее, нет одной ножки... (Слабой рукой выдвинул ящик, вынул завернутый в обрывок газеты продолговатый, в два пальца толщины, кусок черного хлеба). Ешьте... Здесь ровно двести граммов, все, что революция предлагает за вашу жизнь...

Бистрем опустил руку с куском, уставился на человека: озаренное огоньком копилки матово-бескровное лицо чахоточного, большие, без блеска, без любопытства, без страсти черные глаза, — вся жизнь никогда не смеявшегося лица сосредоточена, казалось, в широких нервных ноздрях. Глядел, не мигая, но будто и не видя сидящего перед ним...

— Откуда вы знаете про хлеб? — со страхом спросил Бистрем.

— Вы же разговаривали вслух. Я могу повторить: «Когда человек приносит революции самого себя, революция дает ему хотя бы двести граммов в сутки»...

— Да, да, меня очень занимал этот вопрос... Я думал, что острые материальные лишения, неизбежные во время революции, раскрывают огромные запасы духовной энергии, дают революции специфическую, неотразимую убедительность... Но я готов оставить эти рассуждения по ту сторону границы... Сегодня я получил хороший урок...

— Вы рисковали получить урок более жесткий, — сказал человек... (Не разжимая рта, подавил кашель)... Вопрос питания один из самых страшных у нас. Мы не можем утешаться тем, что

у голодного человека рождаются гениальные мысли... (Бистрем сделал движение протеста, покраснел). Мы — реальные политики... С другой стороны, мы не можем снабжать население кулацким и спекулянтским хлебом... Под этим хлебом мы похороним социализм... Кусок, который вы съели, — отвратительный хлеб пополам с так называемой кострой, но, чтобы его добыть, затрачены человеческие жизни. И все же мы не отступаем от такого дорогого хлеба... Ну-с, так вот... Я прочел ваши рекомендательные письма. Звонил в Петроград по поводу вас... Вы — свободны... (Бистрем сейчас же поднялся. Человек заслонил прозрачной рукой с черными ногтями заколебавшийся огонек светильни). До первого поезда много времени. Может быть, вы расскажете поподробнее о политической обстановке в Европе, об организациях, о людях. Позвольте вам поставить несколько вопросов... Скажите, вы не встречали в Стокгольме такого Хаджет Лаше?

Утренний поезд тащился по заросшему травой полотну. Безлюдье и запустение, — дачи с выбитыми окнами, поваленные заборы, фундаменты и груды кирпича... Болота, пни... Ржавые проволоки окопов... Направо — заросшая камышами Лахта, негреющее солнце над пустынным заливом. Вдали — необъятный город, шпиль крепости и Адмиралтейства, тускло золотой купол Исакии... Фабричные трубы, решетчатые узоры разрушенных верфей. Ни одного дыма в прозрачном воздухе над городом. В море — линейчки фортов и неввысоко над водой — синеватые очертания Кронштадта.

Бистрем думал о ночном собеседнике. (Под утро, когда они пили кипяток с сушеной морковью, человек рассказал кое-что про себя). Одиннадцать лет царской каторги. Туберкулез, видимо, в последней стадии. Жизнь — в напряжении воли. Чекист. Он сказал: «Вам придется отрешиться от многого того, что еще вчера по ту сторону границы вы считали добрыми качествами. Резко и непримиримо отделить врагов от своих: классовое чутье поддается развитию. Ум должен быть устремлен к одной це-

ли, направлен, подчинен воле руководителей революции».

Бистрем был подавлен и испуган. Будто попал в чудовищный водоворот, и он несет его от сегодняшнего дня в неведомое — прочь от всего привычного и обыденного... Он пришел сюда, как рыцарь. С него сорвали латы: иди, взгляни сначала в лицо Революции, взглянув, умри и родись вновь иным...

Бистрем сидел у выбитого окна, вагон медленно полз мимо заросших бурьяном огородов. Несколько человек разбирало деревянную дачу. Как будто вымершее предместье, покосившиеся фонарные столбы. Остовы печей и дымовых труб. Белая коза на пригорке в бурьяне. Пакгаузы с сорванными дверями, на путях — ржавые паровозы, платформы с пушками. Вокзал, и на перроне — суровые люди с винтовками. Осмотр документов.

Бистрем вышел на безлюдную площадь, — окопы, ограждения из мешков и проволоки. Достал клочок бумаги с адресом Смольного и номером комнаты, где должен был зарегистрироваться, прикрепиться к комиссарнату народного просвещения (для начала работы, — так ему посоветовали сегодня ночью) и получить паек и жилплощадь. Но некого было спросить дорогу. Он побрел вдоль ржавых трамвайных рельсов, скрытых под травой. Перешел Большую Невку, где из воды торчали заплесневелые ребра огромных барок. Прочел надпись улицы на синей эмалированной доске: «Большая Дворянская» и ниже — суриком по облупившейся штукатурке — «Первая улица Деревенской Бедноты»...

Здесь стали попадаться обыватели. Сутулый человек с мешком и жестяной от керосина за спиной в раздумьи стоял на перекрестке, ноги обернуты тряпками, сваливающиеся штаны, редкая борода, пенсне на унылом носу. Размышлял, казалось, куда идти? На солнышке, между двумя теньями от домов, лежали два нечесанных мальчика и худенькая девочка, кусали травинки, долго провожали взглядом не по-русски одетого Бистрема. В темном доме с колонным подездом, зеркальными окнами, высоко, в раскрытом окне, стоял, заложив руки за спину, очень полный чело-

век в нижнем белье, в золотых очках, — круглой серебристо-седой головой и бритым ироническим лицом походил на римлянина. Его просторные штаны, видимо, проветриваясь для гигиены, висели на оконной задвижке. С полнокровным благодушием он глядел на город. Бистрем изумился. Полный человек, перегнувшись через подоконник, с усмешкой следил за ним.

Далее у вычурного мраморного особняка, у охраняемых вооруженными людьми ворот стоял автомобиль. Шофер спал. Дойдя до конца улицы, Бистрем остановился, — эту решетку, галлерею зимнего сада и балкончик во втором этаже он узнал по фотографиям. Отсюда Ленин поднял революцию. Присев под липой напротив в сквере, Бистрем глядел на этот дом из глазированных кирпичиков (построенный для знаменитой балерины — царской любовницы), на огромную, доходящую пустырями до реки Троицкую площадь с ветхой деревянной церковью (здесь некогда торчали колья с головами и колеса с телами казненных), на низенький досчатый купол цирка, на серые башенки и гранитные бастионы крепости, — такого, казалось, несокрушимого оплота беспросветного дворянского царства. На стенах стояли пушки и ходили часовые. Тишина, лишь в сквере шелест лип.

Отдохнув, Бистрем направился через Троицкий мост, укрепленный предместными окопами. Отсюда ему открылась широкая, лазурно сверкающая в этот час Нева. Вдали отражались белые колонны биржи, ростры со статуями Нептуна, старые ивы у подножья крепости. Течением мягко разбивался золотой отсвет иглы Петропавловского собора. На левой стороне тянулись колоннады опустевших дворцов, адмиралтейства, сената. Голубоватая дуга Николаевского моста. Крыши Васильевского острова уходили в подернутую прохладой солнечную мглу.

Величественный, прекраснейший из мировых городов, казалось, задремал на берегах полноводной реки, на грани двух миров, двух эпох, отдыхая от пронесшихся бурь, от видений прошлого, окаменелого в этих колоннадах, в бронзовых львах, вечно улыбающихся

сфинксах, в черном ангеле на яблоке Петропавловского шпиля, и сквозь дремоту ожидал новых, еще неведомых потрясений, чтобы раскрыть гранитные глаза во вторую жизнь.

Бистрем, облокотясь о перила, поддался неизбежному очарованию Петербурга.

С Васильевского острова по мосту медленно двигалась странная толпа. Подвое, по-трое в ряд: дамы в старомодных шляпках, истрепанных непогодой, иные в необычайной одежде, как будто их платья служили раньше обивкой для диванов; длинноволосые люди с истощенными комнатными лицами; иные бритые, круглощекие, с остатками щегольства в одежде, напоминали поставщиков и спекулянтов времени войны; иные, угрюмо повесившие голову, походили на лавочных сидельцев; глядя поверх опустошенными глазами, шагало несколько рослых стариков с породистыми лицами, на которых застыло презрительное удивление; молодые женщины, одни заплаканные, другие с вызовом самому чорту...

Все они несли лопаты, кирки и заступы. Впереди бойко шел, ухмыляясь белыми зубами, вздернутым носом, матрос, с железной лопаткой на плече, — маленькая шапочка с ленточками, на загорелой груди под тельником — татуированное сердце. Поворачиваясь к толпе, он пятился и подмигивал, крепколицый, смешливый:

— Бодрей, братишки, подтянись, антилигенты!

Бистрем последовал в некотором отдалении за толпой. С дворцовой площади свернули на Невский, — там на буграх илистой земли, на кучах бульжника и торцов копошились сотни людей. Поперек Невского, вдоль решетки Александровского сада рылись окопы, строились укрепления. Подошедшая толпа медленно, по-одиночке, расползлась по канавам. На перевернутой бочке агитатор, работая кулаком, выбрасывал отрывистые фразы:

— ...не отдадим белой сволочи первого города республики... Прихвостни мирового капитализма рассчитывают на наш голод, на затруднения с углем и металлами... Они прорсчитаются, товари-

щи... Ответим на их бешеные вылазки сплочением наших рядов... Вырвем хлеб у кулака... Паркетами буржуазных особняков будем топить фабричные котлы, переплавим на штыки решетки дворцов... С большевистской беспощадностью раздавим заговоры... Каленым железом отбросим от Петрограда кровавую свору белогвардейских собак... Товарищи, каждый удар лопатой — удар по гнусным замыслам контрреволюции... Вы копаете могилу заговорщикам и саботажникам...

Его не все слушали, — иные равнодушно продолжали копать, иные, опершись о лопату, или держась обеими руками за поясницу, глядели в землю, на лицах — отвращение и страдание. Сухонькая старушка (неподалеку от Бистрема), державшая за руку ребенка, сказала, как ткнула шилом:

— Сами себе могилу копают...

Бистрем шел по Невскому к Октябрьскому вокзалу. Все то же, мало ему понятное двойственное впечатление... На перекрестках улиц — окопы, блиндажи, орудия, штыки часовых. На простреленных окнах магазинов и заколоченных дверях — кричащие угловатые плакаты о борьбе, о борьбе... Подскакивая по выбитым торцам в седле мотоциклета, пронесится суровый усачь весь в коже. А вереницы прохожих бредут посреди улицы медленно и рассеянно, как во сне. У каждого за спиной — мешок, жестянка, кошелка. Стоят очереди. У выходящих из распределительного пункта в руках — лавровый лист и селедка. По трамвайному пути ползет платформа с бревнами и досками (видимо, из разнесенного дома). За платформой движется длинная очередь.

Подъезды иных домов оживлены, — люди входят и выходят. Бистрем читает надписи: «Народный университет»... «Академия искусств»... «Высшая школа хореографии»... «Музыкальная академия»... «Студия народной драмы»... Повидимому, — так представляется ему, — весь этот бредущий по Невскому народ занят искусствами и наукой... Но вот — музыка, сверкающие трубы: «Интернационал»... Прохожие сердито оборачиваются. Плывет шелковое пурпуровое знамя и за ним, — по-особому, в полшага, — с неумолимой неторопли-

востью шагает отряд человек в пятьсот. По одежде — рабочие, молодые, худые, возбужденно решительные лица. Винтовки, вещевые мешки. Посреди отряда лозунг: «Опрокинем денкинские банды в Черное море»... Походная кухня, десяток молоденьких девушек в солдатских шинелях с красным крестом на рукаве, повозки с пулеметами, с поклажей.

Прошли, и снова прохожие, как во сне. Лошадиные ребра на мостовой у Гостиного двора. Расстрелянный фасад и суриковые колонны Аничкова дворца. Черные кони на мосту. На углу Литейного — опять трудовая повинность буржуазии. Снова — конская падала. Ямы провалившейся мостовой. Площадь Восстания перед вокзалом запружена ручными тележками. С криками и руганью проходит в ворота военный обоз. Отряды рабочих дожидаются посадки. По всему белесому, облупленному фасаду Северной гостиницы — наискось — истрепанная непогодой кумачевая полоса: «Все, как один, на борьбу за власть Советов, за Социализм»...

Посреди площади, вокруг забрызганного грязью и лохматого от обрывков плакатов досчатого куба, прикрывающего чудовищную громаду бронзового императора, сидят и полеживают мужики, гладкие деревенские бабы. Сытые и равнодушные (таких Бистрем увидел в первый раз за сегодняшний день), переговариваясь между собой, посмеиваясь, посматривают на суету площади, на умственные надписи, на тысячи заманчивых окон многоэтажных домов.

Пришли ли эти люди для торга, для добычи или как разведчики приглядеться, не пора ли окружать обозами город (враждебный и непонятный, как всякий город), в книжном безумии пожравший царя и господ, и купцов и теперь свирепо отталкивающий мешок с хлебом, куль картошки, телячью тушку из рук «кормильца-мужичка»?.. Дело ясное (так, казалось, можно было читать на этих лицах у подножья памятника), — книги, слова, умственность!.. Вот вам, товарищи, и дочитались, договорились «до ручки». Торопиться некуда, чему созреть — созреть, само упадет в руки... А покуда за стакан мучки, за шапку картошки, за куренка деревенские ходоки привозили домой граммофо-

ны, зеркала, двуспальные кровати, всякие барские пустяки... Деревня ждала этого часа долго и желала многого. Город мечтался ей, как средневековым испанцами заокеанская страна инков Эльдорадо...

Один из мужиков, плечистый, черно-волосо-кудрявый, крепколицый, в распоясанной, расстегнутой рубашке, окликнул Бистрема:

— Гражданин... (Бойко вскочил и пальцем зацепил за часовую цепочку на пиджаке Бистрема)... Почему?

— Я не продаю.

— А то хозяйка чего-то на дороге мне завернула, уступил бы...

Из подмышки взял сверток в тряпиче, сокрушаясь о явной потере, осторожно развернул, — четверть краюхи хоро-

шего хлеба, два каленых яйца, луковица:

— Чапоцка мне и не нужна, так-то уж говорить, да вижу добрый человек, отчего не выручить... На, получай все, бог с тобой...

Слюной наполнился рот у Бистрема, помутилось от тошноты. Отстегнул цепочку. Взял хлеб, яйца, луковицу..

— Постой, а может, часы продашь?.. Тут у меня (понижив голос) на одной квартире поросенок полугодовалый...

Не отвечая, Бистрем пошел прочь. Мужик — за ним. Уговаривая, схватил за плечо. Бистрем — с гневом:

— Послушайте, вы пользуетесь моим голодом, вы дурной человек, вы спекулянт...

(Продолжение следует)

Скрипка

Евгений Павличенко

Мой отец, молчаливый и строгий,
Говорил, как из бочки гудело:
«Полно обувь трепать о дороги —
обучайся хорошему делу.

Не бывать тебе крысой бумажной,
Не вожжаться с чиновною голью.
И кузнец из такого — неважный,
Музыканту ж на овадьбах—раздолье».

Мать ворчала: «Какие достатки».
И прошла в совещаеньях неделя, —
Как в глаза из набухшей тетрадки
Головастики смутно глядели.

И, как водится, водку распили,
И сказали по доброму слову.
Рухлядь, густо покрытую пылью,
Мне купили за восемь целковых.

Желтой ошупью мечутся свечи,
И дрожат ослабевшие руки.
Он запомнился надолго, вечер
Этой чуждой и чудной науки.

Франц Иванович тронул тугую,
Словно мельком сошел на другую
И, смычком замахнувшись, как плетью,
Полоснул зазвеневшую третью,

И затем, погребальным эскортом
Протянул и замолк на четвертой.
И, прощаясь под звяканье рюмок,
Извиняясь: пора собираться.

И, погладив, сказал мне угрюмо:
«Завтра мы начинаем в двенадцать.

Так до полдня: шуметь и резвиться,
С бандой сверстников в бухте купанья.
Жизнь — по сладостям, дракам и пти-
цам.

Бег по паркам, пока не устанем.
На фонтан и на каменоломни
По трамваям — туда и обратно.
Но в двенадцать, как дернет, я вспо-
мню:

Франц Иванович ждет вероятно.
О, волненье! Начало урока!
Дверь открылась, и входит учитель.
Скрипка! Сколько разинутым окнам

Поразительных, нежных открытий.
Ну, а комнатой много открыто
И упрятано в темные щели:
По подвалу не раз от шопитра

Сонатины, слетев, шелестели.
Он отметил. И вот наставленья —
По смычку, по настройке, по нотам.
Он уходит. Виляют колени,

И под шляпою — капельки пота.
Он в трактир. До утра за стаканом
Просидит, прижимая инструмент.
И случайно задетые, странно

Отзвываясь, заерзают струны.
Франц Иванович! Где вы? Не мне ли,
Шестилетнему мальчику, часто
Бахом вы и Бетховеньем пели,

Задыхаясь от приступов астмы.
Страдивариус, ты не к добру мне
Был в подвале, в слезах на горнице:
Нет кошмара темней и безумней,

Чем в такой гениальности нищей.
Ты приходишь из грустного детства
Сквозь холуйство и знатные рожи
И века отдаешь, как наследство,

Нашим детям, на нас непохожим.
И подвал, и задворки, и свадьбы,
Вырастающие на деке,

Вместе с памятью душевной усрать бы,
Как и все, что забыто навеки.
Чтоб подачек рука не знавала
И тоски над смычком-непоседой,

Чтоб звучали твои арсеналы
В скрипацах,

Как и время,
победой!

Москва, 1931.

Люди и факты

1. П. СЛЕТОВ.— Японские концессии на Сахалине. 2. Д. КРЕПТЮКОВ.— От мыши к машине. 3. А. ЛЕЖНЕВ.— В городе спичек.

1. ЯПОНСКИЕ КОНЦЕССИИ НА САХАЛИНЕ

О черк

П. Слетов

Пять „К“

Кита-Карафуто-Когно-Кабусики-Кайся—ККККК—эти буквы легли черным тавром на крепких боках огромных кунгасов, вылезших, как стадо серых допотопных черепах, греться под солнцем на берегу Татарского пролива. Эти буквы пляшут на брезентах и ящиках тары, валяющейся около пристани. На белых спасательных кругах и на бортах двух серых катеров буквы эти выглядят, как наклеенные, как аппликация. На угловом бланке деловой бумаги — смешно и непривычно, словно проба типографских шрифтов. Русский смысл этого сокращения— Японская каменноугольная промышленная компания на Сахалине.

Если взять нормальный промысловый поселок, сократить и сдвинуть его домишки в ряд, подобный каббалистическому ряду пяти „К“, вогнать в узкую долину между двумя цепями сопки, нанизать на вертел гремучей вагонетками узкоколейки, прокоптить угольной пылью, получится общий набросок поселка Дуэ, резиденции правления компании и места жительства его рабочих.

С моря типичный для западного побережья Сахалина вид «распада», долины, перпендикулярный берегу. В пролив выдвинулись фермы конвейера, подающего уголь прямо в кунгасы. На берегу конвейер начинается высоким зданием элеватора со складами для уг-

ля на случай штормовой погоды. Дальше перспектива уходит в смежающиеся сопки — там штольни, там эстакады, кашляющие углем.

Дуэ — старейший по разработке островой рудник, один из лучших по качеству и мощности залегающих каменного угля на Сахалине. О прошлом его, о климатическом колорите можно найти у Чехова, записавшего: «Должно быть, это своеобразно красиво, но предубеждение против места засело так глубоко, что не только на людей, даже на растения смотришь с сожалением, что они растут именно здесь, а не в другом месте». Сейчас в колорит следует внести поправку: современное восприятие не упнетено видом каторжного труда, заложившего первые штреки, отсюда и климат другой — много солнечных дней, которые и раньше отметил бы гелиограф, но не воспринял бы человек, прикованный к тачке.

Не с моря, а сушей нужно подойти к Дуэ для того, чтобы проникнуться прелестью этих мест. Горная дорога в 10—12 километров, отделяющих рудник от окружного города Александровска, идет среди молодого лиственного леса и веет свежестью невидного, но близкого моря. Последние полтора—два километра, пройдя Воеводинский рудник, где под землей бушует многолетний пожар, приходится идти прямо по линии прибоя. Раньше прибрежная дорога шла от самого Александровска, через тоннель сквозь мыс Женкьер, но

теперь тоннель этот засыпан взрывами аммонала, рвущими женкьерские базальты на потребу строящегося Александровского порта.

Трудно сказать, что сохранилось от старого в Дуйском поселке, кроме церкви, использованной под клуб,—сейчас все обжито по-новому и перемешано с недавними и притом японских рук и вкусов произведениями, с «фаршированными» домами из теса и опилок, которые можно видеть на Сахалине повсюду, где удержалось дешевое наследство японской оккупации. Но есть и более прочной бетонной стройки — помещения конторы и рудничного комитета, а наверху, на склоне сопки, — дом членов правления, хозяев предприятия.

Дуйская улица узка, тесна, во время строительного сезона завалена штабелями бревен, стружками, мусором. Она отделена от линии узкоколейки забором из колючей проволоки, и этот забор делит Дуйскую долину на две неслитываемых реки: желтую — из пыли и деревянных тротуаров, черную — из угольной сыви, разтрясаемой громобегущими вагонетками. Пройти по первой может всякий, получивший пропуск на территорию концессии, проход на вторую для посторонних, как гласят многочисленные надписи, строго воспрещен. Строгость уместная: тесное соседство жилья с неустанным движением узкоколейки грозит частыми несчастными случаями.

Если начать путь от берега моря, то прежде всего обратишь внимание на небольшую метеорологическую станцию, — маленькая белая пасека наблюдательных приборов блестит среди ограды, выкрашенной свинцовыми белилами. Станция эта не зарегистрирована в редкой сети сахалинских метеорологических станций, содержится японцами на собственные средства, для собственных нужд. Такова зависимость транспорта от погоды непостоянных морей, омывающих остров.

Дальше пойдут жилые постройки, занятые большей частью служебным персоналом концессии, младшими инженерами, конторщиками, техниками, вербуемыми в Японию. Около этих домов в шарканье и стук каблуков русских и китайских рабочих вливается кастанье-

товое пощелкивание деревянных японских сандалий, — в них ходят не только японки, но и японцы. Придя с работы, мужчины немедленно сбрасывают свою прозодежду и облачаются в кимоно. Само правление показывает пример верности азиатскому покрою платья, — на улице то и дело попадаются правленцы, запахивающие полы национального костюма. Но видишь и по-европейски одетую молодежь: около одного из домов имеется окруженная дырявыми сетками площадка для лаун-тенниса, по которой прыгают в белых, но грязных костюмах молодые люди интеллигентского типа.

Спортивная площадка, но — дыры, зияющие в сетке, белые костюмы, но — скушая экономия на мыле, по всему Дуэ водопровод, но — грязь и вонь уборных, отвратительно режущие воздух... Все это вместе с фаршированными домами, отсутствием на них всяких архитектурных прихотей, напоминает чем-то дом японского консула в Александровске. Дом этот деревянный, выкрашен масляной краской и, очевидно, русской стройки. Он ничем не отличается от деревянных домиков наших уездных городов. Но по карнизу фундамента идет неровная, неоструганная доска, приляпанная сверху кое-как, некрашенная, укрепленная неуклюжими столбиками. Много раз проходишь мимо и не понимаешь, зачем понадобилось изуродовать неприятельную скромную внешность домика. И только тогда, когда случится пройти мимо в сумерки, соображаешь: а это для того, чтобы закрывать ставни — вон идет не то дворник, не то швейцар, влезает на доску и одно за другим гасит освещенные окна. А почему бы не пощадить благовидный домик, приобрести простую лестницу?

При всей смехотворности этих мелочей в них и во многих других чертах — хозяйственная деятельность японцев на Сахалине, все время слышится привкус особенного духа империалистической цивилизации японцев. Пренебрежение к внешности, облегченность, недолговечность построек, жадная погоня за практическим эффектом, мелкое щегольство наряду с крупным убожеством, — в многообразных штрихах дает себя знать характеристика Японии, даваемая совре-

менными ее наблюдателями. Все та же имитация американской деловой культуры, постоянная оглядка на недостижимый пока идеал, не собственная, а заемная инициатива, диктуемая завистью к конкуренту. Не самодовлет японский промышленный капитал,—много раз убеждаешься в этом, осматривая дуйское концессионное хозяйство.

Концессионные магазины, снабжающие дуйское население продуктами и товарами широкого потребления, расположены в центре. Торговый талант японцев сказывается в разнообразном подборе завозимого ассортимента. К товару уважение: магазины просторны, крепки. Величина помещения помогает скрадывать постоянную толкучку покупателей-рабочих, вызываемую невероятно сложной процедурой контроля заборных книжек, поражающей даже наше советское терпение, воспитанное годами хозяйственного напряжения.

Недалеко столовая, организованная силами рабочей общественности. Дальше — ряд жилых домов полубарачного типа, и поселок кончается. В сопки уходит только двойная стальная тесьма узкоколейки.



Советский Сахалин, кроме других любопытнейших сторон своего практического сегодня, — развернувшегося строительства, интенсивного освоения острова, изучения его богатств, первых шагов широкого плана эксплуатации их, — интересен еще и тем, что представляет собой стык двух совершенно чужеродных культур: советской, социалистической, давшей хозяйству острова первый толчок, которого он от века ждал, и японской, концессионной, насквозь капиталистической. Перед обеими лежит по сути нетронутая целина. Обе вооружены рычагом современной технической мысли. Данные задачи — географическое положение, климат, бездорожье, пересеченность местности — одни и те же. Остается следить за результатами, сравнивать, делать выводы.

Разговоры, которые довелось мне слышать среди наших вновь прибывающих на остров рабочих, с том, что Дуэ — чуть ли не земля обетованная, что там и работа легче, и условия жизни луч-

ше, и заработок выше, а с другой стороны, отзывы тех, кто уже побывал на работе у концессионера, далеко не столь благополучные, далеко не радужные, противоречили друг другу. Проверить, кто прав, стало не только любопытно, но неотложно необходимо. К середине знойного августовского дня я очутился в помещении дуйского рудкома.

Как на нашем юге во время курортного сезона, все двери и окна бетонного домика открыты настежь. Долетающий ветер заглядывает в переписку и по временам быстро пересчитывает листки бумаг, прижатых прессом на столе. По стенам маленькой комнаты шелестят кар-



Район истоков реки Пиленги. Следы хищнической добычи золота — примитивный инструмент: желоб, решетка, ведро.

ты и чертежи подземных ходов. За столом — секретарь рудкома Яковлев.

Здороваясь с ним, я вдруг ощущаю по каким-то неуловимым признакам радушия, дополнительного к обычной встрече в общественных учреждениях, что мы не совсем-то у себя. Это не чужая территория, нет, только-что на берегу моря я повстречал нашего пограничника, здесь у входа видел объявления александровского военкомата, профсоюзные лозунги и плакаты одевают стены комнаты. Земля не перестает ощущаться совершенно советской. Но на столе среди текущей переписки лежат бланки с той же каббалистикой пяти прописных К, мимо окон прицеливаются по деревянным доскам тротуаров дощечки японских сандалий, на столе, рядом со стаканом учрежденческого чая, стоит мешочек с сахарным

песком совсем не советской упаковки. И в интонациях Яковлева я слышу не обычную приветливость профработника, сторвавшегося от производственной работы для помощи заблудшему литератору, а как бы радость эмигранта поневоле, повстречавшего соотечественника, товарища по общему фронту. Да, здесь не географическая и не политическая заграница, но хозяйство это—хозяйство капиталиста, за идеологическим рубежом.

Уже здесь, в рудничном комитете, сказываются особенности положения. Мне говорят о культурно-просветительной работе, о многочисленных кружках, организованных рудничным комитетом, но ни слова о производственных совещаниях, о работе по повышению производительности труда, обо всем том, что составляет неотъемлемую часть нормальной работы наших профорганов. Оно и понятно—рабочий ни на иоту не заинтересован в улучшении хозяйства концессионера. От этого на всей неплохой работе дуйского рудкома лежит отпечаток какой-то бескрылости, отсутствие широкого творческого духа.

Тысяча двести рабочих, обслуживающих предприятия концессии, распределяются по национальностям следующим образом: 50 проц. русских, 40 проц. китайцев, 10 проц. японцев. Это касается только рабочих. Администрация состоит сплошь из японцев, кроме самых мелких служащих.

Средний заработок забойщика—100 рублей, откатчик—65 р., чернорабочего—50 р. в месяц. Ставка откатчика на наших сахалинских рудниках—360 р. в месяц. Набор продуктов в концессионных магазинах—30 р. Набор этот вполне удовлетворяет нормам питания, но отпускается по заборным книжкам при сугубо строгом контроле. Сверх него ничего не купишь, а при дороговизне сахалинского вольного рынка остаток заработка концессионного рабочего не дает ему никакой возможности пополнить свой стол и как-нибудь улучшить свой быт за счет покупок на стороне. Сравнение заработка откатчика наших и концессионных предприятий ясно обрисовывает разницу материального положения того и другого, если добавить, что артельное питание на наших предприятиях обходится 50—60 р.

До сих пор на Сахалин едут с оглядкой: мужчины оставляют семьи на материке и выписывают их спустя некоторое время, уже устроившись на месте. Да и наши предприятия, в первую очередь АСО, неохотно завозят семьи рабочих. Диктуется это отсутствием на острове нужного количества жилья. Поэтому для приехавшего рабочего чрезвычайно важно, чтобы на средства, оставшиеся от его личного пропитания, могла существовать семья, ожидающая на материке возможности присоединиться к кормильцу. Попавший в Дуэ семейный рабочий не может конечно прокормить оставшуюся семью, да и перевезти к себе в Дуэ тоже не может,—жилищный вопрос здесь стоит острее, чем где бы то ни было. Этим объясняется чрезвычайная текучесть рабочей силы на концессионных предприятиях, этим же объясняется и противоречие мнений о Дуэ. Насыщенный о дуйском благополучии новичок может найти здесь первое время преимущества в виде коробок монпансье перед нашим относительно менее разнообразным пайком, но поживший здесь и в особенности семейный стремится при первой возможности покинуть концессионный рай.

Текучесть рабочих масс отнюдь не помогает работе рудкома, чрезвычайно вредит ей. Еще хуже отзывается отсутствие быстрой связи с дальневосточным отделом союза горнорабочих. Сахалинский телеграф перегружен работой, были случаи, когда на срочный запрос, посланный телеграммой «молнией», ответ был получен только через месяц той же «молнией» в двойных ковчгах. При такой оторванности от профсоюзного руководства и при нарочитой инертности, косности, с которой японская администрация относится к начинаниям рабочей общественности, немудрено, что в конце 1930 года взаимоотношения рабочих и хозяев регулировались коллективным договором, заключенным еще в 1926 году.

Мелочная торговля из-за пустяков, формальные придирки, бесконечные проволочки—таковы методы искусственного затягивания назревших вопросов, практикуемые администрацией концессии. Оговоренные колдоговором обязанности свои администрация выполняет сугубо формально. В тарифной полити-

ке она отстаивает юридическую букву договора и ни шага не делает навстречу пожеланиям рабочей общественности для исправления устаревшего договора. В частности не раз высказывались пожелания о переходе на сдельщину, в которой рабочие видят возможность улучшить свое материальное положение ценой более напряженного труда. Но здесь сказывается отсутствие гибкости и боязливый консерватизм капиталистического хозяйства. Концессионер сохраняет поденщину, практикуя следующий метод расчета: ставка делится на 20 — минимальное число обязательных рабочих дней, и сверхурочная работа оплачивается поденно в ординарном размере. Понятно, что при подобных условиях рабочие не проявляют никакого стремления к работе в неурочное время.

Тарифную политику концессионера можно объяснить весьма просто: сахалинские каменноугольные месторождения, Дуйское в особенности, отличаются чрезвычайно выгодными природными условиями, обеспечивающими рентабельность разработок. Превосходное качество угля, мощность пластов, близость моря и рельеф местности, позволяющей использовать для доставки угля к берегу естественный уклон, — все это очевидно ставит предпринимателя в особенно устойчивые условия даже при современном кризисном состоянии японской каменноугольной промышленности. Задача сводится для него только к разрешению проблемы транспорта, он мало заинтересован в улучшении самой добычи угля, в механизации подземных работ. Разработки до сих пор ведутся примитивными способами, мало чем отличаясь от практики дореволюционных российских предпринимателей. А между тем надземные сооружения пользуются особым вниманием: склад-элеватор и конвейер являются наглядным доказательством забот концессионера о легкой доставке угля на борт парохода, а затем по открытым на все стороны морям — в любой порт мира. Да и есть ли смысл тратить на врубные машины, когда доходнее и проще выступить подрядчиком, организовавшим поденную рабочую силу, транспортером продукции, добытой мускулами советского и китайского рабочего...

Обо всем этом мы толкуем с секретарем Яковлевым, пока техническая дирекция обдумывает телефонную просьбу рудкома о даче мне разрешения на осмотр дуйских шахт. Наконец раздается звонок, трубка вещает согласие. Взаимная вежливость соблюдена — штейгер ждет моего прибытия.

Но прежде чем идти в сопки, в шахту номер три, мы направляемся к конвейеру, выходим к самому окончанию его. Там длится погрузка. На рейде, в полкилометре от берега стоит пароход и принимает с кунгасов уголь. Деловитый, серый, до черноты запыленный угольной пылью катер подводит порожние кунгасы под переднюю ферму погрузочного устройства, с которого уголь сыплется прямо на дно кунгаса. Самая мелкая пыль относится ветром и далеко порошит волны Татарского пролива. Бесконечная лента, шириной около метра, толщиной примерно в палец, движется с равномерно насыпанной на ней полосой угля, и там, где эта лента уходит под помост, слышится ровный гром тяжелой осыпи. Кунгас, оседая, покачивается внизу на волнах. Весь экипаж его чернее негров.

Лента конвейера тянется с берега чуть ли не на полкилометра, конца ее не видно. Зрелище эффектно: кажется, что пароходы приходят из Японии к Сахалину, как к какому-то чудесному неиссякаемому углепаду. Уголь течет с сопки равномерной рекой прямо в карман предпринимателю.

— А знаете ли вы, — обращаюсь я к Яковлеву, — что дуйская концессия преградила доступ к морю Макарьевским месторождениям и наши горняки ломают себе головы, как организовать транспорт угля?

Да, все рабочие это знают, знают и то, что разрабатываемый концессией пласт уходит за границы концессии и служит предметом постоянных вождений концессионеров. Наклон пласта обращен в сторону Дуэ, что особенно облегчает добычу его, не требуя механизации подема. Для нас же, для Макарьевских месторождений, наклон его создает затруднения в разработке.

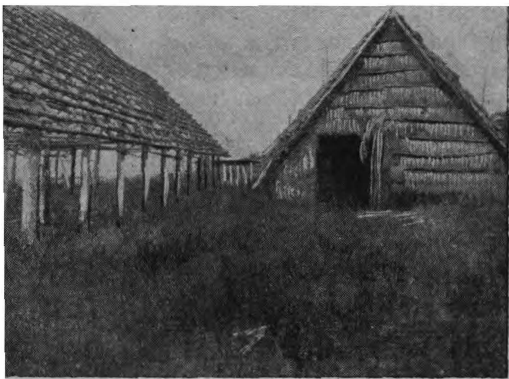
«Но мы подыдем с другого конца» — вспоминаю я уверенно замечание одного из руководителей советской горной про-

мышленности острова, старого донбасовского рабочего, товарища Швеца.

«Да, — запоздало и заглазно возражаю я ему, — но вопрос транспорта этим не будет решен. А дороговизна транспорта может свести на-нет всю доходность богатейших Макарьевских месторождений. И все это из-за того, что Дуэ — в аренде у капиталиста...»

Погрузочное устройство стоит на прочных бетонных быках, способных выдержать напор волн во время весенних и осенних штормов. Верхние строения его деревянные, скреплены железом. Очевидно на случай остановки конвейера вокруг идет линия узкоколейки для подачи угля непосредственно в вагонетках. Мы возвращаемся по этой линии на берег и проходим мимо русских женщин, которые стоят возле ленты конвейера и по временам выхватывают руками, одетыми в перчатки, куски чужеродной породы. Сказывается внимание к качеству выбрасываемого на рынок топлива.

Вот и начало конвейера, ушедшее под землю. Здесь, около здания элеватора, рельсовый круг, прегражденный электро-механическим барабаном. Сюда с грохотом подбегают вагонетки, пущенные с сопки. Они останавливаются недалеко от барабана и ждут, пока их схватят и введут по-двое внутрь в зажимы. Включается рубильник, введенные вагонетки опрокидываются вместе с участком рельсов, на котором стоят, а из-под земли показывается только-что



Восточное побережье, район реки Лангери. Тип рыболовецких промысловых построек на б. японском промысле. Корнос слева из жердей, связанных соломёнными веревками. Справа — то же, покрыто соломёнными циновками.

опороженная пара вагонеток, укрепленная, как антипод, в симметричной части барабана. Быстрыми, привычными движениями рабочий выводит ее с тем, чтобы ввести на смену новые, наполненные.

Работает японец. После мне приходилось не раз видеть японцев в труде, и позднейшие впечатления никогда не противоречили этому, первому. Японский пролетарий работает умно и ловко, движения его наполнены нервной чуткостью, находчивой изобретательностью. Возле металла машин, на палубе парохода, на веревочном трапе, везде обнаруживает он цепкий глазомер, работе его поневоле вчуже сочувствуешь. Только... поменьше бы ему подобострастия в отношениях с начальством.

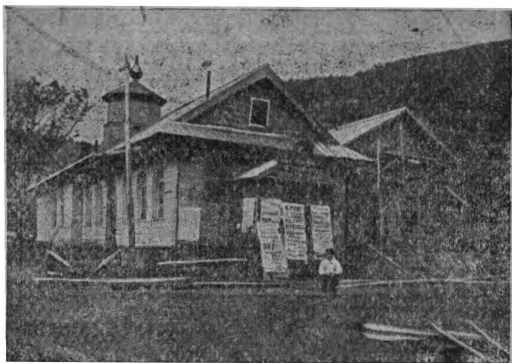
Мы минуем элеватор, заглядываем мимоходом в баню, где моются вернувшиеся из шахт забойщики, в помещение электростанции, щеголяющей порядком и чистотой, я расстаюсь с Яковлевым, чтобы идти дальше уже одному, и тут-то натыкаюсь на двух корейцев. Здесь, на линии, устроены тормозы. Разбегающиеся сверху вагонетки проходят сквозь них и теряют стремительность своего бега, — иначе они разбились бы внизу, у элеватора. Тормозчики-корейцы налегают на рычаги тормозов в тот момент, когда поезд, состоящий из пяти-восьми никем не управляемых вагонеток, подходит вплотную. До этого им делать нечего, они полулежат на шпалах и курят. В руках у них длинные тростниковые трубки с маленькими медными головками. Из таких трубок курят обычно опиум. Я не спрашиваю корейцев, что у них в трубках, мне уже известно, что среди восточных рабочих Дуэ принято подмешивать в табак опиум, мне уже видны блаженные улыбки бледнозагорелых лиц и несколько остекляненные глаза. В этом виновата не только контрабанда. Вспоминается рассказ одного из наших сахалинских хозяйственников о его постоянной борьбе с торговцами опиума. В глухой тайге засеивают они целые поляны маком. Обysкать всю тайгу невозможно, но всякий раз, как наши лесорубы натыкаются на эти тайные плантации, вслед за ними появляется наш косарь и выкашивает дотла зловредный злак...

Вот и гора, текущая черной кровью. Пятивка узкоколейки уткнулась головой

в ее подошву, вгрызлась и пьет. Как глотки, наглядно, судорожными кольцами спускающиеся по телу червя к хвосту, как кровь, пробегающая волной по артериям, так, отрываясь от подошвы сопки, как бы передавая пульсацию подземного сердца, бегут вниз маленькие поезда вагонеток. До половины крутого склона, метров на сто вверх, сопка прикрыта осыпью угля, выбрасываемого сверху эстакадой. Внизу эта осыпь почти касается полотна узкоколейки. Здесь рабочие с лопатами в руках तो ропливо нагружают очередной состав. Вверху несколько человек, кажущихся за дальностью расстояния мальчиками, по пояс в сыпучем угле возятся, распределяя массы угля и вызывая равномерные оползни. С эстакады хоботом спускается коленчатый желоб, дающий начало черной непрерывной лавине коксующегося горючего. Невдалеке от места погрузки валяются заржавевшие приспособления для механизации погрузочных работ. Поневоле задаешь себе вопрос: что вывело их из употребления, временное ли несоответствие назначению или все та же ставка на дешевый труд чернорабочего?

Чтобы пройти в контору шахты, надо подняться на естественную выемку, там два-три небольших домика жалко сереют среди пышных трав. Вхожу в тот, что указан мне сторожем-китайцем. Навстречу приподнимается из-за стола маленький человек с волосами из черного лоска. Это штейгер Сингавара. Ему уже звонили по телефону о моем посещении, он готов меня сопровождать. С веселой, чуть суетливой вежливостью, сквозь которую просвечивает добродушие сытого человека, он заботится о моем костюме, — в длинных переходах под землей без прозодежды не обойдешься. Зовет сторожа-китайца, уже успешного исчезнуть, роется по шкафам, вытаскивает плащ, перчатки, лампочку Вольфа и наконец раздражается возмущенной речью, обращенной к китайцу. Среди короткосложных звуков узнаю не без шовинистического удовлетворения матерное слово. В произношении Сингавары оно звучит по-детски и смягченно, словно пропущенное сквозь горло басовитой птицы.

Одеваю плащ, он едва достигает колен. Сингавара и китаец завязывают



Рабочий клуб дуйского рудкома.

мне веревочки рукавов, — вместо того, чтоб у запястья, где-то около локтя. Хорошо, что каскетка, на которой укреплена лампочка Вольфа, устроена со шнуровкой, — мы распускаем ее, и тяжелый фонарь плотно придавливает мне лоб. Остается надеть перчатки — пара толстых нитяных перчаток неуклюжа, как военное обмундирование. Штейгер одевается подобно мне, с той только разницей, что повязывает шею коротеньким полотенцем, такие полотенца видишь на шее всех рабочих японцев.

— Зачем вы носите?

— Пот выветлеть и не простудиться, — отвечает веселый Сингавара.

Вход в начальный штрек — шагах в пятидесяти. Дыхание холода охватывает нас, одновременно происходит то же, что бывает после антракта в театре: тухнет кругом свет и загорается рампа сцены, дневной свет блекнет с каждым нашим шагом, и все ярче разгорается сноп лучей, брызжущих с наших лбов. Лампочки заряжены превосходно, нам далеко видны крепления высокого и широкого штрека.

Вот уже и сырость подземных вод. Крепления чернеют от потеков, сверху по временам капает, штрек сужается, становится ниже, сквозь дерево крепи просвечивает порода. Я верчу головой с таким ощущением, словно глаза мои светятся и лучеиспускают в темноте, как у какой-то фантастической кошки. Луч бежит все дальше, нащупывает изгибы штрека, но кругом пусто, — разработки ушли далеко в глубь, человек давно прошел здесь со своим кайлом.

Сингавара говорит, что общее протяжение ходов шахты около полутора ки-

лометров. Сейчас он идет впереди меня, слегка танцуя от веселья. Я думаю, это оттого, что в руках его штейгерский топорик, символ принадлежащей ему власти. Кстати сказать, японцы любят всякие знаки отличия,—на робах японских рабочих, приходящих по праздникам в Александровск, красуются вышивки торговой марки концессии и узор, соответствующий чину рабочего. Владелец платья носит его гордо, с достоинством... Сингавара тюкает своим топориком по той или другой крепке и что-то бормочет. Если он хочет произвести на меня этим впечатление, то это ему удается,—я ничего не понимаю, но каждый раз вместе с ним осматриваю крепь, и она мне кажется подозрительной. Все больше растет сознание, что над нами повисла всей тяжестью гора, и странно, как это выдерживают ее давление эти горбыли креплений.

Долго идем мы по подземным коридорам, так долго, что я совершенно теряю направление. На пути нашем попадают места заброшенных разработок, следы снятых рельсов. Вот наконец повстречались первые люди, обменявшиеся с нами приветствиями. Вот стали доноситься глухие удары, потом примятые тяжкими сводами звуки голосов, и коридор раздался, вправо открылась уходящая вверх колоннада креплений. Под ней внизу коногоны с вагонетками грузят уголь. Сингавара знаком приглашает меня к подъему: здесь разработка восходящего пласта, из горы вынут целый слой, создалась широкая пустота.

Ноги беспомощно скользят по крутому и скользкому склону, отполированному падением угля. Как и всегда, уклон восходящего пласта используется для подачи угля с места работы к месту откатки. Поэтому подъем наш затрудняется тем, что навстречу нам низвергаются оползны угольной сыпи. Кое-как, по щиколотки в угле, цепляясь за балки креплений, мы достигаем наконец того места, где целая шеренга забойщиков врубается в толщу горы.

Потные, бледные сквозь черноту угольной пыли лица поворачиваются навстречу лучам наших лампочек. Высеребранные о породу кайла сверкают своими бивнями в руках рабочих. Сингавара вступает в деловой разговор с

забойщиками, я же пользуюсь возможностью, чтобы спросить:

— Скажите, были ли несчастные случаи?

— Недавно был небольшой завал в одном из оставленных забоев. Дело обошлось без жертв. За техникой безопасности следим мы сами.

Снова улавливаю в интонациях собеседников необычный оттенок. Работа, за которой я их застал, — честный труд ради куска хлеба, его нельзя не уважать. Да, но... нам как будто не о чем говорить: не все ли равно, сколько тонн добычи сбросили сегодня вниз, в трюмы концессионного парохода? Этот пот, вытертый со лба рукавом прозодежды, напитает ткань японской выработки, заработок уйдет в концессионную лавочку, над складами добытого угля где-нибудь в Йокагаме будет красоваться все та же торговая марка, что бубнами легла на спинах и руках рабочих-роб. И мы чувствуем, что тон нашего разговора никак не может подняться на высоту интересов, привычных для советского рабочего: о вопросах посторонних не время говорить среди рабочего дня, а производственные близки только японскому хозяину. Уж лучше поговорим после, вечером, в клубе.

Сингавара ползет дальше, вверх. Сгибаясь в три погибели, с трудом проползаю вслед за ним в какую-то дыру. Опять штрек, повороты и встречи с коногонами, опять ровный шум. На этот раз — разработка нисходящего пласта. Но у меня уже нет охоты спускаться вниз, чтобы увидеть все то же безотрадное зрелище ратоборства человека, вооруженного тяжелым, неуклюжим кайлом, с неподатливой твердыней горы. Иду туда, откуда приводится в движение стальной тросс, вытягивающий снизу вагонетки в небольшую нишу, занятую электромотором.

Здесь гром и металлический скрежет. Мотор на всю шахту кричит: «Смотрите, я облегчаю труд рабочего, это я поднимаю вагонетки по уклону в 45 градусов, это я представитель механизации, которую проводит хозяин в шахтах...» Работу мотора регулирует русский рабочий. Грохот так отдается в стенах, что кажется, они дрожат от звука, кажутся ненадежными крепления во-круг мотора. Механик рассказывает, что

действительно не так давно от кровли отвалился увесистый кусок породы, к счастью не причинивший никому вреда. Отхожу от этого предела хозяйского попечения о шахтах с мыслью, что никогда не видел машинного помещения грязнее, хуже, а почему бы ему быть таким, хотя бы и под землей.

Откаточный штрек ведет нас к эстакаде, той самой, которая завалила полсклона сопки углем. Но поворачиваем куда-то в сторону, попадаем в какие-то узкие переходы, и вдруг волна душистого тепла хлынула нам навстречу вместе с бледным рассеянным дневным светом. Выходим на волю, и я не могу узнать местности: или обманчивые ощущения подземелья подсказали мне близость знакомой эстакады?

Только теперь понимаю, до чего же холодно в шахте. С удовольствием греюсь в августовских лучах солнца. Август — здешний июль, самый знойный месяц островного климата. Сингавара идет по тропинке впереди и по временам наклоняется, рвет цветы. Мы огибаем верхнюю треть сопки и, верно, проходим на эстакаде, а под конец — высоко над постройками конторы шахты. Спуск очень крут, но Сингавара не может и здесь пощадить ни одного цветка. Когда мы попадаем в контору и разоблачаемся, у него в руках уже целый букет. Он вынимает чистую пару перчаток, надевает их и становится похож не то на деревенского визитера, не то на наивного жениха. Рабочий день его кончен, он идет, должно быть, к жене. Мы возвращаемся в поселок вместе, и встречные рабочие здороваются с ним, называя его Сингавара-саном, — такова принятая здесь форма обращения к японцу.

Что же внесли капитал и японская техническая мысль, кроме электромотора, в постановку работ дуйских шахт по сравнению с той, от описания которой уклонился Чехов сорок лет назад, ограничившись замечанием «... меня водили по мрачным, сырým коридорам...»?

Обедая в столовой, организованной рудкомом, не утрачиваешь впечатления чистоты простых ее стен, мебели и тогда, когда садишься к столу за свой прибор. В меню входят мясные консервы американского производства. Говорят, что против них, за свежее мясо,

разгорелась большая борьба рабочих с концессионными снабженцами. Помимо утомительности консервного питания, причина недовольства рабочих заключается в том, что американские консервы содержат много суррогатов. Но только недавно удалось добиться завоза стада убойного скота для столовой и молочного — для детей.

Знаменательная зависимость: чем больше организация производства стремится отбросить рабочего к условиям дореволюционного существования, низвести пролетария к роли подъяремного скота, тем богаче разворачиваются все формы его самостоятельности, тем любознее самоотдача себя всем видам общественной работы, которую в Дуэ язык не повернется назвать «нагрузкой». Ни в столовой, ни в других общественных учреждениях не чувствуется тени казенной официальности. Здесь рабочий словно находит компенсацию той сухости, которой окрашены все отношения его с предпринимателем.

Рабочий клуб помещается в бывшей церкви. Это — центр поселка, единственный перекресток, — небольшой отрог долины позволил здесь домам уйти в сторону, наметить короткую улицу, ведущую к северу. И клуб сумел стать подлинным центром и перекрестком всех линий общественной жизни дуйского горняка. Достаточно притти вечером в его читальню, чтобы почувствовать, как много значит на этой дальней окраине умело и любовно организованный культурный центр. 15 центральных газет и 47 журналов с приложениями не лежат праздно по столам, над ними постоянно склоняются головы, читальня прочно вошла в бюджет времени дуйского рабочего. Библиотека, числящаяся при школе I ступени, насчитывает 2.850 названий, из которых 150 томов полных собраний сочинений. Немного, но если вспомнить, с каким трудом попадала книга до сих пор на Сахалин, как бедно обслужены ею другие населенные пункты острова, станет понятна добросовестность работы библиотечного кружка дуйского рабочего клуба.

Не так удачлив радиокружок. Хорошо слышна только передача японских станций. Прием работы хабаровской радиостанции до сих пор не ладится, и радиослушатель Дуэ принужден доволь-

стоваться фокстротами, уже прижившимися в Японии.

С увлечением работает фотокружок. Спортивный не развернулся, мечтает о лодках, о тренировке по плаванию. И конечно живее всех музыкальный и драматический. Своим оркестром из духовых инструментов дуйцы гордятся не без основания, — это лучший оркестр на острове, в торжественных случаях Александровск не может обойтись без его участия. Драматический кружок успевает готовить по три постановки в месяц, включая сюда живую газету, — хватает охоты и азарта. Работает и киноустановка.

Постоянное больное место, предмет споров и раздражений клубных работников — репертуар пьес и фильм, присылаемых с материка.

— Невозможный подбор, — жалуются дуйцы. — То престарелая, изодранная картина из великосветской жизни, то фальшь и скука такая, что зрители с половины расходятся. Срывают нам работу.

Школа I ступени и детская площадка на 35 человек обслуживаются силами окроно, но новое здание для школы строит концессионер под нажимом рудкома.

Имеется еще и клуб восточных рабочих. Посетителю, незнакомому с язы-

ком, трудно оценить его деятельность. Лишь внешнее впечатление удерживается в памяти: большая комната с иероглифами вертикальных лозунгов, портреты Сун Ят-сена и Ленина, окруженные росписью тех же иероглифов.

Но самая наглядная материальная иллюстрация общественной жизни дуйского горняка — это конечно сад. Он взобрался высоко на сопки, подьем к нему облегчен петлей отлогой дорожки. Часть тайги окружена здесь кольцом ограды, расчищена, рассечена, разбита узором дорожек. Часто стоят скамейки. Досчатый летний театр вырос перед площадкой, ставшей партером для зрителей. Все это сделано руками рабочих, добровольным взносом своего труда на пользу коллективу. Вложено этого труда по общему подсчету на десять тысяч рублей.

Сад велик, чудесное место гуляний. В том краю его, что выходит к поселку, имеется площадка для оркестра, выдвинувшаяся бастионом на юг. Отсюда, гуляя, может рабочий одним спокойным взглядом окинуть поселок. Сад, созданный его руками, так же поднят над территорией концессии, как социальные навыки советского пролетария подняты над своекорыстной хозяйственной суетой концессионера.

2. ОТ МЫШЦ К МАШИНЕ

Очерк.

Дан. Крептюков

I. Как рождаются артели

В декабре 1925 года, когда Нижний Тагил был занесен снегами, горсточка кустарей-одиночек — лудильщиков, жестянщиков, — всей этой «дикой» бедноты уездных наших городов и местечек, перебивающихся с хлеба на квас, собралась и решила объединиться, чтобы вместе, в маленьком коллективе, легче было одолевать нужду. Их было пятеро.

И первым председателем артели был избран ее организатор — Константин Николаевич Васильев, горняк, партиец, теперь превратившийся в лудильщика, жестянщика и бляхара. Где-то на задвор-

ках, где господствовали запахи дешевых кухонь, помойных ям и дикорастущих бурьянов, заняла молодая и крохотная артелька небольшое помещение, тесное и душное, расставила свои немудрые станки, а у ворот вывесила вывеску:

«1-я Нижнетагильская Кустарно-Промысловая Артель Кустарей Металлистов».

И далее шла узкая, теснимая экономией железа, краски и труда перекличка всего того, что предлагала новая артель своим заказчикам. Здесь были и бидоны для керосина, и ремонт старых ведер, и отклепывание новых из жести мастерской или заказчика. И умывальники, и тазы,

и жаровни, и выгоревшие железные сковороды, и затейливой формы чайники, пережившие уже несколько людских поколений, и кофейники с выгоревшим днищем, и острупевшие, изморщенные старостью и нуждой медные мисы, и озеленевшие, с проваливающимися трубами, неуклюжие, издырявленные самовары, и множество другого барахла. Все это сортировалось, разбивалось на ряды и очередования, все это оценивалось по стоимости ремонта. На каждый такой заказ артель выдавала особый ярлык, в котором указывала срок выполнения заказа, стоимость ремонта и в чем заключается ремонт.

И тогда, гонимая этой новинкой, хлынула городская беднота в новую артельную мастерскую с заказами. И уже к концу первой недели своей короткой жизни набрала артель заказов на месяц.

Встал сам собою вполне закономерный и своевременный вопрос:

— Надо расширяться...

Как-то вечером, когда с занесенных снегом уральских увалов наносило цепящим холодом, а маленькая мастерская тонула в керосиновом чаду от замурзанных, подслеповатых коптилок, в кислотном духу, в запахах бурсы, прижженных паяльником выржавевших жестяных вещей, вбежал в мастерскую Васильев:

— Э-эх, братва, и дельце же я отпаял, — что щи с бараниной...

Обступили Васильева кустари, сдвинулись:

— Говори, в чем дело?.. Да не тыми ты...

Васильев оглядел кустарей и с торжественной тихостью сказал:

— Заказ сегодня получил новый... И большой...

Кустари уставились в Васильева глазами:

— Ка-кой заказ?.. Где заказ?.. Чего выдумал?..

Васильев, крикнув, словно врубаясь широким вологодским топором в комлеватую кору, выкрикнул:

— Э-эх, и жистичка ж починается! Помирать не хочется! — И сразу серьезничая, тихо сказал обступившим его кустарям:

— Заказ на двести подносов... Понятия?..

Пять голосов из пересохших глоток

тревожным криком раскололи мастерскую:

— Каких подносов?.. Что еще удумал?.. До смерти близко...

Васильев, омякая под колющим взглядом всей этой сбитой воедино артельки, выговорил:

— Брось, братва, труса праздновать... С головой чать я...

Была тишина в мастерской. Не слышно было даже дыхания этой пятерки. Тогда Васильев, выпрямляясь и возрастая над людьми, обступившими его в кольцо, жадно вглотнул воздуха и крикнул:

— Двести подносов для больницы, для школ, для учреждений нашего города — Нижнего Тагила... С кооперацией нашей... А там, сказали, ежели заказ выполним, долгосрочная ссуда гремит. Понимаете?.. Что онемели?.. Ссуда, говорю...

Но кучка кустарей стояла не дыша словно в эту последнюю минуту окидывая воспоминанием всю прошлую мрачную жизнь, всю неуверенность изо дня в день на протяжении десятков лет: придет ли заказчик, будет ли сегодня голод, как был вчера, или занесут, может быть, ломаную жаровню с ремонтом на двадцать копеек...

Только один из всех коротко сказал:

— Каки подносы?.. В уме ли ты?.. Нам ли до подносов-то?..

А потом были крики, звериные возгласы. Людские голоса мешались со спокойным сопом Васильева:

— Во гроб загнать нас захотел, ш-шантрапа... А еще партейный. Голову отвернуть тебе мало...

— Договора заключать такие, что б последнее барахло пропало...

К поздней ночи стихло в мастерской. Только видно было сквозь отиндевшие окна пять склоненных голов над одним из станков. На выщербленном полотне станка лежал лист белой бумаги, а по этому листу, слюнявя карандаш, Васильев медленно писал:

«Железа шестифунтового на 200 тазов надобно 50 листов... Масла для выгнечивания тазов у печки варёнава 4 хунта...»

Склоненные головы всхрипывали от натуги, курили одуряющую махру, а за окном, как на экране кино, на темнолиловом небе сторожила землю неподвижно

ная, удивленная луна. Крепчал мороз к утру.

На другой день, растирая на ходу озябшие руки, вбежал в мастерскую широкоплечий, грудастый человек. Кустари оглядели человека. Один из четырех, откладывая паяльник и оставляя баночку с кислотой, спросил участливо:

— Погреться забежал?.. Ну-к што ж—грейся...

Но широкоплечий, надувая тугие с мороза щеки, выговорил:

— А вы-то что ж, поди, и не знаете?.. Како там греться,—жрать-то ведь нада...

Клочковатая борода и голубые глаза одного из кустарей вынырнули навстречу широкоплечему:

— Зачем же пришел, раз не погреться?.. Али с заказом каким знатным... х-хо-хо-хо...

Борода х-хокнула, но широкоплечий мрачно и жестко сказал:

— Чего гогочешь, волосатик, не было бы дела, не ввалился бы в мастерскую.

И, постояв молча, уставив большие коричневые глаза в залежи жестяного мусора, как бы оценивая всю эту скудость и нищету мастерской, широкоплечий неожиданно вскипел и брякнул:

— Тоже злыдни и вы!.. А тот, с-сукин сын, короста, лешего тешил... И кто его шпану за язык тянул?.. Говорит, иди, говорит в первую кустарно-промысловую артель «Пролетарий», там, говорит, мастерская на полном ходу даже, и все как следует... А еще партийный,—кор-роста...

Один из четырех, завертывая козью лапку, равнодушно спросил:

— А ты что умеешь делать?.. Мастерство у тя какое?..

Широкоплечий, вконец обескураженный, проходя к порогу, взялся за щеколду. Потом, подняв голову, зыкнул сквозь зубы:

— Подносник я. Работа у меня чистая, не то, что у вас.

Тот же бородатый, поедая глазами широкоплечего, медленно жгуче тянул:

— Подносник нам нужен, все одно как поясок ко штанам. Сами смотрим игде б подносника достать, а он глядь—лезет в избу.

Подойдя к широкоплечему, он вытянул плоскую свою руку с длинными

крючковатыми пальцами и положил ее на плечо новому:

— Садись, гостем будешь, а завтра и за подносы. Матерьял предоставим и все такое прочтее. В артель впишем ежели что...

И помахал у нового перед носом рукой.

— И роспись подносов на разные цветки такие прочтчи знаешь?

Широкоплечий весело пристукнул левой ногой.

— А как не знать... Хоть литарским цветком, а хоть московским.

Он остался в артели, а на другой день уже загибал концы подносов, раскраивал листовое железо, смазывал листы вареным маслом и ставил прожаривать в печь уже готовые подносы.

Так возникла эта маленькая артель и так она прошла первичный свой путь развития—тревожный путь, полный борьбы, сомнений и лишений.

2. Не по дням, а по часам

Мы идем по цехам артели «Пролетарий», всползаем винтовыми лестницами на какие-то антресоли, где ютится цеховая рабочая конторка.

Маховики рядом с нами, жужжа и торопясь, бегут все в одном и том же направлении. Мне кажется, что бегут они в какую-то околдовывающую даль, где будет как-то по-особенному хорошо.

Костя Васильев идет рядом со мною в длиннополом черном пальто. Он путается ногами в полах пальто и оттого кажется неуклюжим младенцем. Он идет и бубнит:

— Вот так-то... Начали с пятерых кустарей, теперь имеем до четырехсот... Да вот только помещение душит... А все же я знаю—до тысячи довалим... И еще знаю, что превратимся мы в конце концов из артели в завод...

Так оно и должно быть. Кустари, объединенные в артели, это—«младшие братья пролетариата». Они выполняют те же задания государства, что и вот этот, огненнодышащий рядом с артелью, железный гигант—Нижнетагильский завод.

Но Костя обрывает мои размышления и, отчеканивая свою мысль в ясные слова, продумывая, роняет медленно слово за словом:

— И вот же как уломал я тут одну «дикую» артель в 1927 году — так и посунуло к нам в артель, так и посунуло... Уж мы и не рады были... Сказано — первый шаг труден, а потом поперли, хоть отгоняйся... Потому каждый понял, что одному или в артели «дикой» не уживешь... И кредит, и доверие, и развитие делу, одним словом... А теперь — глянь-ка!..

Сверху с антресолей мы смотрели вниз на громыхающие цехи. Там мотались люди, красные платки, синие блузы. Это был завод, а не кустарная артель.

— А организация труда?..

Костя торопился с ответом:

— Главный технорук... Целый отряд бригадиров... Ударные бригады... Социалистические цеховые соревнования...

— А учет труда?.. Как с учетом?..

— Расчетные книжки... Ежедневный табель... Сдельщина... Зарплата... Полумесячные получки...

Хребет сломан у «мастерской». От нее ничего не осталось. Торжествует «завод» со всеми своими могущественными признаками.

Внизу ревели цехи, сновали люди, цепко охватывала шестерня шестерню симметричным оскалом требков-зубов. Запauтиненная, заснованная приводными ремнями, билась и скрежетала, ликованно жила и млела в упоении налаженной жизни.

А табельщик, а бухгалтер в производстве, в отличие от главной бухгалтерии, находящейся где-то во вне производства, уже совал мне в руки ряды таблиц... Цифры, подбитые итоги, хорошо выведенные показатели, «обрамленные» снизу ровными прямыми чертами. В первой таблице можно было прочитать:

Козырьковое производство.

Выпущено: в 1927 году 1.000.000 козырьков на сумму 36.000 рублей.

В 1928 году — 1.600.000 козырьков на сумму 57.000 рублей.

В 1929 году — 2.000.000 козырьков на сумму 72.000 рублей.

За 4 месяца 1930 г. — 3.500.000 на сумму 126.000 рублей.

Тут же над столом, в застекленной витрине я увидел эти козырьки: дугообразные, выгнутые, как козырек у фуражки. И громко подумал:

— Смола и скипидар—это тоже достояние республики. Попробуй-ка без

канифоли пустить хоть самую простую машину...

А козырьки эти как-раз и служат для стока смолы при осачивании сосны для канифоли...

Я принял очередную таблицу из рук бухгалтера, положил ее на стол, расправил рукой и наклонился над таблицей:

Производство кунганов мусульманских:

В 1927 г. — 3.000 штук на сумму 7.000 рублей.

В 1928 г. — 7.000 штук на сумму 16.000 рублей.

В 1929 г. — 16.000 штук на сумму 34.000 рублей.

За пять месяцев 1930 года—25.000 штук на 60.000 рублей.

Таковы эти кунганы. Я вспомнил, как доводилось мне видеть вот такие кунганы, похожие на большие кофейники, у татар в степной части Крыма, и сказал об этом Косте. Костя взбудораженно округлил глаза:

— Не только в Крым, но даже в Монголию, в Северный Китай идут наши кунганы как экспорт!

А дальше пошли поочередно: паспорта для телеграфных столбов, железнодорожные фонари разных систем, ковши для подема штукатурных растворов на постройку, внутренние штампованные сундучные замки, несметное количество барочного шпилья.

Тут же в витринке прислонился ручкой к стеклу настоящий крестьянский питьевой ковш. Вот-вот из деревни, от кадушки с водой. Ковши выработывает артель «Пролетарий» и расшвыривает по всему нашему Союзу. И тут же — небольшие из листового железа предохранители для телеграфных стеклянных чашек, предохраняющие эти чашки от частого боя.

Цифры:

Подносов разных — 500.000 штук на сумму в 250.000 рублей.

Ковшей питьевых — 300.000 штук на сумму до 180.000 рублей.

Фонарей железнодорожных — 30.000 штук на сумму до 50.000 рублей.

Замков сундучных — 20.000 комплектов на сумму в 50.000 рублей.

От цифр идем к станкам и к людям, которые являются творцами всего этого, многомиллионного добра.

3. В цехах

Их пять или шесть. И все они несложны, уставлены какими-то незнакомыми мне станками с простым устройством, которое можно проследить и изучить тут же.

В цехах — люди: кустари или рабочие? И то, и другое. Костя говорит, что все же они в большой степени кустари. Он точно формирует почему:

— Нутром еще не вышли они, чтоб в полные пролетарии значит...

Станки гудят, как многие миллионы медоносных пчел. Приводные ремни, как отпущенные струны, сопато взгаркивают и, дрожа, беснуясь, неостановимо летят все в одном и том же направлении. Костя заканчивает свою мысль:

— А потом мы в конце-то концов — собственники... Это все наше, куда ни поверни... Завод этот или комбинат, или там мастерская — она наша собственность... Нам государство давало ссуды разные, кредиты и все такие льготы, но предприятие-то наше и зарплата — это только условность... Ежели мы вздумаем полодырничать, нас само предприятие взгреет, потому что не заработаем мы и на прокорм...

Прерывая его, спрашиваю:

— Не это ли тот самый козырьковый цех?..

Костя знает предприятие на ощупь. Он не смотрит в том направлении, куда я ему указываю, но уверенно говорит:

— Как-раз — козырьковый цех...

Подходим к небольшому чистоплотному столику изогнутой формы и явственно слышим режущий этот звук:

— Ззззз...

И через две секунды отрывисто:

— Клямк...

Как-будто дверная щеколда, когда закрывают дверь, клямкнула в железную выемку скобля.

Я еще не вижу, отчего этот странный звук. Неотрывно прослеживаю глазами: у станка высокий, хорошо оснащенный крепкой мускулатурой стоит молодой рабочий. Руками он захватывает один за другим правильные прямоугольные ломти листового железа и укладывает эти ломти плашмя к плоскости стола. У края стола вертится на подстойной, скрытой от глаз оси ролик, маленький и почти незаметный. Окружность ролика — в

острие, в жале, в лезвие. Под лезвие падает плашмя железный лист. И вот — режуще-свистящий звук:

— Ззззззз-и...

Ролик почти отколол полоску железа, узкую, как лента, извивную, как змея. Полоска упала в специальную деревянную подставку под станком. И уже снова, приложен лист, и ролик легко и свободно отрезал очередную полоску:

— Клямк...

В минуту несколько листов раскрыто на узкие ленточные полосы.

Это — роликово-резальный станок.

Блестящее оцинкованное железо широкой длинной лапшой падает под станок на кучу.

Снизу, из-под станка, уже другой рабочий подбирается к этой лапше, захватывает ее руками, как вилами, и отшвыривает к другому станку. Звякая и словно плача, лапша падает у другого станка и там, захватывая целые горсти, третий рабочий, на таком же станке, наотмашь и залихватски-уверенно сечет лапшу угловой резкой на нужной величины и формы лохмотья. Эти лохмотья — ромбовидной формы, все как один, одинаковы и все предназначены для одной и той же цели. И походят эти лохмотья на те лоскуты из теста, из которых хозяйки делают пельмени.

Но со второго станка этот лоскут, раскроенный и иссеченный, поступает к третьему станку. У станка стоят две девушки. Ловко подставляя лоскуты-одиночки под три прямые и жесткие иглы, сверкающие острыми колючими лезвиями, девушки выхватывают правой рукой лоскуты из-под игл, а левой подставляют следующий такой лоскуток.

Из-под правой руки выскакивает лоскуток, слегка согбанный, выгнувшийся от этого общения с тремя иглами. Я вижу на выгнутом лоскутке три дыры — правильно круглые, словно тщательно и долго оттачиваемые или высверленные длительным процессом. Но здесь на прокол трех дыр механическими иглами-пробоями ушло только полсекунды.

Костя нагибается над выгнутыми железными, пробитыми в трех местах и искромсанными лоскутьями, схватывает целую горсть, протягивает мне:

— Вот они — козырьки... Для всех химических трестов заказы выполняем...

Пятнадцать тысяч козырьков в смену при четырех рабочих на всех станках!..

Я слушаю Костю и раздумываю:

— Пятнадцать тысяч в смену... Эт-то уже темпы...

И спрашиваю:

— А сколько здесь всего-то смен?..

И он, гордясь этим массовым и нужным производством, коротко роняет:

— Непрерывка...

Эти станки, оказывается, не имеют никакого отдыха. Их даже смазывают на ходу, в работе. Я проникаюсь уважением к станкам. Я еще раз внимательно оглядываю станки. Они вполне соответствуют темпам нашей эпохи. Пятнадцать тысяч в смену — это сорок пять тысяч в сутки!.. На сорок пять тысяч осоченных для канифоли деревьев можно сделать в сутки вот таких козырьков. Разве это не темпы?.. И разве это не соответствует эпохе?..

Я вспоминаю кое-что из лесоводства и таксации:

— На гектар если взять даже тысячу осоченных деревьев — так это же будет за сутки этих козырьков на... пятьдесят гектаров!.. Это же темпы для кустарной артели!..

Костя сурово и деловито обрывает мои слова:

— На сегодня тысяча этих козырьков стоит тридцать шесть рублей... Такой стоимости добились через ударничество... Раньше, до ударничества, обходилась тысяча до сорока двух рублей... Пятнадцать процентов экономии!.. Да еще добьемся процентиков пятнадцати... Вот тогда и будет нормально... И будет тогда стоить тысяча козырьков тридцать рублей... Разве это не дешево — три копейки козырек, включая сюда и материал, и все расходы?..

Таково производство козырьков. И, кроме того, с выработкой козырьков надо всегда ставить производство так, чтобы оно в два-три месяца сумело покрыть все заказы химических трестов. Козырьки — товар сезонный. Осенью они не нужны. Нужда в козырьках только тогда, когда начинается движение соков у деревьев, то-есть весной.

На следующих станках выштамповываются телеграфные значки, то-есть своего рода «паспорта» для телеграфных столбов. Любой телеграфный столб при вкапывании его в землю отмечается вот

таким, с тремя лапками-гвоздиками, значком, на котором выдавлен год постановки столба. И повсюду — от Владивостока до Мурманска и от Минска до Ленинанкана — на каждом телеграфном столбе вы найдете эту его «метрику»: год постановки, год рождения столба. Этот столб отныне не «бродяга», утративший дату своего рождения. Он отмечен «паспортом», «метрикой», — как хотите назовите этот трехлапый, вбиваемый в древесину столба металлический значок. Таких значков артель «Пролетарий» выбрасывает в год до двух миллионов штук! Такими значками можно «запасартовать» два миллиона столбов при длине телеграфной сети в... сто тысяч километров! На сто тысяч километров расшвыривает артель «Пролетарий» незаметную, маленькую, «лоскутную» продукцию!..

Выбрасывается эта продукция по двадцать четыре рубля тысяча. За три месяца ударничества и социалистического соревнования отпускная стоимость снизилась с двадцати восьми рублей до двадцати четырех, то-есть на тринадцать процентов.

Итак,—от козырьков к «паспортам», от «паспортов»—к ручкам для строительных ковшей, от ручек—к питьевым ковшам, от питьевых ковшей—к сундучным внутренним замкам со звоном, столь любимым нашей деревней, от железнодорожных фонарей—к керосиновым бидонам, к чайникам, к умывальникам, к бакам, к ведрам, к кипятильникам, — идем мы по всему предприятию, еще не целиком усовершенствованному, требующему всяческих дополнительных механизаций. Но когда я говорю Косте о дальнейшей механизации, он косит своим смеющимся взглядом:

— А ты денег дашь или Чемберлен, думашь, даст?..

И, не получив от меня ответа, поясняет:

— Предприятие это стоит пятьсот тысяч без малого... Для того, чтобы окончательно механизировать его, надо еще вложить двести... Вот это будет да-а!..

И, помолчав:

— Но это только мечта наша... Где же денег взять, если на тяжелую индустрию еле-еле хватает... Не к Чембер-

лену ж, на самом деле, итти... И без того за два последние года мы из ничего, так сказать, на пустом месте предприятие сделали... Ведь, сам знаешь, когда «дикую» артель первую приняли, только и было у нас машин, что козырьковый станчишко старенький... А теперь — до полусотни станков... И все-то на своих спинах вынесли...

Костя спрашивает:

— Хочешь узнать, какие получили выгоды от механизации?.. Прежде зарабатывали тридцать пять, а то сорок рублей в месяц, а теперь к сотняге уже подкатываемся... Прежде, бывало, все пальцы поотбиваешь, покуда какой-нибудь чайничшко смастеришь, а теперь — ахнул шмат железа в машину, нажал рычаг, пустил электроэнергию — и готово...

Гудели цехи. Сплетались в сложную паутину невиданного узора сотни приводных ремней. Люди стояли у станков с сомкнутыми, безмолвными устами... Они выполняли свою пятилетку, данную им пролетарским государством... Пятилетка — в четыре года. Костя уже мне сообщил об этом.

Он как бы думал вслух:

— Попробуй-ка теперь, дай рабочему нашему задание раскраивать ручными ножницами вот эти лоскутья для козырьков... Да ни в жисть не станет работать... Были тут случаи такие, — когда станок на ремонт надо, хоть нанмай... Нам, кричат, с машиной сподручней и несравненно даже... Даешь машину! Да, меняется отношение кустика к окружающим его вещам, — к станку, к машине, к металлу... Тут тебе и конец старой идеологии...

И ближайшие станки, уверенно отгарцовывая по заповеданным им человеком путям, гремели, клохтали, скрежетали и ликовали:

— Конец-конец-конец-конец...

4. У кустарок

Подносный цех с живописным при нем отделением для росписи различным «цветком» уже начисто изготовленных подносов помещается не при главном предприятии, где сосредоточены остальные цехи, а в другом конце города.

Острый недостаток помещений тормозит дальнейшее развитие и расширение

артели. Поэтому артель вынуждена пускаться на такого рода меры, как дробление предприятия на части, территориально совершенно отдельные друг от друга. Нечего говорить о том, что это создает много неудобств, бесконечно удорожает производство, распыляет весьма ограниченные технические силы, а также и надзор. Достаточно указать, что артель и до сего времени, несмотря на слишком большие материальные возможности для этого, не может наладить клубную работу, так как, опять-таки, нет подходящего помещения.

Помещение подносного цеха носит именно глубоко кустарный характер. По этой причине и весь цех представляется крайне примитивным и тоже глубоко кустарным.

Вот мы входим в этот цех. Начало мая. Дни еще довольно холодные. К тому же вчера выпал снег, набежавший с гор вместе с ледяным сиверкой. Часть кустарей ютится в балаганных помещениях, похожих скорее на навесы для животных, а не на большой цех крупного производственно-кооперативного объединения, насчитывающего до четырехсот членов, имеющего одного оборудования почти на полмиллиона рублей. Люди сидят в этом «цехе» буквально один на другом. Друг другу мешают, так как скученность страшная. От этого и падение производительности труда, и удорожание себестоимости, и все остальные несчастья. Люди при таких условиях просто лишены возможности отнестись с должным прилежанием и напряжением к своей работе, так как восьмичасовой рабочий день в таких вот условиях стоит не менее двенадцатичасового: люди быстро устают, преждевременно изнашиваются. На первый взгляд как-будто и выхода нет, потому что другие артели Нижнего Тагила находятся во много раз худших производственно-жилищных условиях: к примеру артель «Луч женской кооперации»...

Итак — подносный цех. Провожая меня в этот цех, Костя нахмуривается, настроение у него падает, он нехотя вполочит ноги и бормочет:

— Вот этот цех — это же наше несчастье... Прямо давятся люди... Тут холеру или сыпняк недолго получить при такой давке... Не цех, а черная бо-

лезны!.. Как тараканов в запечье набилось сюда народа, а рассовать некуда... Еще просятся в артель; десятка два нерассмотренных заявлений лежит, а принимать боимся, потому что некуда посадить человека... Мы уже и не говорим о том, что некуда поставить хотя бы один еще станок, чтобы удешевить работу, облегчить труд кустаря...

Вот в этой маленькой душилке во втором этаже работают исключительно женщины. Здесь Носовы, Белохохловы, Григорьевы и другие. Все они проводят в этой душилке свыше трети своей жизни. Но что им дает эта душилка: теснота ужасающая, женщины сидят на низеньких «сапожных» стульчиках, перед ними сотни уже готовых подносов, которые они расписывают на разный манер и колер: цветком литарским, московским и другими.

Поступают сюда уже готовые, отштампованные и загнутые по краям, выравненные подносы. Но они еще черные и ненарядные. Их надо сделать нарядными, праздничными, чтобы все цвета играли на подносах и радовали взыскательный глаз широкого потребителя.

Здесь подносы набело осматриваются, обнаруживаются малейшие шершавости и трещинки, все это пускается в брак и исправляется.

К партии поданных из цеха подносов мы подходим с особой внимательностью. Процесс прост, но требует большой сноровки. Две женщины смазывают эти начерно отделанные подносы средним слоем олифы, не тонким, не толстым, именно средним слоем.

Так мне объясняет восемнадцатилетняя Белохохлова, комсомолка-ударница.

— Ежели смазать подносы олифой слишком жирно, а потом с этакой жирной смазкой в печь их поставить, они во время поджарки в печке враз «созборятся»...

«Созборятся», то-есть сморщатся.

Белохохлова говорит дальше:

— Ежели же смазать слабо, жалеть масла, олифы то-есть, так от этого вреда никакого нет... Только чтоб не было голых мест, и не будет никакого вреда... Ну уж ежели голые места непромазанные будут, тогда знову мазать, потому зборы заедять...

Дальше уже все просто и понятно, хоть сейчас подносником стать... Сма-

занные подносы ставят в «вольную» печь на поджарку. В этой «вольной» печке у самых сводов по краям лежат тлеющие угли, но без пламени. Это и есть «вольная» печь. И выжариваются в «вольной» печке подносы от пяти минут до пятнадцати, в зависимости от температуры. В печке подносы кладутся не прямо на полотно пачки, а на огромные из листового железа деки, которые у кустарей называются сковородами.

Весь первый процесс называется первой отжаркой. Во время первой отжарки под влиянием температуры олифа входит в расширенные скважинки и «поры» железа и закрепляется в них, образуя несмываемую даже теплой водой блестящую глазурь. Оттого и кажется такой поднос точно глазированным, но еще туманным, неясным и не совсем чистая на нем глазурь.

Подносы вышли из первой отжарки. А дальше еще проще: эти наперво прожаренные подносы хорошо остывают, потом их снова смазывают более толстым слоем олифы. В этой толстой смазке подносы кладут на специальные полки к потолку, и там они «доходят», то-есть сохнут одну ночь. На утро подносы уже ясные, нетусклые, чистые и отливают гляncем.

— А потом?..

Белохохлова берет один поднос и выводит кистью на днище подноса: «Нижнетагильская кустарно-промысловая артель «Пролетарий».

Реклама!.. Может быть, даже не реклама в собственном смысле, но желание блеснуть своей продукцией. Это — визитная карточка артели.

Затем девушка схватывает один поднос и подбегает к низкому, длинному столу, похожему на широкую скамью. На столе — целая кипа кистей и покрышек с разными красками. Девушка схватывает одну кисть, взмахивает ею несколько раз по лицевой стороне подноса... Потом хватает другую кисть, третью, четвертую... Не прошло и трех минут, а перед моими глазами настоящий расписанный московским ярчайшим цветом, праздничный, расцветший и сияющий поднос.

Но это еще не все. Надо в другой раз жарить. Потом подносы натирают белым алюминиевым порошком. И уже после порошка «набивают» краской. Красок

господствующих четырёх: кобальт, ярь, кармин, черная тушь.

Фантазии у набивщиц почти никакой: им приходится за смену «набивать» до пятидесяти больших подносов — и все одним цветком. Они во власти этого штампа. И в виду того, что работа узкосдельная, мастерицы «кроют» одним цветком. Зачастую всю свою жизнь они окрашивают подносы только одним цветком. Власть штампа! Никакого разворота! Никаких идей! Только штамп! И вот здесь есть прорыв, потому что пора бы правлению артели вместо литарских цветков на подносах перейти к чему-нибудь более современному, насыщенному нашим «сегодня».

5. Прорывы

Когда спросили у одного из старых партийцев, члена артели, о партийно-политической работе в артели, он прямо заявил:

— Работа у нас в этом направлении, надо сказать, плохая... Никуда даже негодная...

Дело было в подносном цехе. Во дворе лежали бесформенные кучи обрезков листового железа, которых уже коснулась рука глениа: обрезки пожелтели, их мочило дождиком, снега наваливало на них целые сугробы.

— Без пристрастия наша ячейка... Вот все равно как эти железные обрезки... В переплав бы их пустить, тогда, может, и какой толк будет, а так — одна... пустота.

Такова была правда из уст этого совсем не болтливого человека.

Когда мы начали вплотную подходить к работе ячейки, оказалось, что до апреля 1930 года ячейка ставила только однажды проработку вопроса о правом уклоне в ВКП(б). Не мало ли это при полном отсутствии политкружков?.. Другие стороны политико-просветительной работы тоже хромают на все ноги. Так к примеру на предприятии до 150 женщин, а женорганизатора... нет. Нет хотя бы малейшего признака работы среди женщин. А ведь здесь мы имеем дело с женщиной-кустаркой, положение которой было в прошлом особенно бесправно.

Есть красный уголок, но заведующий уголком открывает уголок тогда, когда

кустарь на работе, а, когда кустарь освобождается от работы, уголок закрыт.

Часто бывает так: стоит у дверей уголка десяток кустарей, у них есть охота почитать свежую газету, но они, простояв с полчаса, уходят, не дождав-шись зава.

Кружков по физкультуре нет. Политкружков нет. Кружки — драматический, музыкальный (струнный) и стрелковый, — работают слабо.

Только ликбез посещался хорошо и работал сравнительно исправно. Неграмотность среди кустарей, особенно кустарок, еще велика.

Политруководство выражено достаточно слабо. Его не видно и не слышно. Артель живет главным образом производственной своей жизнью, а от жгучих вопросов современности постепенно отходит. Если не начать лечить артель именно с этой «мозговой» и «сердцевинной» стороны, мы сможем явиться свидетелями в недалеком будущем всяческих уклонов в среде кустарей. Кустарь — это все-таки кустарь, а не чистокровный пролетарий. Всякая «парша» к нему пристанет быстрее и привьется успешней, чем к организму, идеологически более зрелому. Поэтому и «профилактика» здесь должна бы осуществляться «на все 100 процентов». А этого не видно.

В других артелях Нижнего Тагила, менее значительных, чем артель «Пролетарий», положение еще хуже. Достаточно указать, что в артели «Искра» в Нижнем Тагиле за два года сменилось руководство... восемь раз. Такие частые смены руководства не могут быть признаны нормальными. Человек еще не успеет приглядеться к предприятию, не говоря уже о знакомстве с кустарной массой, а его снимают, а завтра уже новый.

Но, думаем, недалек тот момент, когда советский кустарь довершит организацию своей сущности в духе борющегося пролетариата... И тогда из «младшего брата», каким он является теперь, он станет доподлинным пролетарием. Его переродит машина.

Для ускорения этого процесса нужно дать в артели побольше таких, как Костя Васильев, их должен выделить пролетарский актив, то-есть партия.

3. В ГОРОДЕ СПИЧЕК

А. Лежнев

С двух берегов

Борисов — небольшой провинциальный городок, внешне ничем не замечательный. Да и внутри замечательного мало. Но для Белоруссии — это город не совсем обыкновенный. Это — средоточие старой, давно развившейся промышленности. Это — один из немногих фабричных центров страны.

Надо оговориться: московские или ленинградские масштабы здесь неприменимы. Борисовская индустрия не обладает гигантами. Тяжелая промышленность не пустила корней в эту песчаную почву. Славен Борисов лишь спичечными фабриками да стекольным заводом. Правда, зато коробки его «запалок» расходятся далеко за пределами СССР и известны едва ли не всему миру.

Борисов состоит из двух частей: старого города, основанного на левом берегу Березины, и фабричного поселка Новоборисова, раскинутого на просторных высотах правого, западного берега. Между обеими половинами очень мало сходства.

Собственно Борисов — довольно правильно и аккуратно построенный город обычного «литовского» типа. На большой и квадратной базарной площади — собор с зеленой оградой. В воскресные дни — они же и базарные — все вокруг ограды занято крестьянскими телегами и лошадьми. Цвет сена и цвет собора замечательно соответствуют друг другу. Мерины грустными глазами глядят в церковные окна, полузакрытые осокорями. Они кажутся куда более набожными, чем их хозяева, которые ходят между возами, неохотно торгуются с городскими хозяйками и откуда-то из передка телеги вынимают яростно визжащий мешок с поросенком. Поросенки визги, запах грибов и сена царят над толпой, как бог саваоф, заточенный в соборе над нарисованным миром богамаза.

От площади аккуратные, мощные улицы расходятся по направлениям старых дорог. Имена их — Полоцкая, Ле-

пельская, Минская, — сразу создают местный колорит, географическую окраску, запах истории.

Пробираешься к ним в тесноте, между колесами, передками телег, копытами. Глаза невольно направлены вниз, — в поле зрения вместе с прядями сена и разбросанными комками конского кала вливаются ноги. Вся эта крестьянская толпа обута в сапоги. В прежнее время она была бы почти сплошь лапотной. Белорусское крестьянство знало лишь один обувной материал: лыко. Теперь «славянские сандалии» увидишь редко, больше на стариках. Сапог вместо лаптя — это много, это — почти символ.

В улицах нет тесноты и давки воскресного дня. Она вся осталась на площади. Небольшие дома степенно поглядывают друг на друга заспанными гляделками окон и зевают в руку. Сады и огороды здесь еще чаще и прибраннее, чем на минских окраинах. Иногда какой-нибудь цветник ослепит глаза искусно подобранным сочетанием ярких, торжествующих красок — и тогда думаешь, где же это люди находят столько времени и душевного спокойствия, чтобы сейчас с такой безмятежностью отдаваться этому декоративному искусству?

Улица или спускается вниз, показывая фасад небольшого костела, тюрьму, которая прежде была замком и стояла у самой реки; теперь река отступила, и главное ее русло отошло от города, к Новоборисову, или кончается обрывом. Над обрывом крест. Справа поднимается в гору лес. Под ним совсем деревенские домики, подбежавшие враспылку к лугу. Луг занимает весь кругозор. В нем тускло прорезана Березина. Темнеет. Леса и луг наполняются таинственной водой сумерек. Из-за палисадника сильной струей тянет запах белого табака. Тихо. Кто-то сидит на скамеечке у крыльца. Площадь опустела. Зато тротуары наполнились другой, гуляющей толпой. Гуляют здесь допоздна и добросовестно. До часу, до двух не умолкает шарканье подошв по шербатому асфаль-

ту. Гуляет молодежь: городская и с фабрик. Маршрут точно обозначен: от кино до гостиницы Боргоркомбината, и от гостиницы до остановки автобуса. Только очень сблизившиеся и занятые собой парочки решаются изменить его и сворачивают на деревянные мостки боковых улиц, пробитых, как штреки в темной ночной породе.

Новоборисов несоизмерим со старым городом. Он в другой смысловой плоскости. Это — фабричный поселок, каких немало в Московской и Ивановской областях: на улицах сохранились красноствольные остатки леса, и самые улицы еще не сформировались и часто напоминают просеки. Пустыри, фабрики, домики рабочих, раскиданные вдоль широких песчаных проездов, железнодорожные пути, казармы, — вот крупные черты, которыми означен его облик.

«Березина» и «Перемога»

Старая и новая фабрики очень отличаются друг от друга. Новая — бела, изящна, стройна. Ее цехи обширны и светлы. Машины заменяют, по возможности всюду, напряжение ручного труда. Огромные автоматы поглощают «соломку» будущих спичек, как кит — мелкую рыбешку, и осторожно процеживают и перекачивают ее в своих гигантских челюстях. Конвейерная сетка течет, как река, унося на себе синеватые, легкие плиты коробок, которые впадают в нее сбоку, со станков, словно из речных притоков. Последовательность процессов вытянута ровной линией пространственной последовательности. Новую фабрику можно читать, как книгу, переходя из цеха в цех. Книга эта напечатана на прекрасной бумаге хорошим, четким шрифтом. Она написана популярным языком, не требующим пояснений и комментариев. Ее композиция проста и безукоризненно логична. Оба ее отдельных сюжета — коробка и спичка — под конец соединяются в счастливой развязке. Она знает только спичечное дело и ничего сверх этого.

Книга старой фабрики приобретена у букиниста. Ее страницы пожелтели и покрылись пятнами. Ее старомодные буквы расплываются; их порой с трудом можно разобрать. Ее главы расположе-

ны в странном беспорядке. Повествование то уходит в сторону, то снова возвращается к уже знакомому. Она требует комментатора и путеводителя. Иногда она заводит в тупик, из которого не видишь выхода. Она лишена единства. В ней причудливо переплетены разные мотивы. Рядом со спичками — сиденья для стульев и ватерпасы, — три производства, не имеющие между собой ничего общего. Ее порой хочется сравнить с кургузым, приземистым и нестрашным адком лубочных картинок. Широкое жерло печи кажет отблески огня. Рабочие с вилами мешают в чанах соломку. Тесные проходы и закоулки темны. В них сыро и жарко. Ножи машин с лягом рубят, кромсают, лущат дерево. Катятся мимо набитые кассетами высокие этажерки, — вагонетки, вставшие на дыбы, — их гонят рабочие, наклонившись, упираясь в них руками. Они предупреждают о себе криком, и тогда какая-нибудь не обтерпевшаяся работница, которая в эту минуту проходит мимо, резко шарахается в сторону.

Впрочем для того, чтобы ясно представить себе разницу между старой, «хозяйской» фабрикой и новой, созданной революцией, надо хотя бы в самых общих чертах знать, из каких процессов складывается спичечное производство. С осинового чурбака сдувается шель-машинами широкая и тонкая древесинная лента. Ее затем рубят, как лапшу, на рубильном станке. Получается соломка, т.-е. сырая спичка без головки. Ее пропитывают раствором суперфосфата, высушивают, располагают правильными рядами, погружают в парафин, окунают в массу, образующую головку спички, и снова высушивают. Параллельно, в других цехах, происходит изготовление спичечного коробка. Древесинная лента, такая же, как и для соломки, разрезается вдоль, на несколько более узких, ширина которых колеблется в зависимости от того, на что лента идет: на гильзу ли, т.-е. внешнюю часть коробки, ш и б е р, т.-е. боковые стенки внутренней вдвигающейся части, или для д о н ы ш к а шибера. Ленту рубят на делительных станках, но уже не так мелко, как соломку. Затем отрезки гильзовой и шиберочной ленты на особых аппаратах сгибают по ранее намеченным ли-

ниям в четырехгранники, шибера склеивают посредством бумажной ленты с доньшком, и после просушки обе части коробка соединяются, а сверху приклеивается этикетка. Заключительная операция — засыпка спичек в коробок; закрытый и наполненный коробок проводится через особый аппарат, намазывающий на его бока зажигательную массу, и поступает в упаковочную, венчающую союз раз'единенных синим счастьем оберточной бумаги.

Начальные операции на обеих фабриках приблизительно одинаковы. Существенные различия начинаются дальше. Особенно наглядно они выявлены в автоматном цехе, который на новой фабрике заменяет несколько цехов старой «Березины». Автомат насаживает соломку на металлическую ленту ровными, негустыми рядами, чтобы удобнее было обмакивать, погружает ее в парафин и в темную смесь для головок. Лента движется неторопливо, уверенно, опрятно, в сухом и нагретом воздухе. Мысль об усилии не приходит в голову при виде этого массивного машинного туловища, в котором одни внутренности продолжают неустанную и медленную работу пищеварения. На «Березине» почти все это делается руками, усилиями мышц. В набивочном цехе соломка на особых станках располагается в ряды. Станки снабжены педалью; рабочий приводит их в движение ногой. Затем соломка поступает в ма к а л ь н ы й цех. Там устроена живая цепь, род ручного конвейера. Рама с натяканными спичками передается из рук в руки, в роде как при разгрузке парохода перебрасываются тяжелые арбузы. Первый рабочий перед тем, как передать раму дальше, ставит ее под педальный пресс. Один из следующих на мгновение опускает ее в парафин. Наконец она попадает в макальный столик, где концы соломки обмакиваются в вязкую массу.

В макальном цехе жарко, раскаленно, душно. Из двери в дверь мчатся безглазые железные этажерки. Прессовщик беспрестанно повторяет одно и то же односложное движение ноги, нажимающей педаль. На скамейке сидят отдыхающие рабочие. Тяжелый труд в перегретой, наполненной вредными испарениями

атмосфере вызывает необходимость равномерно чередовать работу и отдых. У парафина их отношение — час на час. На макальном столике отдых несколько короче. Общая продолжительность рабочего дня составляет поэтому не 8 часов, а гораздо меньше: 4 ч. 25 м. — 4 ч. 40 мин. Кроме того, часть живого конвейера меняется местами, и прессовщик например проделявает свое монотонное, как крик выпи, движение сравнительно недолго, не больше часа под ряд.

Макальный цех — характерное создание старой фабрики, с ее слабой, полуремесленной техникой, ручными машинами, с ее тесными, темными помещениями, где полностью отсутствовал расчет на потребности и здоровье рабочего. Революция внесла сюда уже значительные коррективы; в свое время это выглядело гораздо хуже. Так, конвейер введен только недавно. Он дал возможность заменить три ручных прессы одним педальным. Он освободил прессовщика, открепив его от исключительной власти деспотического и утомительного аппарата, у которого прежде он был занят весь день чудовищно однообразным вторым одного и того же мускульного сокращения. Продолжительность работы макальщика снижена с 6 часов до 4½. Из набивочного цеха тоже изгнана большая часть ручных машин, замененных педальными. Они не так утомляют и эффективнее.

Разность техники вызывает и различие в человеческом составе. Так как на «Чырвоной Березине» большая часть процессов совершается полуремесленным способом, то туда требуются более опытные рабочие. Хорошо это видно в с'емальном цехе, где происходит засыпка спичек в коробки. Опытная работница действует здесь настолько быстрее недавно пришедшей, что работа их совершенно несоизмерима. Поэтому хотя часть старых рабочих и была отправлена с «Березины» на «Перамогу», все же удельный их вес на старой фабрике остался гораздо б'ольшим, чем на новой. Это можно вычитать и во внешности, обращении, разговоре, самом характере березинских рабочих, гораздо более уверенных, неторопливых, ироничных, склонных к подшучиванию, чем новички с «Перамоги». Это сказывается и в реал-

лизации промфинплана: «Бярэзіна» его перевыполняет (105%), «Перамога» недовыполняет (75%). Особого умения и навыка для работы на такой фабрике, как «Перамога», где почти все процессы упрощены и механизированы, не нужно. Но людям, вчера пришедшим из деревни или местечка, не хватает дисциплинированности. Они работают с развалом, опаздывают, забалтываются. При малейшем недовольстве они бросают фабрику, пробыв в ней иногда всего лишь одну смену и даже не зайдя за расчетом. Забота о производстве еще не успела проникнуть в их сознание. Фабрика для многих — нечто чужое, постороннее. Так объясняется тот странный парадокс, что лучше оборудованная фабрика работает слабее и неслаженнее, чем более примитивная и отсталая по технике.

В цехе

На движущиеся сетки конвейера падают справа мутно-голубые корытца шиберов; слева, покачиваясь, соскальзывают с металлических прутьев полые четырехгранники коробочных гильз, насыженных на проволоку, как искусственные цветы. В длинном и шуршащем зале вытянулись в два ряда станки, по ряду у каждой сетки. Из станков лезет опаловый, неопрятный клей. Странно видеть, как железо механизма выделяет органическую слизь, похожую на студень медузы. Сетка поднимает свой легкий, игрушечный груз наверх, к отверстиям сушилок. Во мраке труб они проносятся к сквозным проволочным шкафам. За сеткой они лежат грудой, словно игрушки в детской кровати. Отсюда их берут работницы, производящие сборку коробки.

Это — коробочно-этикеточный цех, один из самых крупных на «Перамоге». И в то же время один из самых женских.

Женщины вообще — и издавна — преобладают на спичечных фабриках, где большая часть операций не требует физической силы. В этом отношении они сходны с текстильными. Из двух с половиной тысяч рабочих «Березины» и «Перамоги» (они приблизительно равны по количественному составу) — 60 проц. женщин. При чем цехи можно резко раз-

бить на мужские и женские. Набивочный, макальный, автоматный — мужские: здесь требуются напряжение, выносливость, квалификация. Сэмальный, коробочный, этикеточный — женские. Здесь нужны только привычка и опыт. Мужские цехи — немногочисленны. Огромные залы женских переполнены работающими. Два больших женских цеха перевешивают все остальные отделы фабрики, вместе взятые.

Среди ровного шума цеха нелегко услышать плач. Его собственно и не слышишь, а видишь. Из станочного ряда выбегает девушка с заплаканными глазами и выражением отчаяния на лице. Она напряженно смотрит по сторонам, кого-то отыскивая взглядом, бросается вперед и почти падает в объятия проходящего монтера. Тот ни о чем ее не спрашивает и покорно идет за нею. Это — не любовная драма. Это испортился станок.

У монтера Иванова фамилия — самое уязвимое место. Она имеет за собой прошлое несколько фантастическое, мало отвечающее ее обиденной сущности. Отец Иванова переселился в свое время в Литву. Там он женился на литовке, перешел в католицизм и стал называться Янукас. Сын — полулитовец — был долгое время Янукасом, но эмигрировал в СССР и в белорусских просторах снова вылинял в Иванова.

Полулитовская кровь и состояние в Янукасах нисколько не отразились на его российской внешности. Если б не его собственные обрывистые, между прочим, рассказы, нельзя было бы никак догадаться о католической экзотике его прошлого. Кажется, что он здесь и родился и вырос — и даже не здесь, а где-нибудь в Ярославской или Владимирской губернии. Меня привело к нему дело, связанное с цеховой стенгазетой, членом редколлегии которой он состоит. Но газетная работа — не его сильная сторона. Он оправдывает себя тем, что недавно только занялся ею и не успел еще освоиться, — ответ, который слышишь тут почти от каждого работника.

Иванов возвращается не в духе. С этими новыми работницами беда. Монтеру здесь надо иметь железные нервы. — Вот видели сейчас? И так все-

гда, — говорит он. Чуть что в машине не так, они теряются и бегут к монтеру в панике. Им кажется, что все уже погибло. Из-за пустяка они плачут. Старая, опытная работница ровна и спокойна. В случае чего постарается сама исправить. Если позовет, то спокойно, без слез, без истерики. А эти дергают тебя, дергают каждую минуту. К концу дня, живого места на тебе не остается.

Он сердито выговаривает за что-то своему помощнику, молодому, озорноглазому парню, на вид совсем мальчику, сочувственно и смешливо прислушивающемуся к разговору. — Новые рабочие, — продолжает он, — трудная проблема. Конечно среди них есть разные, но очень много мещанского элемента. Иные идут на фабрику только для того, чтобы обзавестись профбилетом или поступить в учебное заведение. Другие попадают из глухих углов, долго не могут привыкнуть к обстановке, ведут и чувствуют себя на фабрике, как чужие. Недавно обратились отсюда за рабочей силой в ОЗЕТ. Тот сделал набор в самых заброшенных местечках, в разных, Сморках, Холопеничах, Ковчицах. Потолкались-потолкались здесь местечковые чудачки и скоро все разбежались. Ну, в самом деле, что связывает таких людей с фабрикой? Об интересах производства они не думают и при первом удобном поводе, а то и без всякого повода, уходят. Текучесть рабочих здесь огромная. И так как рабсилы всюду не хватает, то случается, что одна фабрика переманивает рабочих с другой фабрики. На днях тут задержали «представителя» витебского лесопильного завода, который устроил вербовку среди спичечников. В течение трех дней он успел подрядить 60 человек, забрал у них профкнижки и был наконец торжественно застукан на месте преступления. Теперь он сидит в ГПУ и недоумевает: в чем его преступление? Что же ему оставалось делать, когда в Витебске не хватало рабочих?

На этом месте ивановское красноречие снова перебивается молодой работницей, которая испуганно сообщает, что ее станок, наверное, вовсе испортился, — его заело, и она не знает, как ей быть. Иванов, не глядя на работницу, делает свирепое лицо и велит итти помощнику.

Тот уходит, подмигивая нам. Иванов долго молчит, прежде, чем опять берет слово.

— Надо и то сказать, что зарплата здесь невысокая, ниже, чем на большинстве других фабрик. Легкая промышленность в этом отношении вообще отстает от тяжелой, а спичечная промышленность и среди легкой — одна из отсталых. Средний заработок на «Перамог» 45 рублей, а в этикеточном цехе еще ниже. Ну, понятно, что рабочий старается найти для себя более выгодное производство, благо выбор есть. К тому же мы сами иногда делаем глупости. Недавно был такой факт. Поступила к нам группа новых рабочих. Первые два месяца она находилась на поденной. Потом ее перевели на сдельщину, приняв те нормы, которые существовали у старых рабочих. Тогда оказалось, что новички, недостаточно подучившиеся за свои два месяца, выработывают всего по 20—25 рублей в месяц. Конечно многие из них ушли.

Иванов говорит еще долго, постепенно смягчаясь и теряя раздражение. Я вступаю с ним в спор. Мне кажется, что он недооценивает новые кадры, вливающиеся из деревень и местечек. Разве можно судить о них огулом? Разве можно думать, что они так и останутся инородным, чужим телом на фабрике? Ведь и для них фабрика часто является единственно мыслимым выходом, и вся обстановка толкает их на то, чтобы возможно теснее и взаимно слиться с новой жизнью.

Но он и не думает этого отрицать. Без таких новых кадров производство попросту не могло бы существовать и развиваться. Но с ними нужна длительная работа. Нужно время, чтобы их изменить и обломать. Сейчас это — трудный народ, и он вовсе не собирается на них молиться. Не мешало бы и часть отсеять, а то пролезает всякий элемент. Сейчас предприняты кое-какие меры. Ведут разъяснительную кампанию, снимают с биржи мнимо-безработных, отбирают профбилеты. Это уменьшит текучесть и кстаи отобьет охоту у тех, которые набиваются на фабрику только для того, чтобы стать членом профсоюза, а затем сказать до свидания.

Помощник Иванова, уже успевший вернуться, поглядывает то и дело в нашу сторону с явным желанием вставить в разговор какое-то замечание, которое крепко засело в его голове. Первая же продолжительная пауза неторопливого в словах монтера дает ему ожидаемую возможность.

— Почему это например продают папиросы? — спрашивает он.

Иванов внимательно и искоса оглядывает его, повернувшись в полоборота.

— Ну, и при чем здесь папиросы? Разве мы об этом говорили? Ты еще об водке спроси.

— Водки я не касаюсь. Водки я не пью. Это ты напрасно хочешь меня на мушку поймать. А только почему продают папиросы? Если нехватает, надо было бы вовсе запретить. А то — одно раздражение.

Монтер поворачивается к нему всем корпусом, долго смотрит на него в упор и выразительно стучит по лбу пальцем.

Ожидание

Одна из них похожа на юношу — сухощавая, стройная, со светлыми, стриженными кудрями и веснушчатым, умным и некрасивым лицом. Другая — полная, краснощекая, домовитая — говорит резким и крикливым голосом, который странно преувеличивает и деформирует свойственные ей интонации обиженной мнительности и негодования. Из всей эмоциональной гаммы она берет почти исключительно эти две ноты. Каждая ее фраза кончается одновременно вопросительным и восклицательным знаком. Я узнаю ее издали, эту мелодию еврейской местечковой речи, одинаковой под всеми широтами. Она помогает себе энергичными жестами, хлопает себя по бедру и колену, пристукивает пальцами о стол. Веснушчатая девушка, немного напоминающая Шиллера, сдержаннее и тише. У нее серые глаза. Она белокура неяркой еврейской белокуростью. Угловатый и твердый костяк ее лица намечен резко.

Они стоят в кучке работниц с'емального цеха, у стола, поджидая завцехом. Они оживленно переговариваются и напоминают почему-то школьниц перед роспуском на каникулы. Но завцехом

долго не идет, и кучка постепенно редет. Местечковая толстушка и девушка, похожая на юношу, оказываются терпеливее других. Необъяснимое оживление, идущее не то от летнего дня, сверкающего за окнами цеха ослепительной белизной облаков в синем настое неба, не то от молодости, не то в самом деле от близкого отпуска, делает их словоохотливыми. Они с удовольствием подхватывают мяч разговора и начинают его перебрасывать. Чудовищные и досадливые недоумения толстушкиных интонаций разрастаются небывало. К ним привыкаешь и тогда начинаешь различать их относительный эмоциональный смысл.

Толстушка всем недовольна и в самом недовольстве находит род удовлетворения, как при расчесывании сыпи. Сначала, как водится, достается фабкому — за то, что «нет ордерей», а те, что есть, выдаются по чинам и знакомству. Потом — жилкооперации: квартиры в новых домах по карману только служащим да кое-кому из хорошо оплачиваемых слесарей и монтеров. Потом очередь доходит до столовки: какая в ней грязь и беспорядок! Я вступаюсь за столовку. Ее 32-копечные обеды дешевле и вкуснее, чем в городских столовых. Ждать приходится сравнительно недолго. Каждый день бывает мясо или рыба. Правда, рыбу не мешало бы вымачивать, а то она так солонa, что дерет горло. Хлеба дают вдоволь, и даже — роскошь, неизвестная иным фабричным столовым, — вилки и ложки имеются в совершенно достаточном количестве. А буфет и ларек, — разве они так плохи? Веснушчатая девушка поддерживает меня. Первое нападение толстушки отбито.

Но она не сдается. У нее зоркий глаз и фантастическое восприятие. Она всюду видит козни и пристрастие. Правильные наблюдения у нее перемешаны с произвольными догадками. Ей кажется, что весь мир объединился против нее в заговоре, старается ее надуть, ущемить, провести. Ее подруга трезвее. Она подтверждает, по существу, факты, но она ставит их в реальную перспективу, не окружая дымом и пламенем фантастики.

Обе они работают на с'емке, т.е. на засыпке спичек в коробки. В среднем зарабатывают по 50 рублей в месяц. Как же раскладывается эта сумма по

статьям бюджета? Как правило, на квартиру уходит рублей пять. Обедают большей частью в столовке, иногда у себя. Некоторые посылают деньги домой. Вот толстушка например шлет родным в местечко 20 рублей ежемесячно. Конечно для этого приходится себе во многом отказывать. Она например перестала ужинать. Да, да! не улыбайтесь. Красные щеки ничего не доказывают. Это у нее такая несчастная наружность. Люди думают, будто она целый день, не отрываясь, ест.

Толстушка обиженно умолкает, хотя я и не думал улыбаться. Полнота для нее — предмет и гордости и огорчения. Она всегда подозревает, что люди не верят ее жалобам. У меня нет оснований сомневаться в ее словах, и все-таки я чувствую в них какой-то знакомый привкус, осязаемый след мелкопомещанской, местечковой привычки приbedняться. Конечно сейчас это совершенно бескорыстно и сделано без всякого расчета. Это — застрявший из старого времени рефлекс на благотворительность. Он обесмыслен, но он не исчез.

Девушка-Шиллер тоже улавливает внутреннюю фальшь интонации. Она быстро переводит разговор на другую тему. Вернее обрывает его и начинает говорить с подругой о чем-то своем. Я слышу смех, упоминание о каком-то Ване, удивленный возглас толстушки. Веснушчатая девушка оборачивается ко мне и объясняет, в чем дело. Одна их знакомая работница вышла замуж за русского парня и теперь все боится, не будет ли тот запивать. Парень хороший, веселый, плясун, но это-то и опасно: плясуны пьют. Ну, а если будет пить, будет драться, тащить на барахолку свои и женины вещи. Она знает такие случаи. Меня удивляет живость их реакции: неужели смешанные браки здесь так редки, что их обсуждают, как нечто исключительное? Девушка возражает мне с легкой досадой, что смешанные браки довольно часты и что вообще ни для нее, ни для других работниц нет разницы между евреем и не-евреем. Отношения между национальностями здесь очень ровные, и она антисемитизма например почти не замечает. Но все-таки смешанный брак — не такое простое дело. Беда не в том, что родные будут

осуждать или будут недовольны. Теперь никто не обращает на это внимания. Но ведь кто знает, как сложится жизнь в дальнейшем! Она заметила, что счастливы те браки, где муж—еврей, а жена—русская. Евреи—хорошие мужья: они не пьют. Там же, где муж—русский, брак непрочен: муж пьет, буянит, легко бросает жену или жена вынуждена его оставить. Конечно не всегда так бывает, но часто. Поэтому она не может не сочувствовать опасениям своей подруги. Она боится не смешанного брака, а водки.

Но неужели здесь так много пьют? — спрашиваю я. — Много, не много, — отвечает несколько уклончиво сероглазый Шиллер, — но пьют. Теперь, пожалуй, поменьше. Пьяных, которые бы валялись по канавам, встретишь не часто. Да разве только такого пьяницы боишься, который валяется по канавам? — Но ведь и евреи не без греха. Есть и среди них пьющие, и не так уж мало. Не говорит ли в девушках старый, еще не изжитый предрассудок против брака с «гоем», который получил только другую мотивировку? — Сероглазая отрицательно качает головой, но ее ответа мне так и не удается услышать, потому что приходит завцехом, и все устремляются к нему навстречу.

Дом за заборами

За глухими заборами живут только хвойные ветки. Изредка где-нибудь приоткроется калитка, — и тогда видишь траву, тень и красноватые голени сосен. Улица струится раскаленным песком, узкая, зажатая, незрячая от заборов. И вдруг — поворот, и пространство рассечено смелым разрезом. В раскинутом светлом просторе встают река, вокзал, железнодорожные пути, песчаный обрыв, бульвар, обсаженный двумя рядами деревьев. Анатолия Новоборисова вскрывается с редкой отчетливостью, как на секционном столе.

Тут и вход в ясли. Сосновый парк тепел и солнечен. Лужайки, залитые светом, — как огромные зайчики, наведенные игрою гигантов. В парке безлюдно. Высокая трава хранит в себе влажность. Она непутем разрослась возле дома, как возле сказочного замка спящей кра-

савицы. Она встала цепкой стеной, защищая его от постороннего взгляда. Она подступила к самым окнам. Чорт! этот дом и в самом деле околдован! Парадный закрыт слепыми створками белых внутренних дверей. Кругом тишь и безлюдье и ни признака гостеприимного входа. И только где-то сбоку с трудом находишь робкую извилистую тропинку, которая наконец приводит к желанной цели.

Нет! дом не заколдован, но он спит. В нем 30 спящих красавцев и красавиц, потому что теперь час отдыха и старшие возрасты лежат в своих кроватках. Одни беспокойные «грудняки», для которых писаны свои особые законы, продолжают переговариваться невнятными, как зарницы, возгласами, где тускло-тускло просвечивает далекий смысл желаний. Сестры и няни бесшумно скользят из комнаты в комнату. Сонный завхоз, похожий на кота в сапогах, озадаченно смотрит нам вслед; он принимает нас за какую-то обследующую комиссию. Он подымается, мягко ступая на подошвы. Солнце играет в комнатах залетной птицей, — и не за птицей ли крадется кот в сапогах, готовясь прыгнуть и схватить ее, когда она сядет на стену? Но крашенные стены открывают трезвое и опрятное детство. На цветную бумагу наклеены вырезанные фигурки. В этой чистоте, в этом воздухе и свете не место образам сказки. Они выплывают на солнце, как старинные гравюры, они умирают, как плесень под натиском его спящих волн, хлынувших в открытые ставни. Все просто: завхоз — завхоз, ясли — ясли; дети спят, как им полагается по расписанию, и бывший колодевский дом пахнет опытно-показательным детским запахом.

Старые стены удивляются этому запаху, и половицы недовольно поскрипывают. Прежний владелец дома, Колодев, богатый помещик и изумительный самодур, слыл борисовской знаменитостью. Был он рыж и зол, кого-то забил собственноручно до смерти и умер от прогрессивного паралича. От мира он загородился бесконечным забором, за которым росли его сосны и цвели необычайные клумбы цветов. Слава его угасла со смертью, как и его дурная болезнь; от нее осталась лишь досадли-

вая воркотня заведующих и сестер на непригодность здания, в котором нет ни окон, выходящих на юг, ни достаточных помещений для ванн и детских уборных, — и горшки должны выстраиваться рядами у сомкнутых половин парадных дверей.

Мы проходим по комнатам для игр и по спальням. Старшие дети спят, прикрытые одинаковыми одеялами; спящие, они очень похожи друг на друга. Это все — здоровые малыши, пухлые, розовощекие и почти сплошь белокурые. В комнатах для младших — нестройность настраиваемого оркестра. Странно не совпадают настроения, мимика, характер звуков, условно принимаемых за лепет. Каждый из «грудняков» существует как будто отдельно, в изолированном или пустом пространстве. Они так малы, что между ними не может установиться минимальная общность. Здесь пестрее и внешний вид детей. Есть очень здоровые и привлекательные своим спокойствием и свежей чистотой красок. Но есть и хилые, бледные, с огромными, торчащими, как у летучей мыши, ушами. Тяжело смотреть в их широко открытые, очень светлые, устремленные на вас глаза. Один из малышей лежит неподвижно, покрытый сыпью. Сестра говорит, что у него эксудативный диатез.

Эти заморыши так резко выделяются в общей массе здоровых ребят, что невольно останавливают внимание. Откуда они взялись? Оказывается, это все — дети «одиночек», молодых работниц, брошенных своими временными мужьями, которые часто бесследно скрываются и освобождают себя от всяких расходов и забот о своем потомстве. У «одиночек» нет ни средств, ни времени для надлежащего ухода за ребенком. Полдня тот проводит в яслях, где за ним следят и где его прикармливают. Но другую половину дня он принадлежит матери, которая иногда не знает, куда его деть. Несмотря на то, что Борисов — вовсе не крупный центр, в нем сильный жилищный кризис. Квартиры дороги, «одиночкам» приходится ютиться в углах. Бывает, что какая-нибудь маленькая комнатка занята несколькими такими семьями. Воспитательница приводит случаи, называя имена.

Она долго рассказывает о прошлом яслей, об их организации, о постановке дела. Ясли обслуживают преимущественно спичечные фабрики. Они рассчитаны на 90 детей и работают круглые сутки, как работает фабрика, так, чтоб могли приносить своих младенцев и работницы, занятые в ночных сменах. Сейчас норма не заполнена, потому что — лето, время отпусков, и матери оставляют детей у себя. Между прочим она отмечает, что еврейки гораздо реже обращаются в ясли, чем женщины других национальностей. Что это — традиции еврейской семейственности? предрассудок? недоверие?

Когда мы вторично проходим через спальни, старшие дети начинают уже просыпаться и провожают нас голубыми и серыми сонными глазами. Явь и розовая дрема сливаются на их лицах, как вечерняя и утренняя заря долгих дней северного лета. Птицы солнца скользят в чистых комнатах советского детства. В дверях мелькает пушистый шаг завхоза. Но мы — в парке, и дом снова замыкается в себя. Настойчивая, глухая трава подступила к самым его окнам. Створки парадной белеют заброшенностью, сном. И вот ровный забор кладет печать беспамьятства на виденное.



Литература и искусство

1. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Литературные заметки. 2. Н. ПИКСАНОВ. — На пути к гибели.
3. Ю. ДАНИЛИН. — Столетие „Н.мезиды“.

1. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

На тему об интеллигенции

(С. Буданцев. — „Повесть о страданиях ума“. М. Слонимский. — „Фома Клешнев“)

Арк. Глаголев

Ряды писателей интеллигентского сектора на сегодняшний день предстают перед нами сильно дифференцированными. На ряду с высоко положительными фактами подлинного творческого приближения к современности, приходится отметить факты, свидетельствующие о замедленности темпов творческого мышления и даже свидетельствующие о крайне существенных отклонениях от задач литературно-общественной современности.

Тема интеллигенции весьма привлекает писателей интеллигентского сектора. Как иногда она разрешается?

В №№ 3 и 4 «Красной нови» за текущий год помещена «Повесть о страданиях ума», принадлежащая перу Сергея Буданцева, писателя далеко и далеко не бездарного, автора известного и небезынтересного «Мятежа». «Повесть о страданиях ума» отличается такой специфической идейной настроенностью, что пройти мимо нее нельзя.

«В конце концов он не готовится заболеть смертельной болезнью, он ею уже болен». («Повесть о страданиях ума»).

В повести Буданцева нам предстает образ квалифицированного интеллигента, ученого, естествоиспытателя, человека эпохи шестидесятых годов, штудировавшего «Бокля, Бюхнера, Фейербаха, Мо-

лешотта, Либиха...» (Классические шестидесятилетние имена!).

Тип интеллигента-шестидесятника нам прекрасно известен.

Однако буданцевский Михаил Греков психо-идеологически весьма далек от представителей прогрессивной, демократической и революционной мелкобуржуазной интеллигенции 60 гг. Греков весьма отличен от тех, чьи ряды возглавлялись Чернышевским, Добролюбовым и др. В художественную задачу Буданцева точное воспроизведение эпохи в ее социально-типичном, повидимому, совершенно не входило. Подлинный историзм совершенно чужд повести Буданцева. Не знак социальной молодости и идейного здоровья, а печать глубокого идейно-психологического уадка, внутреннего разложения, душевной протрации, социальной мертвенности лежит на облике двадцатисемилетнего профессора Грекова — «совершенного меланхолика» и «мизантропа».

Жизнь Михаила Грекова — а она единственный центр повести — проходит перед нами в ее основных моментах от дней детства до зрелых лет, — и более безрадостное, тяжелое и мрачное зрелище трудно себе представить. Пусть читатель наберется терпения и войдет вместе с нами в то душное психо-идейное «жилище», где обретается Михаил Греков.

Полны горечи, жизненной неудовлетворенности, беспросветного пессимизма воспоминания Грекова о днях своего детства и юности. Ряд отдельных, но весьма характерных эпизодов и деталей, — провал Грекова-ребенка на детском спектакле, игры в карты и ряд других, в результате коих Греков-ребенок постоянно оставался глубоко «обиженным» и оторванным от мира, — этот ряд эпизодов служит одним из конкретных обоснований конечных пессимистических итогов размышлений Грекова о ранних годах своей жизни. «Все детство загрязнено дикими выходками, ненавистью и полным, на голову, поражением...» «Греков не помнил себя, когда бы он не ведал мучительных часов. Та же тоска, которая будет томить взрослого, иногда с большей яростью терзала ребенка». «Мучениям детского мозга» Грекова не было конца.

Нет конца «страданиям ума» и зрелого Грекова. Талантливый, как уверяет нас Буданцев, ученый, Михаил Греков и в области науки не находил успокоения, бодрости и жизни. Несмотря на некоторые бодрые нотки, счастливые миги в научном творчестве и т. п., Греков в целом и как ученый является весьма специфической личностью. Наука, научное творчество не искореняют в Грекове его пессимизма, его упадочничества, его внутренней омертвелости. Греков — «... это больше, чем профессор, это философ. Иногда мне кажется, что это тем хуже для него. У него есть способность слыхком обобщать печальные явления». И это очень верно. Наука по существу для Грекова такая же внутренняя тягость, как и все в жизни для него. Он по существу «обречен» науке... «Обиды», сопровождавшие Грекова в детстве, продолжают для него и в сфере научной жизни. Одиночество продолжается. Общение студента Грекова с товарищами по учебе превращается в пытку, сопровождается глубокими внутренними разочарованиями. «Гость (Греков) не понравился (студентам). Решили выпроводить (Грекова) без околичностей... Гость готов был разрыдаться от обиды (вечные «обиды»! — Арк. Г.): ...ему казалось, что его (Грекова) обмазали зловонным отделимым мундштуков... Начальная встреча с ее (науки) питомцами оказа-

лась отравленной (как и все и всегда в жизни Грекова.— Арк. Г.), и после он (Греков) никогда не любил, — если говорить исчерпывающе, — не любил всей мерой сердца студенческой молодежи, особенно русской и германской». Это еще между прочим одна из характерных черт, отделяющая Грекова от шестидесятничества, от студенчества 60 гг., в частности с его тяготением к коллективизму. Горестями отмечены отношения Грекова к профессуре (конфликт с профессором Липгартом): и здесь повторяются «обиды», подобные тем, кои Греков испытывал в детстве. Греков «прочитал (статью своего учителя Липгарта) со странным чувством. Она напомнила провал пьесы в давнем детстве и те судороги стыда, которые он тогда испытал». Итоги научной деятельности для Грекова внутренне столь же горестны и тягостны, как и итоги детства. «...Творец доказательства (Греков) прятан в темную нору, потому что погубил зрение микроскопом, стараясь подтвердить отвлеченное мнение, которое ни на волос не прибавило радости его личной жизни. Ученый постиг в подробностях строение зародышевых пластов всего живого и ничем не овладел в себе самом...»

К детским и юношеским «обидам», к тайной неудовлетворенности наукой («в сущности научная работа представлялась Грекову возней, — как симптоматично это определение: «возня». — Арк. Г. — с различными отдельными частями сложной машины, назначение которой неизвестно»), для полноты картины следует прибавить и историю любви Грекова. Последняя принадлежит к числу мрачнейших страниц повествования. «... То, что можно было бы назвать первой любовью, прошло для него жалко, бесплодно, оставило ущерб и неудовлетворенность, как будто долгие часы решал сложный ребус и получил в ответ и в награду пошлейшее изречение». Неудачная женитьба на нелюбимой, полубольной девушке («... медовые месяцы молодой бесстрашно обзрел положение и определил его бесспорным именем: ошибка»), стремления освободиться от нелюбимой, ее смерть, тайное влечение к тринадцатилетней «чудесной девочке» (новая вариация на тему пе-

чально-«знаменитой» «Мушки») — все это служит поводом для болезненно чудовищных, неврастенических «страданий» Грекова, подробнее живоописуемых автором повести.

В итоге всех воспоминаний, ощущений, переживаний и «страданий» Михаил Греков предстает перед нами глубочайшим индивидуалистом, солипсистом, человеком Достоевского, «помноженным» на упадочников типа французских декадентов конца прошлого века (многочисленные «изоощренные» попытки самоубийства Грекова несомненно могли бы являться «билетом» на вход в круг последних). Греков всецело замкнут в узком и затхлом мирке своих безысходно-упадочных «страданий». «Ему вышло постоянно оставаться одиноким». Ничем «не смягчить постылое одиночество, которое он впрочем сейчас ни на что бы и не променял». Надвигающаяся слепота — знак не только и даже не столько физиологии Грекова, сколько его психологии. «Мир, расцвеченный радугой для всех, предстал глазам Грекова как бы в сумерках... действительность теряла власть над душой, которая замыкалась в собственных горестях». «Черная тоска», «холодная лень», «лютая скука», «душевная ломота», постоянное, выражаясь на языке фрейдизма, бегство в болезнь — обычные состояния Грекова-человека с «измученным лицом». «Скудные жалобы беззвучно застывали на губах. Он принимал их теперь как постоянное состояние, как законное, как естественное проявление существования... Их гнет вытеснял всякое двойственное чувство, двойственное желание». «Горести» Грекова сгущаются до предельной возможности, до полнейшей внутренней безысходности. Для Грекова возможен только один «выход» — в смерть. Смерть — вот основной мотив повествования. Смертью овеян образ Грекова. «(Греков) заключал, что его жизненный опыт обилел и безотраден. Всякая радость была коротка и вдребезги разбивалась о предупреждение, которое неустанно бодрствовало в нем: смерть близка — смерть всюду — смерть неизбежна».

Критик-марксист никак не может удовлетвориться только простым описанием явлений, только констатированием фак-

тов, он должен их объяснить. В чем же корни упадочничества и пессимизма Грекова, его «страданий» и «горестей»?

Может быть, последние вызывались общественно-политическими причинами, например разладом талантливого ученого с бюрократически затхлой и интеллектуально тупой официальной ученой кастой царской России или шире: конфликтом радикально мыслящего, революционно настроенного шестидесятника с общественно-реакционной средой. Увы, это, подчеркиваем, не так.

В «страданиях ума» Грекова, яко бы «шестидесятника» (!!), социально-общественные и политические проблемы не играют никакой существенной роли, и это тем более знаменательно, что в жизни Грекова был ряд характерных моментов, кои в человеке иной идейно-психологической настроенности, в подлинном шестидесятнике непременно вызвали бы и укрепили глубокие социальные «эмоции», оставили бы определенные политико-идейные «следы». В детстве например Грекову пришлось близко наблюдать расправу царской офицерии с крестьянами. Он даже ощутил, «наскольکو тяжела, беспросветна, несправедлива крестьянская жизнь». Греков далее имел возможность хорошо познать оборотную сторону научной жизни, официальной науки царской России и буржуазной Европы (случай с профессором Липгартом, обворовавшим Грекова). Но какие выводы делает Греков из своего общественно-социального опыта?.. «Брат Николай сделал из этого свой вывод: в революцию». Михаил же Греков остается чрезвычайно далеким от этого вывода своего брата, от революции, от политики. «Политика, — по Михаилу Грекову, — это очень неясно и спорно». «Мне сейчас не до крестьян», и Грекову не только однажды, но внутренне всегда было «не до крестьян». Солипсисту Грекову социальные переживания глубоко чужды. Собственная персона заслоняет все и вся... «...Россия. Но с высоты одинокой печали и мысли о родине были мелки, дробились бесследно». За границей Греков и его спутники оказываются очень далекими от русских революционных эмигрантов. «Семья Грековых мало походила на лохматых с улицы Каруж», которые «подбивали мужиков

на революцию». В политико-социальном отношении Греков вообще субъективно совершенно аморфен и выхолощен, что конечно объективно налагает на него как раз определенную социально-политическую окраску. Далекий от революции, от радикально-демократических умонастроений, Греков субъективно лишен однако и всяких иных политико-социальных воззрений. Обедневший барич («материальные дела его семьи шли плохо, он принадлежал к небогатым помещикам, как раз к тем, которые очень пострадали от эмансипации»), Греков, испытавший ущемление барской, дворянско-усадебной «чести» (характерен например детский эпизод пребывания Грекова в городе и др.: «обстоятельства принуждали барича к покорству»), оказывается неспособным даже к сколько-нибудь яркому и сильному дворянско-барскому бунту против буржуазного города, ущемившего барское достоинство Грекова, как бунтовал например против города Сухово-Кобылин. Деклассированный «барич», Греков далек как от Герцена, так и от противоположного Герцену Сухово-Кобылина. Михаил Греков субъективно в политико-общественном отношении, что называется, «не рыба» и «не мясо», не консерватор, не либерал, не демократ. Он субъективно—социально-политическое ничто.

Так не сознательное общественное отталкивание от той или иной социальной среды, не социально-политическая борьба порождают субъективно «страдания ума» Грекова. Индивидуальное доминирует в сознании Грекова над социальным.

«По сравнению с этой несправедливостью, моей слепотой, — упрямо твердил Михаил Греков, — моей слепотой, моей, пойми весь ужас для меня, всякая несправедливость человека над человеком кажется мне обидной и тяжелой, но преодолимой. Любую социальную жестокость можно исправить и смягчить. За последние семьдесят лет (XIX столетия) сколько пало угнетавших человечество учреждений. Но это облегчение прошло ведь мимо моей участи. И главное, как ты справишь жестокость природы, основную ее жестокость — смерть?»

Вот что угнетает Грекова и служит основой его «страданий» — «жестокость природы!» «Вечными» «проклятыми» вопросами занят ум героя Буданцева. Не социология, не социальные антагонизмы, а «извечная» биология, враждебность (по Грекову) природы к отдельной человеческой личности, ее незащитность (по Грекову) перед лицом безжалостной и слепой природы, — вот что волнует и заставляет страдать Грекова. «Природа» бессмысленна и непонятна человеку, он — лишь только хрупкая игрушка в ее грубых лапах, законы человеческие и «природные» находятся в разных плоскостях.

«—...Посмотрите, в том конце стола направо. Голубоглазая парочка. Они... пожирают друг друга глазами. Не пройдет и нескольких десятков лет, — черви будут копошиться в этих глазах. А я на острове Тенерифе ковырял кору драконового дерева, ему ни много ни мало — шесть тысяч лет... А зачем дереву шесть тысяч лет? — Евские испуганно переглянулись. Греков застыл с поднятой вилкой. Ужас оледенил его. С ним это бывало».

«Ужас» перед «бессмысленностью» «природы», — вот к чему в окончательном итоге сводится все «мировоззрение» Грекова; вот почему он с таким вниманием коллекционирует все свои детские и прочие «обиды», — последние нужны ему как конкретная иллюстрация, как защита его тезиса о «жестокости природы» и ее «бессмысленности».

«И снова Михаил Греков задавал себе и природе вопрос, за что она казнила его малыша... Греков перелистал, как книгу, мучения роста и не увидел в них смысла». В своих генеральных статьях о воспитании и о браке (относящихся к числу тех «вещей вровень», «с творцом, который находит в них полное, равное себе и длительное, долго не перерастаемое выражение», по удостоверению самого Грекова) наш философ развивает все те же ультрапессимистические мысли о полном и неразрешимом противоречии субъекта и объекта, о «жестокости природы» и о безвыходности человека из «противоречий» между человеческой личностью и «природой».

Остающееся в сфере «чистой» биологии, чурающееся социологии, ориентиру-

ющееся исключительно на отдельную, в себе замкнутую личность, не знающее социальных категорий, идеалистическое и механистическое мышление Грекова абсолютно не способно разрешить проблему субъекта и объекта диалектически, оно ведет нашего героя к полной капитуляции перед «жестоккой природой», к отказу от жизни. На примере Грекова мы можем наблюдать всю величайшую реакционность так наз. «чистого» «биологизма». Последний может вести только к самому безнадежному идеализму, к глубокому упадочному пессимизму и солипсизму.

Какова в итоге объективная значимость повести С. Буданцева в целом? Автор по существу никак конкретно не корректирует «мировоззрение» своего героя. Он принимает «страдания ума» своего героя всерьез. Детальнейшее, утомительное подробнейшее живописание «страданий» Грекова, живописание, подаваемое совершенно объективистски, служит реальным доказательством этого авторского принятия грековских «горестей» всерьез. Не только сейчас, но и до революции марксистская критика расценивала бы повесть Сергея Буданцева как общественно-регрессивное, упадочное явление. С грековской «философией» не только нельзя строить социализм, с нею вообще нигде, кроме кладбища или психиатрической лечебницы, пребывать невозможно. В данной своей повести С. Буданцев стоит на чрезвычайно опасной для своего творческого пути позиции.

Вещь С. Буданцева, к сожалению, не единичное исключение, не «новинка» в интеллигентской литературе. Бегство в «биологию», страх перед «вечными» «проклятыми» вопросами, неумение разрешить их диалектически присущи и некоторым другим представителям интеллигентского сектора. Писателям-«биологистам» надо еще и еще раз определенно указать, что бегство в область «чистой» «биологии», — если конечно такое не является сознательной маскировкой своей враждебности нашей современности, — что таковой уклон чреват весьма печальными последствиями для творческого роста писателя: без внутреннего преодоления «биологизма» создание подлинно революционного искусства на-

ших дней невозможно. «Чистый» «биологизм» и то мировоззрение, под знаком коего движется развитие нашей современности, — непримиримые враги.

Большинство интеллигентских писателей, субъективно ищущих союза с пролетарской революцией, находясь все же в сфере общественности, втянутой проблемами чисто общественного порядка, не бегут от социологии, но пытаются в ней разобрататься. Одним из примеров может служить хотя бы последний роман Мих. Слонимского — «Фома Клешнев». Роман этот также обнаруживает известную медленность творческого мышления, однако совершенно не в такой степени, как повесть Буданцева.

«Он презирал тех, кто в борьбе, охватившей землю, стремился отстаться между и вне». («Фома Клешнев»).

Тема романа Слонимского, как и большинства произведений писателей интеллигентского сектора, — интеллигенция и революция.

«Вопрос» о принятии или непринятии пролетарской революции для подавляющего большинства советской мелкобуржуазной интеллигенции во втором десятилетии после Октября решен ясно. Он может быть назван вопросом лишь в ковычках. Всякие колебания, шатания, отмачивания, отсиживания, ориентация на некие «третьи» «позиции» в этом основном «вопросе» во втором пооктябрьском десятилетии объективно обозначают переход на сторону врагов революции. Это последнее обстоятельство совсем не так уж неясно и туманно даже и для самих «идеологов» этой пресловутой «третьей» «позиции»! Тема — интеллигенция и революция — во втором пооктябрьском десятилетии никак не может сводиться только к «проблеме» первоначальногоприятия революции. Перед так наз. «попутнической» интеллигенцией стоит задача конкретного приобщения к строительству нового общества, задача наиболее целесообразного, эффективного использования себя в интересах революции. Роман же Слонимского во многом посвящен обсуждению именно еще первой «проблемы». В этом — основное отставание его от современности, что характерно впрочем не

только для этой вещи, — она во многом вообще типическое «явление».

В романе мы видим два общественно-политических противоположных полюса, олицетворяемых, с одной стороны, крепким коммунистом Фомой Клешиным, с другой — законченным противником пролетарской революции, «отставным профессором» Будным. Оба они далеки от всяких шатаний и колебаний, оба непреклонны в своих воззрениях. Революционные годы для профессора Будного — только «лихолетье». Будный далек как от интеллигентской смятенности, так равно и от обывательской политической обломовщины. «Несомненно вихрь ломит идеи». Но «тем более. — так думал Будный, — в этом потоке, несущем обломки людей и мировоззрений, надо обнаружить стойкость... Пусть вихрь сметет все вокруг, профессор Будный не пошатнется... Его долг — бороться за те идеи, которые он считает единственно правильными, хотя бы борьба эта грозила ему гибелью... И если нельзя печататься в России, то ведь есть издательства и журналы Запада!» Будный ясен и определен. Единственный путь для него — белая эмиграция.

Другие основные герои романа — интеллигенты, колеблющиеся, шатающиеся, — обретаются между этими двумя полюсами, между Клешиным и Будным. «Вопрос» — с революцией или против — ими все еще не разрешен. Таковы Юрий, Григорий, Жилкин, Надя, даже Баев, даже Борис и другие. Из этих одни гораздо ближе к революции, почти целиком вместе с нею, как Борис, другие совсем близки Будному, как например его сын, также почти законченный ненавистник пролетарской революции. Родственные внутренние связи этих интеллигентов, несмотря на их внешнее разнообразие, видны. «Третья позиция», идеал «свободной» в буржуазном смысле человеческой личности все еще пленяют большинство интеллигентов из романа Слонимского. Это большинство героев Слонимского еще полно «кавалеровщины», их «рафинированные» чувства все еще бунтуют против нового мира. Индивидуализм, идеализм, подмена истинной общественной действительности словесностью и все прочие потомственные интеллигентские грехи, не позволяющие им

внутренне полностью включиться в число строителей нового мира, отличаю интеллигентов Слонимского. В этом отношении они чрезвычайно близки Елене Гончаровой из «Списка благодетелей» Юрия Олеши. Роман М. Слонимского и пьеса Ю. Олеши — одно из самых новейших интеллигентских произведений — психо-идеологически весьма родственны.

«Они (большевики) все у нас отнимают... Я их ненавижу... Они отнимают у нас жизнь. Они даже не разрешают нам иметь свои мысли» — жалуется сын (физический и духовный) профессора Будного. Ему вторит Юрий: «Да и всем нам сейчас плохо. Как будто мы виноваты в том, что не можем стать ограниченными людьми... Откровенно говоря, я вообще недоумеваю, что такое делается. Нельзя же обходиться одним Марксом. Как быть, если кто уже знает сверх полагающейся нормы? Я даже газет читать не могу — тошно. Все это наверно исполнимо: все эти кооперации и прочее, но нельзя же только этим и питаться. Духовная жизнь человека этим не ограничивается... Жить только этим — скучно. И не мне одному. Не желаю ни с того ни с сего становиться тупицей». Кавалеровщина, буржуазная психо-идеология еще прочно владеют этим апологетом «духовной жизни (буржуазного) человека», объединяя его в этом с сыном Будного, хотя Юрию субъективно и «совсем не хотелось считаться реакционером». «Серьезно — есть люди, способные только на выпышки, они рады разочароваться, они торопятся устать, точно только и ждут момента, когда для этого есть хоть какие-нибудь основания» — замечает однажды бывший революционер Берг, аттестуя этим прежде всего себя самого. У всех интеллигентов романа рядом с «вспышками» революционных настроений еще чаще вспыхивают настроения «усталости», отворачивания к «политике», настроения гамлетизма и т. п. «Я никогда не думал, что буду чувствовать такое отворачивание к политике» (Григорий Жилкин). «Его жизнь представлялась ему теперь (после Октября) удивительно печальной». («Отставной революционер» Баев недаром в своих революционных мемуарах «событий» последних — пооктябрьских

лет — он и не предполагал касаться»). Вспышки «усталости» характеризуют облик Нади. «Я тоже ужасно устала... ничего, кроме службы». Психологической родственнице героев романа Слонимского — Елене Гончаровой Ю. Олеси («Список благодеев»), также весьма «уставшей», очень хотелось отдохнуть в рафинированной «Европе», она стремилась на «бал» — этот символ атмосферы «свободных» чувств. Гончаровой не удалось это осуществить, — Надя попадает на «бал», и в романе Слонимского мы находим ту страницу, которой нет в произведении Ю. Олеси, но которую бы с тайной завистью и с тихим вздохом сочувствия прочла бы Елена Гончарова: «Ей (Наде) очень хотелось танцевать... И Надя развеселилась так, как это давно не случилось с ней... Надя забыла о всех заботах. Она была счастлива. Зал, полный музыки и движения, качался перед ее глазами. И она качалась на стуле в такт неумолкающим танцам, напевая...» Вот где кончается скука и усталость «рафинированных» интеллигентов — Кавалеровых, Гончаровых, Жилкиных и Лавровых.

Старый мир еще прочно владеет душами героев Слонимского.

Даже Борис, этот наиболее близкий к революции интеллигент, сотрудник Клешнева, далеко и далеко не освобожден от специфической интеллигентщины, от внутреннего сползания на «третьи позиции». «Он — парень хороший, только шаткий» — верно характеризует Бориса Иван Бушуев. «Фоме все же легче... Для него все эти люди (интеллигенты) всегда были чужими, а для меня — нет, все-таки я кровно связан с ними, а надо рвать, рвать до бесконечности и давить не сомневаясь. Сейчас это особенно трудно (Борису). Это дает таким, как я, прибавочную усталость». Борис в известной степени несвободен от «достоинства» (см. например главу XII). Профессор Будный, человек цельный и четкий, ясно и правильно улавливает внутренние минусы Бориса: «Пока он не додумает себя и свою идею до конца, он осужден на чрезвычайные колебания и перемены в настроениях... человека определяет мировоззрение».

Интеллигенты М. Слонимского — люди «чрезвычайных колебаний». Смена не только чувств, но и мыслей, принципиальных идейно-политических установок производится непрерывно в сознании основной группы героев романа. Примеры.

У Юрия «несколько спуталось в голове». «Он вступил в подъезд дома, где жил совершенным большевиком, но уже на первой площадке превратился в эсера или даже, пожалуй, в кадета». Эта полуротеская зарисовка однако, увы, выражает истинное политико-общественное положение интеллигентов романа. «Различнейшие идеологии сменялись в его мозгу с утомительной быстротой, но при всякой идеологии, которая на миг овладевала им, он видел себя ее героем и вождем». Политическую неустойчивость в основных «вопросах» ярко демонстрирует причудливая смена идеологических установок Григория Жилкина. («Я революционер, я не могу стать врагом революции» — «однако я опять сомневаюсь»). Так основные герои романа не только психологически, но и идейно-политически обретаются между революцией и контрреволюцией.

Основное конкретно-художественное внимание — сознательно или невольно — Слонимский в данном романе уделяет именно этим колеблющимся, объективно стоящим (не только психологически, но и политически) на «третьей позиции». Именно фигуры Юрия, Григория Жилкина и ряд им подобных получают наиболее полное конкретное выражение. Фигура Бориса дана гораздо более эскизно, при чем он как единомышленник Клешнева дан более схематично, нежели как сомневающийся.

Итак в целом размышления, сомнения и страдания героев романа Слонимского для второго пооктябрьского десятилетия оказываются сильно отставшими от мышления революционной интеллигенции в ее совокупности. Перед последней стоят трудности, однако совершенно иного рода, чем перед героями Слонимского. Они действительно сильно отстали от жизни, как и Елена Гончарова Ю. Олеси.

Сам автор романа психологически несомненно выше своих основных

героев. Образом Фомы Клешнева он стремится идейно казнить «третью позицию». «Он презирал тех, кто в борьбе, охватившей землю, стремился остаться между и вне». Клешнев дает четкий и ясный ответ всем искателям личного «благополучия», «тонкой», «рафинированной» жизни... Мы знаем, что никакого благополучия на земле сейчас быть не может. Это самое благополучие надо строить так, как строим его мы, — и никак больше. И настоящая любовь, настоящая жалость к лучшему, что есть в человеке, — у нас. Роман назван именем Клешнева, это характерно. Однако образ Клешнева конкретно совершенно не развернут, самостоятельного художественного значения он не имеет, он лишь вспомогательное средство для общего указания на политическую порочность «третьей» «позиции»

Юриев Лавровых и прочих.

Тема — интеллигенция и революция — требует сейчас иных, чем вещи Слонимского и Буданцева, художественных произведений. Основные кадры советской интеллигенции заняты сейчас не биением головой о глухую стену «проклятых» «вечных» и «неразрешимых» «проблем» и «биологии» и не вопросом о принятии или непринятии революции. Эти стадии давно пройдены. Сейчас преодолеваются иные препятствия, решаются иные задачи. Тема — интеллигенция и революция — сейчас актуальна по-другому. Вещи Буданцева (особенно) и Слонимского не могут удовлетворить читателя. По отношению к автору «Фомы Клешнева» впрочем имеются основания предполагать, что он быстро может встать на нужный творческий путь.

2. НА ПУТИ К ГИБЕЛИ

Пушкин сто лет назад.

1830 — 1831.

Н. Пиксанов

1. Творческое половодье

Многим наверно покажется невероятным, внутренне противоречивым сочетание этих определений: «На пути к гибели» и «Пушкин сто лет назад», т.-е. Пушкин в 1830—31 году. Ведь именно 1830 год является временем величайшего расцвета творчества Пушкина, проявлением его мощной жизнечности. Ведь именно к 1830 году относится знаменитая болдинская осень, давшая русской литературе столько высоких достижений пушкинского творчества.

Своему другу, П. А. Плетневу, Пушкин писал 9 декабря 1830 г.: «Я в Болдине писал, как давно не писал. Вот что я привез: две последние главы Онегина, восьмую и девятую, совсем готовые в печать. Повесть, писанную октавами (стихов 400). Несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно: Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери, Пир во время чумы и Дон-Жуан. Сверх того написал около трид-

цати мелких стихотворений... Еще не всё... написал я прозой пять повестей...»

В эти скупые, беглые двенадцать строк вместились огромное содержание. Необходимо эти строки пояснить. «Повесть октавами» — это знаменитая «шутливая поэма» «Домик в Коломне». «Прозой пять повестей» — это не менее прославленные повести: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка».

В письме к Плетневу Пушкин мельком упоминает: «сверх того написал около тридцати мелких стихотворений». Во-первых, не около тридцати, а свыше тридцати; мы насчитываем тридцать шесть стихотворений Пушкина, написанных в болдинскую осень. Во-вторых, среди этих якобы «мелких» стихотворений имеются жемчужины пушкинской лирики. Чтобы о них напомнить, назову только немногие:

1. Сонет («Суровый Дант не презирал сонета»).

2. К вельможе (Кн. Н. Б. Юсупову).

3. Поэту («Поэт, не дорожи любовью народной»).
4. Бесы («Мчатся тучи, выются тучи»).
5. Элегия («Безумных лет угасшее веселье»).
6. Моя родословная.
7. Заклинание («О если правда, что в ночи»).
8. Стихи, сочиненные ночью.
9. «Для берегов отчизны дальней».
10. «Пью за здравие Мери».
11. Труд («Миг вождеденный настал»).

И если в письме Пушкин преуменьшил количество написанных стихотворений, то многое иное он просто забыл или поленился назвать. Ведь в Болдине начаты «История села Горюхина» и драма «Русалка». Там же написано или набросано «множество статей о критике, об истории русской литературы и проч.», «пропасть полемических статей».

Трудно сразу и полностью охватить воображением эту массу пушкинских творений. Но чтобы понять, почувствовать, с какой быстротой несся тогда мощный поток творчества, следует навести справку, в какой очереди следовали произведения Пушкина. Не буду давать хронологического списка всех этих произведений: ведь в нем мы насчитываем свыше пятидесяти наименований. Я выберу только немногие крупные произведения, и вот посмотрим, как они сменяют друг друга.

9 сентября 1830 г. был закончен «Гробовщик». Через пять дней, 14-го, — «Станционный смотритель». 18 сентября, т.е. через четыре дня, заканчивается восьмая глава «Евгения Онегина». Через два дня — «Барышня-крестьянка», через пять дней, 25 сентября, — девятая глава «Онегина». Затем наступает пауза в пятнадцать дней, но зато к 10 октября завершается «Домик в Коломне». Через шесть дней — «Моя родословная», за ней через четыре дня — «Метель»; 23 октября, т.е. только через три дня после «Метели», — «Скупой рыцарь»; опять через три дня — «Моцарт и Сальери». Проходит еще четыре дня, и 1 ноября Пушкин приступает к «Истории села Горюхина», а еще через три дня он заканчивает «Каменного гостя».

Итак, менее чем в два месяца созда-

но, закончено или начато двенадцать художественных произведений, из коих не оказалось ни одного неудачного, безвестного, а некоторые принадлежат к высочайшим созданиям гения Пушкина.

И поразительно разнообразие форм, жанров, тем, идей, переживаний, воплощенных в этом творчестве. Здесь находим и интимнейшую лирику, исповедь сердца — и реалистическую бытопись, шутливую повесть — и шекспировского подема драму. Здесь же и великолепные образцы критических анализов, и пафос едкой публицистики. Как контрастные между собою «Домик в Коломне» и «Пир во время чумы!» Как инородны по тематике, по языку и образности главы «Онегина» и «Русалки!» Пушкин создает гордый барственный образ Дон-Жуана и вскоре образ забитого станционного смотрителя. Поразительна гибкость, свежесть поэтического вдохновения: только что Пушкин закончил «Метель», повесть из недавней провинциальной помещичьей жизни, и ровно через три дня его фантазия начинает создавать драматическую пьесу из западного средневековья — «Скупой рыцарь».

К учету и анализу творчества Пушкина в 1830 году мы еще вернемся дальше. Но, созерцая это мощное, стремительное движение, мы не иначе назовем 1830—31 год, как годом творческого половодья. Это было время пышного цветения гения. Это было проявление созревших, исполинских жизненных сил.

II. Между двух миров

И все же именно в 1830 году над этой мощной жизнью повеяло смертью.

Во внешней биографии Пушкина мы наблюдаем явственное расчленение на несколько периодов. До 1820 года он — воспитанник дворянской столичной светской культуры, сначала в Москве, потом в Царском Селе и в Петербурге. Классово-дворянская идеология, культ царизма и великодержавной государственности глубоко впитываются чутким отроком. Но уже в Петербурге наряду с увлечением великосветскостью Пушкин начинает увлекаться иным — политической оппозиционностью, револю-

ционизмом. За это он дорого расплачивается — ссылкой на юг. В кочевой ссылке Пушкин видит иных людей, отдаленные области, новые народности, обогащается яркими поэтическими впечатлениями, и однако вместе с тем несомненно снижает свой культурный и политический уровень. Позднее, годы 1824—26, два года жизни в селе Михайловском были годами созревания поэтического творчества и самого характера Пушкина, годами вживания в усадебную, провинциальную, помещичью жизнь и вместе с тем годами продолжающейся политической изоляции.

А между тем за эти долгие пять лет отрыва от столичной жизни в Петербурге созревало и наконец разразилось восстанием революционное движение — декабризм. Сам выросший из недр дворянского общества, декабризм ставил однако задачи ограничения или даже свержения царской власти и отмены крепостного права, т.-е. подрывал глубокие основы дворянско-монархического строя.

Декабристы погибли, и ближайшие годы после 14 декабря были наполнены политической реакцией, истреблявшей все корни революционности и оппозиции.

Случилось так, что в 1826 году, в том году, когда казнили одних декабристов и рассылали по Сибири других, Пушкин по царскому распоряжению был вызван из ссылки к столичной жизни.

Это был возврат гениального поэта в старый мир, над которым только-что отгремели первые громы медленно надвигающейся революционной грозы.

В первые годы по возвращении из деревенской ссылки в столичную общественно-политическую жизнь Пушкин еще мог колебаться и выбирать между двумя мирами: старым, только-что победившим, но исторически обреченным на гибель, и новым, только-что потерпевшим раннее поражение, но призванным к жизни и будущей победе.

Несмотря на всю жестокость реакции, в 1826 и следующих годах революционные настроения и вспышки не угасали. Даже в передовых дворянских кругах, среди чуткой молодежи жили такие настроения, и мы знаем на примере Герцена и Огарева, как эти настроения, питавшиеся золотой легендой декабриз-

ма, бывали горячи. Молодежь разночинская, именно студенческая, тоже жила культом Рылеева и мечтой о гибели самодержавия. Таковы московские кружки Сунгурова, братьев Критских, такова группа харьковских студентов-радикалов.

Но еще сильнее, глубже и исторически знаменательнее были волнения крестьян и забастовки рабочих, возникшие в 1826 году и в ближайшее время и связанные с декабрьским восстанием. О них только в наше время историческая наука получает возможность рассказать яркие подробности.

И замечательно, что бродилом этого нового революционного движения в известной степени являлись вольнолюбивые стихи Пушкина. В 1826 году возник целый политический процесс, известная «шеньевская история» из-за того, что в обществе переписывалось и распространялось стихотворение Пушкина на смерть деятеля французской революции, Андрея Шенье. И сам Пушкин еще был полон горячих и скорбных воспоминаний о декабристах. В 1827 г. он шлет им «Послание в Сибирь», где читаем знаменитые строки:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье:
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...
...Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Но сам Пушкин внутренне был уже не тот. Заряд революционизма, воспринятый им в юности в Петербурге, на заре декабризма, потом, в годы ссылочных скитаний, расходовался без восполнений. В усадебном уединении Михайловского стали созревать и раскрываться органические основы социально-дворянского самочувствия. Крушение декабристов обнажило внутреннюю обреченность движения на гибель, враждебность ему крепостнического дворянского общества и силу поддержанной этим обществом правительственной власти. Политическая реакция 1826 года пугала своими насилиями. В итоге Пушкин становится политически все сдержаннее, умереннее, консервативнее. Колебания между двумя мирами замораются, и Пушкин наконец начинает переходить на сторону старого мира.

III. Высший свет и женитьба Пушкина

С 1826 г. Пушкин начинает вращаться в столичных светских кругах Москвы, потом и в великосветских — Петербурга.

В сжатом литературно-историческом очерке не место подробному рассказу о том, как Пушкин вращался в столичную барскую жизнь. Стремясь быстро подойти к главному узлу его личной жизни, его социальной судьбы и художественного творчества в 1830—31 году, я отмечу только главное или характерное.

Для Пушкина «высший свет», аристократия всегда имели большую притягательность и обаяние. Блеск внешней обстановки, пышный обряд светской жизни, изысканность и утонченность обычаев и нравов, обаяние силы и власти политической — всё это и еще многое другое неодолимо влекло к себе Пушкина. Вернувшись в столичную жизнь после долгих лет отрыва, Пушкин с особой жадностью погрузился в светскую жизнь. Современники-мемуаристы свидетельствуют, с каким увлечением посещал Пушкин светские собрания в 1829—1830 годах. И мы знаем, что например в январе 1830 г. Пушкин присутствовал на балах у французского посланника и у великой княгини Елизаветы Павловны.

Сохранилось много отголосков светских впечатлений Пушкина в его поэзии. Есть целый цикл стихотворений, посвященных поэтом светским красавицам. Он воспевает фрейлину Александру Россет и придворную даму Оленину. Раскрыв томик Пушкина на 1827 году, вы на двух смежных страницах найдете под ряд такие стихотворения: «Княгине Э. А. Волконской», «К графине Н. В. Кочубей», «Княжне С. А. Урусовой», «Княжне А. А. Мещерской».

Читая такие стихотворения и другие поэтические высказывания Пушкина, взвешивая свидетельства современников, мы начинаем ясно понимать, как вращание Пушкина в великосветскую жизнь неотвратимо обусловило одно событие, от коего вся жизнь Пушкина круто поворачивает на новый путь, на путь к гибели. Я разумею сватовство и женитьбу Пушкина, — предложение,

сделанное им Наталии Николаевне Гончаровой 6 апреля 1830 года и женитьбу, последовавшую 18 февраля следующего 1831 года. 2 марта (по новому стилю) текущего 1931 года исполнилось ровно сто лет со дня женитьбы Пушкина.

Женитьба Пушкина имеет свой социальный смысл. Это событие не было случайностью. Оно вытекало из всего хода жизни Пушкина в предшествующие годы, более того: на нем раскрылись действия основных социальных сил, управлявших жизнью Пушкина, как члена общества.

Невозможно по недостатку места, да и не нужно по существу долго останавливаться на характеристике жены Пушкина и ее семьи.

Семья Гончаровых была рядовой московской барской семьей, приходившей в некоторый упадок и спускавшейся из разряда крупновладельческих дворян в разряд среднепоместных. Что касается Наталии Николаевны, то о ней у одного современника (П. П. Каратыгиня) читаем: «Воспитание сестер Гончаровых (их было три) было предоставлено их матери, и оно, по понятиям последней, было безукоризненно, так как основами такового положения были основательное изучение танцев и знание французского языка лучше своего родного. Соблюдение строжайшей нравственности и обрядов православной церкви служило дополнением высокого идеала московской барышни». Семья Гончаровых вращалась в высшем барском московском обществе и через тетку Наталии Николаевны, знатную и богатую старуху Загряжскую, имела связи с петербургскими придворными сферами. Для Гончаровых Пушкин, небогатый, нечиновный, незнатный, был неровней, неблестящей партией. К этому следует напомнить прославленную блистательную красоту Наталии Николаевны, дававшую ей такой победоносный успех в высшем свете. Невеста Пушкина была именно типичной представительницей этого света; она являлась как-бы символом его.

Что Пушкин так неотвратимо увлекся Гончаровой, что он так долго добивался и с таким трудом добился женитьбы на ней, — это было ярким проявлением той тяги к высшему свету, к аристокра-

тической жизни, которая получила свою власть над Пушкиным около 1829—1831 годов.

С своей женитьбой Пушкин соединил решение глубже войти в аристократию, круче повернуть свою жизнь на новый путь. Еще до свадьбы Пушкин дал своей будущей теще Гончаровой торжественное обещание: «Я ни за что не потерплю, чтобы моя жена чувствовала какие-либо лишения, чтобы она не бывала там, куда она призвана блистать и развлекаться. Она имеет право этого требовать. В угоду ей я готов пожертвовать всеми своими привычками и страстями, всем своим вольным существованием».

Пушкин выполнил свое обещание, но дорогой ценой: он расплатился не только своим вольным существованием, но и своей конечной гибелью.

Если сватовство и женитьба Пушкина были социально predeterminedены, то столь же predeterminedен был и тот конфликт, то внутреннее противоречие, какое крылось в этом неравном браке. Если родители Натальи Николаевны считали Пушкина неровней для своей дочери по его скромному светскому положению, то ведь и Наталья Николаевна была неровней гениальному поэту-жениху по ее культурному уровню, по скудости ее духовных сил.

Это внутреннее противоречие, безысходное и трагическое, Пушкин ощущал, не мог не ощущать, не только потом, в годы семейной жизни, но и теперь, в 1830 году, в месяцы своего затянувшегося жениховства. «Мне за 30 лет, — писал он своему знакомому Н. И. Кривоцову за неделю до свадьбы, — в тридцать лет люди обыкновенно женятся — я поступаю, как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью». А своему другу П. А. Плетневу, после одной из ссор с будущей тещей, ограниченной и корыстной женщиной, Пушкин писал (31 августа 1830) еще откровеннее: «Милый мой, расскажу тебе всё, что у меня на душе: груст-

но, тоска, тоска. Дела моей будущей тещи расстроены... Чорт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан». Через десять дней ему же Пушкин признается: «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты да и засесть стихи писагь» (9 сентября 1830). И наконец в письме к другому другу, П. А. Вяземскому, из Болдина — 5 ноября 1830 мы читаем страшное признание: «Отправляюсь, милый мой, в зачумленную Москву — получив известие, что невеста ее не покидала. Что у ней за сердце? твердою дубовой корой, тройным булатом грудь ее вооружена».

IV. Пушкин в плену старого мира

С такой женой Пушкин вошел в новую жизнь, в высший свет, в феодальную аристократию.

Годы, прожитые им в этом кругу, последние годы жизни, были годами трудной борьбы. Это поистине была драма, драма, не писанная, но пережитая Пушкиным.

Старая либеральная наука фальшиво понимала и истолковывала эту драму.

Либеральные литературоведы представляли дело так, что свободолобивый поэт, сохранивший и в годы реакции все свои либеральные симпатии, из-за жены вовлекся в чуждый ему мир, великосветский и придворный.

На самом деле было иначе. Мы уже видели, что самый выбор невесты и женитьба были predeterminedены давним тяготением Пушкина к этому миру феодальной аристократии. И можно с основанием утверждать, что и без женитьбы Пушкин вращался бы в этом мире. После ссылки, после катастрофы декабризма, учитывая реальную, больно его теснившую, политическую обстановку, созревая внутренне и самоопределяясь, Пушкин начинал терять заряд молодого демократизма и оппозиционности и раскрываться в первоосновах своего социального дворянского самочувствия. Не только в силу житейских обстоятельств, не только за страх, но и за совесть Пушкин сближался с властью, и безо всякой внутренней драмы готов был служить правительству своим пером. Особенно ярко

обозначилось это поправление Пушкина к 1831 году (напомню его затем издавать газету, готовую служить «видам правительства», помогать ему «управлять общественным мнением»). Но и раньше, в 1829 году, и еще раньше Пушкин всё больше и больше начал укрепляться в своем политическом и социальном консерватизме. Не только блеск великосветского быта, но и государственная мощь аристократии увлекала Пушкина. Сам он сознавал себя шестисотлетним дворянином и думал по праву занять в свете соответствующее положение.

Не стану подробно излагать, как Пушкин всё больше поддавался идеологическому влиянию великосветской среды и как это отражалось на его теоретических рассуждениях.

Я напомню только, как феодальная идеология отразилась в тогдашнем творчестве Пушкина.

Так в «Скупом рыцаре» Пушкин с внутренним увлечением характеризует культ феодальной чести, в котором одинаково живут и старый барон, и его сын, молодой рыцарь Альбер. В другой драматической пьесе «Каменный гость» с меньшим увлечением воссоздан образ Дон-Жуана с тем барским культом «страсти нежной», какому отдал дань и сам Пушкин, как и весь круг русской знати крепостной эпохи.

Любованье вельможеством, знатным и богатым русским магнатством особенно ярко сказалось у Пушкина в «Послании к вельможе», князю Н. Б. Юсупову. К этому екатерининскому магнату тузу в отставке Пушкин обращается с торжественным приветом:

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь!

И тут же поясняет, что понять жизни цель и жить для жизни значит предаваться наслаждениям «в благородной праздности»:

Один все тот же ты. Ступив за твой порог,
Я вдруг переносишь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышешь благородной.

И дальше с принудительной неизбежностью вырастает ассоциация с римскими магнатами:

Так, вихрь дел забыв для муз и неги праздной,
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римляне встречали свой закат.

В благородной праздности князь Юсупов предавался, как известно, не только любованью статуями, книгами и картинами, но и оргиям. Это именно о нем сказал Грибоедов в письме к декабристу А. А. Бестужеву: «Этакий старый придворный подлец!».

В оппозиционно настроенных кругах общества «Послание к вельможе» вызвало протесты. Журналист-разночинец Н. А. Полевой напечатал даже в своем «Московском телеграфе» колючую сатиру на это произведение. Но Пушкин в своем увлечении не замечал, в какую фальшивую идеализацию впадал он, восхваляя князя Юсупова.

В том же увлечении не заметил Пушкин, как искусственно перестилизовал он образ Татьяны Лариной в восьмой главе «Онегина», в последней главе, законченной в том же 1830 году.

Для русского писателя 20-х годов прошлого века было необычайно смелым замыслом взять героиней своего лучшего романа уездную барышню и окружить ее своей авторской любовью. Но Пушкин именно так поступил. Родители Татьяны Лариной — скромные уездные мелкопоместные дворяне. О своей родной усадьбе Татьяна говорит: «наше бедное жилище». Об Ольге Лариной в романе сказано: «меньшая дочь соседней бедных». На именинах Татьяны целью взоров и суждений был жирный пирог пересолённый. Здоровье Татьяны пила не шампанским, а только цимлянским. О гостях Лариных Онегин пренебрежительно говорит:

Но куча будет там народу
И всякого такого сброду.

И сам Пушкин, описывая собравшихся, подтверждает такую характеристику. После именинного вечера заночевавшие гости улеглись кто в гостиной, кто в столовой, кто в коридоре, — одни на стульях, другие даже на полу. Образование, какое получили сестры Ларины. Татьяна и Ольга, было самое скромное, скудное. Не сказано даже, были ли у них домашние учителя и гувернантка; ни в институте, ни в пансионе, ни в какой школе они не учились. Французским

языком наверно владели плохо. Библиотеки в доме не было. Читали что придется, «разрозненные томы», книги получались случайно, через кочующих уездных торговцев.

Когда старушка Ларина повезла дочку в Москву, на ярмарку невест, бедной Тане предстояло:

На суд взыскательному свету
Представить ясные черты
Провинциальной простоты
И запоздалые наряды,
И запоздалый склад речей.

И действительно в Москве при появлении Татьяны среди «московских граций», ее находили:

Провинциальной и жеманной.

Что уездная барышня Таня была душевно богаче, глубже, одареннее рядовых «московских кузин», это вполне естественно, это вероятно, правдиво. Для позднейшей своей повести: «Капитанской дочки» — Пушкин выбрал героиню из глухой, отдаленной окраины и не дал ей и того скудного культурного уровня, на каком стояла Татьяна в усадьбе Лариных. Однако душевный мир Маши Мироновой. содержателен, и автор умеет привлечь к ней симпатию и уважение читателей. Было бы правдиво изобразить Татьяну Ларину в Москве быстро овладевающей тем внешним лоском, какой имелся в средних столичных дворянских кругах. Было бы правдоподобно, если бы Татьяна овладела также и всей духовной культурой, доступной в том же круге. Сюда могли залетать отголоски из иной, еще более высокой культуры, созревавшей тогда в кругу избранной крупнодворянской московской интеллигенции. Вскользь, но значительно упоминает Пушкин:

У скучной тетки Таню встреть,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.

И вполне естественно, что «близ него ее заметя», о ней осведомляется старик, что «глаз с нее не сводит какой-то важный генерал»: ведь Таня, бывающая в храме Мельпомены, Талии и Терпсихоры, т.е. в театре, привозимая теткой и в «Собрание», т.е. в «Благородное собрание» московского дворянства, — Таня, беседующая с известным поэтом и критиком, князем П. А. Вяземским,

обогащалась духовно и становилась столичной светской девушкой. Естественно, что в среднем дворянском столичном круге Татьяна могла удачно «сделать партию», выйти замуж за богатого, знатного, заслуженного генерала и князя.

Здесь же, в Москве, княгиню Татьяну мог бы встретить Евгений Онегин, который, как известно в своих скитаниях после дуэли с Ленским заезжал и в Москву. И здесь же, в Москве, мог завершиться их печальный роман.

Однако Пушкин поступил иначе.

Седьмую главу, изображающую переезд Татьяны в Москву, ее московскую жизнь и выход там замуж, Пушкин написал под живыми впечатлениями Москвы, когда он вернулся туда после ссылки в Михайловском. Но позднее Пушкин переехал в Петербург, вошел в великосветскую жизнь и оказался в том плену феодальной аристократии, о каком я говорил раньше. И вот заключительная глава «Онегина», восьмая, слагалась Пушкиным в 1829—1830 гг. под свежими и яркими впечатлениями петербургской аристократической жизни.

Из исследователей Пушкина никто и никогда не устанавливал и даже не замечал, что новый поворот в жизни, в идеологии и в социальном самочувствии Пушкина отразился на композиции романа и прежде и больше всего на образе Татьяны. Из Москвы Пушкин переносит место действия «Онегина» в Петербург, из среднедворянских кругов в придворные сферы. В дивной бытописи романа картины уездной усадебной жизни, сменившиеся картинами несколько старомодной, несколько провинциальной барской Москвы, теперь сменяются картинами высшего света, петербургской аристократии. Обращу внимание на одну характерную черту этого нового быта, которая и сама по себе была очарованием для Пушкина и наконец становилась для него как бы символом высшего света: на великосветский бал. Еще в ранние годы жизни Пушкин любил бал и в первой главе «Онегина» это засвидетельствовал:

Во дни веселий и желаний
Я был от балов без ума.

И еще:

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил,
Но если б не страдали правды,

Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманый наряд.

И позднее, в главе седьмой, описывал бал в московском благородном собрании:

Там теснота, волнение, жар,
Музыки грохот, свеч блистае,
Мелькае, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг.

А в VIII главе Пушкин в черновой строфе с увлечением описывал одну из светских львиц:

Смотрите: в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей.
В волненьи перси, плечи блещут,
Вкруг стана и груди трепещут
Прозрачной сетью кружева,
Горит в алмазах голова,
И шелк узорной паутинной
Сквозит на розовых ногах.

Вместо этой строфы Пушкин написал другую:

И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший тесный круг,
Подобно лилии крылатой,
Колeblesь, входит Лалла-Рук,
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою
И тихо вьется и скользит,
Звезда Харита меж Харит.

Лалла-Рук — это сама императрица Александра Федоровна, участвовавшая в одном из придворных балов-маскарадов.

Было очень горячим это увлечение Пушкина светом и балом и его царицами. И мы должны это учесть, чтобы еще раз продумать увлечение Пушкина Натальей Николаевной Гончаровой, очарование которой неотделимо от очарований света и бала.

Этим очарованием окружить и наделять захотел Пушкин свою любимую героиню, Татьяну Ларину. Татьяна теперь, в VIII главе, богата и знатна. На рауте она с послом испанским говорит, а на ее вечере:

Был посланник, говоривший
о государственных делах.

Ее знатный муж еще к тому же в сраженьях изувечен, и потому их ласкает царский двор. Этого мало поэту.

Он делает ее центром великосветского круга, законодательницей зал, задающей тон.

...Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы:
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

И этого мало. Появление Татьяны в зале описывается, словно высочайший царский выход:

К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей,
Мужчины кланялися ниже,
Ловили взор ее очей,
Девицы проходили тише пред ней по зале.

Наконец Татьяна — хозяйка блестящего модного салона. Сама она говорит Онегину:

Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера...

А Пушкин называет ее величавой, небрежной законодательницей зал, — сильнее:

неприступною богиней
Роскошной царственной Невы.

В ее салоне бывал «цвет столицы, и знать, и моды образцы», и члены дипломатического корпуса.

Образ новой, преображенной Татьяны, знатной дамы, председательницы модного салона, небрежной законодательницы зал, неприступной богини царственной Невы, — сам по себе этот образ яркое, художественное, и читатели, воспринимая его, безотчетно подчиняются внушению поэта.

Но насколько связан новый образ знатной княгини с прежним образом барышни «из глуши степных селений»?

Когда Онегин встречается на петербургском балу с мужем Татьяны, происходит короткий диалог:

Так ты женат? не знал я рана!
Давно ли? — «Около двух лет».
— На ком? — «На Ларинной.»

Итак, два, от силы три года отделяет питомицу захолустной мелкопоместной усадьбы от царицы невских берегов. Могла ли так скоро и вообще могла ли бедная, необразованная уездная барышня преобразиться в законодательницу мод? О чем могла она «с послом испанским говорить»?

Такое превращение неправдоподобно, невероятно. Пушкин и сам это сознавал и даже печатно признался, что «переход от Татьяны-уездной барышни к Татьяне-знатной даме становится слишком неожиданным и необъяснимым». Но поэт уже не смог устранить внутренних противоречий сложившегося образа Татьяны.

Эти противоречия в художественном образе являются для историка-марксиста ярким показателем социального давления, тех социальных противоречий, какие крылись в положении самого поэта.

V. Борение Пушкина со старым миром

Не со всей полнотой, но, надеюсь, со всей определенностью я изобразил тот поворот, который совершился в жизни и творчестве Пушкина в 1830—1831 года в связи с его женитьбой.

Теперь мы видим, что и сама женитьба была обусловлена исконными социальными тяготениями поэта, а потом она же их еще больше усилила. Мы теперь видим, что вхождение Пушкина в аристократическую среду характерно и сильно отразилось и на его художественном творчестве.

Но значит ли всё сказанное, что, добровольно отдавшись в плен феодальной русской аристократии, Пушкин был всецело ею поработен?

Этого не могло случиться уже по одному тому, что мощные духовные силы гениального поэта сберегли бы его от такого поглощения.

Но этого не случилось и потому, что Пушкин социально был все же чужероден аристократии. Он гордился своей родовитостью, тем, что он — «шестисотлетний дворянин». Но он был «обломком, игрою счастья обиженных родов». Таков, каким он был не в мечтах, не в претензиях и домогательствах, а в реальной действительности, он был средний культурный неслужащий, небогатый городской дворянин, как писатель давно уже сблизившийся профессионально с разночинской интеллигенцией.

И вот — эта инородность помешала слиянию Пушкина с аристократией. Больше того: инородность эта оказалась роковой, и именно она привела Пушкина к гибели.

И в те же самые годы, о которых я сейчас беседую, которые отделены от нас ровно столетием, в годы 1830—1831, социальные противоречия не замедлили сказаться и в жизни, и в творчестве Пушкина.

В том же самом романе «Евгений Онегин», где Пушкин так нарядно изображает высший свет, вдруг неожиданно, резким диссонансом, звучат совсем иные ноты. Еще в заключительных строфах шестой главы «Онегина» Пушкин обращался к своему поэтическому вдохновенью с мольбою:

Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоении света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, болованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопов добровольных.

Бездушные гордецы, блистательные глупцы, тупые судьи, наконец холопы добровольные, — какие резкие, суровые оценки!

А когда Пушкин работал над восьмой главой, над ее первоначальным текстом, то в свободной беседе с самим собой, наедине, Пушкин написал строфу (в окончательном тексте это строфа XXIV), где появляются и злые старухи, и смешной старик, и

Везде встречаемые лица,
Необходимые глупцы.

А затем, увлекшись сатирическим вдохновением, Пушкин приписал еще две строфы, где выведены: «на эпиграммы падкий, на всё сердитый князь Бродин» и «диктатор бальный, прыгун суровый, должностной», и фертик молодой, и сенатор-картежник, наконец Проласов, «заслуживший известность низостью души» и «цензор непреклонный, за взятки места лишенный». Потом Пушкин спохватился и ради того же «цензора непреклонного» да и добровольных светских цензоров смягчил печатный текст. Но мы-то ведь сквозь черновые рукописи поэта подслушали его подлинное мнение.

Совершенно в тон утаенным стихам «Онегина» Пушкин отзывался о высшем

свете в одном стихотворении 1829 года («Когда твои молодые лета позорит шумная молва»):

Но свет...
...Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья.

«Кого ты называешь аристократами?» — спрашивает одно действующее лицо у Пушкина в неоконченном черновом отрывке. Ответ: «Тех, которые протягивают руку графине Фуфлыгиной». — «А кто такая графиня Фуфлыгина?» Ответ: «Взяточница, толстая, наглая дура...»

Но не только литературоведы и читатели нашего времени знают подлинные мысли Пушкина. Их хорошо знали и в его время и прежде всего жандармы. С 1826 года непрерывно тянулись политические процессы и розыски по обвинениям в распространении вольнолюбивых стихов Пушкина. К ответственности привлекался и сам Пушкин. И хотя ему удавалось доказывать свою непричастность к распространению своих запретных стихов, но сами-то стихи принадлежали ведь ему и не могли не возбуждать в правительстве и в самом царе Николае I злобы и глубокого недоверия к поэту. Не могу здесь останавливаться на подробностях, и опять возьму данные только из юбилейного 1830—1831 года. Здесь придется цитировать документы, обнаруживающие совершенное единомыслие царя и шефа жандармов Бенкендорфа.

28 января 1830 года Бенкендорф пишет Пушкину, что государь недоволен тем, что Пушкин не соблюдает должного этикета в одежде. 17 марта Бенкендорф требует ответа, почему Пушкин выехал в Москву без позволения, — как будто Пушкин состоял под домашним арестом или лишен был права свободного передвижения. 5 июня петербургским генерал-губернатором дано предписание: разыскать, вернулся ли Пушкин.

Этот надзор и сыск, эти претензии и выговоры были столь тягостны, что Пушкин еще 7 января того же года просил Бенкендорфа отпустить его... в Китай с русской миссией, которая туда снаряжалась. На ходатайство не отвечали десять дней, а потом прислали отказ. Тогда Пушкин написал (по-французски) письмо Бенкендорфу (24 марта 1830),

где сквозь учтивые, гладкие фразы прорывается подлинное отчаяние: «Всякий мой шаг возбуждает подозрение и недоброжелательство. Простите мне, генерал, свободу, с которою я высказываю свои сетования, но, ради неба, удостоите хотя на минуточку войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно. Оно так непрочно, что каждую минуту я чувствую себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избежать».

И таких писем немало. Пушкин вынужден был испрашивать разрешения не только на выезд в Москву, но и на такое личное дело, как женитьба. И вот на ходатайство о женитьбе Бенкендорф ответил таким письмом (от 28 апреля 1830 г., по-французски), которое следует привести полностью, так оно красноречиво:

«Я имел счастье представить императору письмо, которое вам угодно было мне написать 16 числа сего месяца. Его императорское величество, с благосклонным удовлетворением приняв известие о вашей предстоящей женитьбе, удостоил заметить по сему случаю, что он надеется, что вы, конечно, хорошо допросили себя раньше, чем сделать этот шаг, и наши в себе качества сердца и характера, какие необходимы для того, чтобы составить счастье женщины и в особенности такой милой, интересной женщины, как m^{lle} Гончарова.

Что касается вашего личного положения по отношению к правительству, — я могу вам только повторить то, что уже говорил вам столько раз; я нахожу его совершенно соответствующим вашим интересам; в нем не может быть ничего ложного или сомнительного, если, разумеется, вы сами не пожелаете сделать его таковым. Его величество император, в совершенном отеческом попечении о вас, милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендорфу, — не как шефу жандармов, а как человеку, к которому ему угодно относиться с доверием, — наблюдать за вами и руководить своими советами; никогда никакая полиция не получила распоряжения следить за вами. Советы, которые я вам от времени до времени давал, как друг, могли вам быть только полезны, — я надеюсь, что вы всегда и впредь будете в этом убеждать-

ся.—В чем же то недоверие, которое будто бы можно в этом отношении найти в вашем положении? Я уполномочиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем тем, кому, по вашему мнению, должно его показать».

Шеф жандармов милостиво разрешает прославленному поэту показать это письмо кому угодно. Кому можно было показывать оскорбительное и лживое письмо? Оно было лживо, нагло лживо, так как и Пушкину, и еще лучше самому Бенкендорфу было известно, что в течение многих лет Пушкин был окружен двойным, тройным шпионажем. Письмо было оскорбительно этим «благосклонным» и бесцеремонным вмешательством в личную, интимную жизнь писателя, этой презрительной трактовкой его «качеств сердца и характера».

Письмо Бенкендорфа написано в апреле 1830 г. Женитьба Пушкина состоялась в феврале 1931 г., и потом молодая чета была принята в придворном кругу. Туда проложили дорогу конечно не вольнолюбивые стихотворения Пушкина и вообще не его поэтическое творчество, а блистательная красота его жены да протекция ее тетки, упомянутой влиятельной придворной дамы Загряжской. Но письмо Бенкендорфа было симптоматично. Оно предопределило весь характер отношений к Пушкину придворного круга.

Последние пять лет жизни Пушкина выходят за пределы моего обзора и не подлежат здесь характеристике. Да они и достаточно известны, особенно благодаря превосходной книге недавно скончавшегося П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». В этом исследовании рассказано во всех подробностях, какую сеть подозрений, сплетен, интриг, пасквилей был постепенно окружен Пушкин в великосветских и придворных кругах и как всё это привело его к дуэли и гибели.

VI. Пушкин и новый мир

В 1837 году Пушкин погиб. В придворных и великосветских кругах многие могли тогда торжествовать и действительно торжествовали: ведь из их среды был выведен мощный деятель культуры, чужеродный и в сущности даже враждебный русскому вельможеству.

Но физическая гибель Пушкина предвещала историческую гибель аристократии.

Мы только-что убедились, как охотно шел Пушкин навстречу этой аристократии. Он это делал ценою отказа от многих и лучших воззрений своей юности. Своему увлечению Пушкин подчинял и поэтическое вдохновение, складывая такие произведения, как «Послание к вельможе».

Но вместе с тем мы тут же увидели, как мощная мысль, как великая душа поэта, как его гениальное творчество боролись со старым миром. Временно Пушкин оказался в плену старого мира. Но это был непокорный, мятежный пленник. Всеми своими силами, всем своим существом Пушкин вырастал, высвобождался из тесного барского круга и всем глубоким смыслом своего творчества начинал тяготеть к новому миру.

В том же самом 1830 году, о котором я сейчас говорил, мы имеем разительный пример тяготения Пушкина к новому миру. Я перечислял произведения, написанные в этом году. И вот надо вспомнить и со всей полнотой оценить тот факт, что среди них между скучным рыцарем и Дон-Жуаном мы находим стационарного зрителя. Героем повести взят не феодал, не благородный российский дворянин, а бедный человек, «сущий мученик», «огражденный своим чином только от побоев, да и то не всегда». Уважение к его человеческой личности, теплое участие к его горькой судьбе, противопоставление ему богатого и знатного барина, холодного, высокомерного и жестокого, — как всё это необычно, как это враждебно старому миру!

Социальная повесть о стационарном зрителе опережает «Шинель» Гоголя, «Бедных людей» Достоевского и, минуя раннее барское творчество Толстого, перекликается с демократической литературой шестидесятых годов.

В те годы, в последние годы жизни, когда Пушкин в своей личной жизни неотвратно двигался по пути к гибели и когда его художественное творчество создало наиболее зрелые произведения, всего менее эти произведения ценятся в великосветской среде. Их там ча-

сто просто не знали. А на ряду с этим невежеством, знати всё росло преклонение перед Пушкиным широким демократических кругов читателей. Впервые эта любовь к Пушкину новой, молодой России проявилась у его гроба, когда огромные толпы его почитателей, собравшихся к его дому, оказались невольной, молчаливой, но яркой демонстрацией.

С тех пор прошли года и десятилетия, наконец — и столетие. В битвах с дряхлеющим старым миром рос и креп новый мир — и наконец победил.

И в годы великой революции, когда гибнут последние обломки старого мира, Пушкин получает новую жизнь и новсе бессмертие.

Поразительно, как в наше время расходятся издания сочинений Пушкина. Гизовский однотомник вышел уже шестым изданием и печатается тридцатитысячными тиражами, чего никогда не было до революции. Издание в приложении к «Красной ниве» печатается в 65 тысячах и не может удовлетворить всех требований подписки. Подписное шеститомное издание уже исчерпано подпиской. Любое иное издание быстро исчезает в массивах нового народившегося рабочего читателя.

В анкетах последних лет мы найдем замечательные заявления о Пушкине. Журналист тов. Шепетов свидетельствует, что в библиотеках «за Пушкиным стоят очереди», и буквально в тех же словах пишет рабфаковец Швецов: «На таких классиков, как Пушкин, в библиотеке очереди». Библиотекарь завода АМО тов. Леверсит подтверждает: «Пушкин у меня никогда почти не бывает на полках. Рабочий молодежь берет его нарасхват».

Еще существеннее отзывы о самой поэзии Пушкина. Здесь в признании великих достоинств и заслуг Пушкина сливаются в один хор тысячи голосов, начиная с вождя великой революции, В. И. Ленина, и кончая самыми скромными безвестными работниками революционной эпохи. Известная статья в «Правде» «За что любил Пушкина Ленин?» отвечает так: «Пушкин был один из любимых поэтов Владимира Ильича. Об этом мы имеем много свидетельств... За что любил Пушкина Ленин? Прежде всего за ясность и простоту. Ленин выше всего ценил в искусстве, как и в по-

литике, ясность, простоту, общепонятность, доступность миллионам умов... Пушкин ввел поэзию в обиход народной жизни. Из придворно-салонного развлечения он сделал ее могучим средством воздействия на умы и сердца масс... Вычурности, манерности, искусственности не мог терпеть Владимир Ильич, бывший олицетворением простоты. Ему ближе был далекий по времени, но близкий по мироощущению солнечно-радостный Пушкин... Он любил Пушкина — несравненного певца русской природы... Итак не случайна симпатия Ленина к Пушкину... Пушкин с потрясающей силой передавал большие человеческие чувства — любовь, ненависть, тоску, честолюбие, муки творчества, порыв к свободе, борьбу против течения и т. п. Кому не чужды большие человеческие чувства, тот не может без нежной любви относиться к Пушкину».

На анкетный запрос «Красной нивы», какое значение имеет Пушкин в эпоху культурной революции, наш заслуженный историк М. Н. Покровский ответил так: «Пушкин — высшее достижение в области русского языка, языка русской литературы. Более совершенной и изящной словесной формы русская литература не знает. Оттого Пушкина можно узнать по двум строчкам, — так мог сказать только Пушкин. Для тех, кто учится писать, — а теперь очень многим нужно учиться писать, — Пушкин совершенно незаменимая школа. Ни о каком другом писателе — кроме разве Грибоедова — этого не скажешь».

Но послушаем, как на ту же анкету отвечают рабочие. Рабочий газового завода тов. Сергеев пишет: «Я горячо приветствую редакцию журнала «Красная нива» за хорошее дело — печатание собрания сочинений А. С. Пушкина. Неважно, что Пушкин — дворянин. По тому, как он отзывался в своих произведениях о бывших привилегированных классах, его можно назвать писателем, который осмеивает их и стоит на стороне низших слоев тогдашнего населения («Деревня», «Поэт и чернь»). Пушкин положительно описывает и зарождавшийся в его время протест против дворянства. Нужно и интересно его читать». Работница шелкопрядильной фабрики «Пролетарский труд» тов. Кричевская заявляет: «Мне кажется, что

полное собрание сочинений Пушкина, только в самом деле полное, нам очень нужно. Во-первых, нужно потому, что Пушкина читают и любят, и читает не только молодежь, а и взрослые. Это я знаю по нашей фабричной библиотеке». Рабочий-столяр, председатель группкома тов. Кусков пишет: «Пушкина читал и очень люблю. Люблю я Пушкина потому, что он — прекрасный поэт. Он очень ценен для нас и в настоящих условиях. Правда, в его сочинениях много аристократизма, но это можно простить ему, принимая во внимание среду, в которой он жил и писал. Я считаю, что мы и сейчас можем и должны учиться у него писать». Рабочий типографии «Красный пролетарий» тов. Фокин сообщает: «Читаю Пушкина очень охотно; особенно нравится образность: всех и всё видишь словно перед собою. Ни у кого больше таких ярких образов не встречал».

На этом я прерываю извлечения из анкеты. Думаю, что и приведенного достаточно, чтобы охарактеризовать отношение к Пушкину нового, пролетарского

читателя. Не могу только не огласить в заключение одно замечательное сообщение в печати А. В. Луначарского: «Года три-четыре назад я гулял по парку в Остафьево — бывшем имени Вяземских, где Пушкин часто бывал... В порядке экскурсии парк посетила небольшая группа комсомольцев: три-четыре парня, три-четыре девушки. Они с интересом ходили по музею, в который превращено жилище Вяземских, по парку, и остановились перед памятником Пушкину. Один из них наклонился (надпись стала несколько неразборчивой) и прочитал: «Здравствуй, племя младое, незнакомое». Я стоял совсем неподалеку и был поражен необыкновенной уместностью, которую в этой обстановке приобрела надпись. Повидимому, поражены были и комсомольцы. Они как-то затихли и перестали глядеть между собой. Прямо к ним обратился великий голос из-за гроба. Маленькая комсомолка в красном пласточке подняла к Пушкину глаза, полные некоторой робости, удивления, но и дружелюбия, и негромко сказала: «Здравствуй, Пушкин».

3. СТОЛЕТИЕ „НЕМЕЗИДЫ“¹⁾

Ю. Данилин

Среди представителей социально-протестующей литературы Запада имеется множество несправедливо забытых имен. Однако напрасно было бы пускаться в ламентации о тщете человеческих усилий, о неумолимо растущей «траве забвения». Дело гораздо проще. Если западные буржуазные историки литературы тщательно регистрируют творчество всех реакционных писателей, то в силу этой же причины ими столь же тщательно и методически производилось и производится замалчивание представителей революционной или даже только социально-протестующей литературы. Развивая и доказывая это поло-

жение в других своих работах, я должен здесь ограничиться по недостатку места лишь догматическим его высказыванием.

В настоящем очерке речь будет идти о французских поэтах 20—30 гг. прошлого века—Бартеlemi и Мери. Они не удержались до конца на высоте своей литературно-социальной миссии, — один из них «успокоился», другой позволил себя подкупить, — но тот период их литературной деятельности, когда оба поэта, в особенности Бартеlemi, еще горели огнем своего бунтарского энтузиазма, был полновочувствен, мощен, смел и породил множество откликов в современной им французской литературе.

Оба эти поэта совершенно неизвестны в настоящее время. Тот или иной фран-

¹⁾ Отрывок из исследования Ю. Данилина «Поэты июльской революции» (печ. в ГИХЛ).

цузский литературовед, обнаруживая нечаянно их творчество, ошеломленно протирает глаза. Как могло случиться, что их забыли? «Это—поэт, несправедливо пренебрегаемый, — пишет один из таких литературоведов по поводу Бартеlemi, — история литературы должна будет заняться им в ближайшее время; его багаж заслуживает внимания»¹⁾. Другой критик, говоря о творчестве того же Бартеlemi, восторженно восклицает: «Оно прекрасно! Оно смело! Оно полно воображения, мужества, красноречия!»²⁾. И третьи заявляют, что творчество Бартеlemi и Мери, особенно выпускавшийся ими стихотворный воскресный сатирический журнал «Немезида», полно «возвышенного вдохновения и не находит себе аналогий»³⁾.

Бартеlemi и Мери начали работать в французской литературе в годы той феодально-католической реакции, к которой была ознаменована эпоха реставрации. Это было время, когда Бурбоны и дворянско-поповская эмиграция, выкинутые из Франции четверть века назад якобинской революцией, возвратились с победными песнями и под охраной штыков интервенции. Великая наполеоновская империя, борющаяся за упрочение буржуазно-капиталистических порядков, завоеванных революцией, рухнула; сто дней не помогли ей воскреснуть. И возвратившимся эмигрантам казалось, что колосс сражен и повержен бесповоротно, что они, сметя в мусорную яму развалины империи, безмятежно смогут восстановить на ровном месте старую дореволюционную Францию.

Но они ошибались. Политика крайних правых групп дворянского класса, так называемых «ультра-роялистов», принявших с места в карьер насаждать белый террор, огнем и мечом истребляя бывших деятелей революции, деятелей Конвента, наполеоновских офицеров и солдат, вызвала протест Священного союза. Помогая реставрации

старой королевской династии, Священный союз отнюдь не желал, чтобы во Франции в результате проводимого озверелыми эмигрантами белого террора снова вспыхнула революция: революции ведь заразительны. И в результате воздействий Священного союза стремление реакции насильственно вернуть Францию к дореволюционному состоянию оказалось решительно парализованным.

Однако французское дворянство, экономически разгромленное революцией, видевшее свои земли национализированными, а замки разрушенными, жаждало компенсаций. Когда широкие массы населения, — мелкая и средняя буржуазия, крестьянство и пролетариат, — на первых порах запуганные террором, устрешенно согнулись под режимом реставрации, дворянство еще не верило, что все потеряно. Но годы шли, а правительство должно было соблюдать хартию, правительство должно было санкционировать права новейших владельцев национализированных поместий и даже оберегать последних от словесных оскорблений, правительство должно было сохранить некоторые социальные завоевания революции, оставить наполеоновский кодекс и наполеоновскую администрацию, правительство не смело удовлетворить эмигрантов за понесенные ими убытки от революции. Дворянство начинало переходить от прежних надежд к безнадежному отчаянию, к неистовым воплям бессильной злобы. И реакция, политическая, философская, литературная, все шире раскидывала свои совиные крылья.

Мрачная ее свирепость усугублялась тем отпором, который она постепенно начинала встречать. В 20-х гг. французская промышленность, расшатанная наполеоновскими войнами, коренным образом оправилась и начала быстрыми темпами развиваться, чему содействовало множество технических открытий. Промышленная буржуазия, не мирившаяся с преобладанием землевладельческого дворянства, являлась одним из центров оппозиционных общественных настроений. Бонапартизм при всей расплывчатости своего содержания объединял широкие массы мелкой буржуазии, крестьянства и пролетариата. Республиканская партия

¹⁾ Ad. van Bever.—Les poètes du terroir du XV siècle au XIX siècle, Paris, 1922, t. IV, p. 285—6.

²⁾ Leon Levrault.—Les genres littéraires La Satire, Paris, s. a. éd. Delaplane, p. 117.

³⁾ G. Normandy et M.—C. Poinsoit. Les poètes sociaux, Paris, s. a. éd. L. Michaud, p. VII.

начинала приобретать популярность среди студенчества, ремесленников и рабочих. Французское общество резко распалось на два вражеских лагеря, при чем один из них, лагерь оппозиции, лагерь буржуазии, все более разрастался, усиливался и крепнул к концу 20-х годов по мере прогресса индустриально-технического развития, в то время как другой, лагерь феодально-католической реакции, только слабел и численно уменьшался. И если режим реставрации покоился на равновесии между дворянским землевладением и верхушкой крупной, финансово-индустриальной буржуазии, то чашка весов, на которой помещалась крупная буржуазия, тихо и неотвратно начинала перетягивать. Этого не понимало правительство реставрации, с его пристрастием к землевладельческому дворянству, и попытка правительства Карла X произвести переворот в пользу последнего класса была заранее обречена на неудачу. Она и привела к июльской революции.

И пока в дворянской литературе слагался и крепнул реакционный романтический стиль, пока дворянские писатели 20-х гг. создавали исторические романы, любовно воскрешая в них давно прошедшие времена феодализма, пока они слагали исторические поэмы, полные религиозно-библейских мотивов, пока они воспевали бога и короля в своих одах, пока они пассивно изливали свою классовую меланхолию в элегиях, — мелкобуржуазные писатели разрабатывали воинственные жанры, скреживая их сверкающие клинки с ржавыми бердыщами дворянской литературы. Мелкобуржуазная литература 20-х гг., литература класса, копившего силы к революционному прыжку, выражала свой протест, пользуясь жанрами наибольшей социальной актуальности. Среди них особенной популярностью пользовались политическая песня и политическая сатира, жанры, запечатленные в 20-х гг. идеологией бонапартизма.

Если политическая песня начала расцветать уже с самых первых лет реставрации, захватывая постепенно все более широкую аудиторию и достигнув к середине 30-х гг. исключительного, чудовищного развития (в 1835—36 гг. в одном Париже и его пригородах насчитывалось

480 песенных обществ, при чем, помимо них, существовало множество отдельных песенников и тучи уличных певцов), то политическая сатира приобретает особенную популярность лишь со времени восшествия на престол Карла X, когда в ее рядах оказываются поэты Огюст-Марсель Бартеlemi (1796—1867) и Жозеф Мери (1797—1866). Оба эти поэта, уроженцы Марселя, происходили из кругов марсельской средней буржуазии. Если их отцы проявляли религиозность и роялизм, то оба поэта, разделявшие в юности монархические воззрения, все же были слишком потрясены зверским зрелищем белого террора в Марселе в 1815 году. Жозеф Мери признается: «Я могу сказать, что вступил в жизнь среди гула этих ужасных сцен; это впечатление остается во мне живым и кровоточащим, как будто я испытал его лишь вчера». Закончив среднее образование, Мери принялся сотрудничать в одном марсельском журнале либерального направления, ожесточенно нападая на правительство, но, получив три месяца тюрьмы, решил расстаться с карьерой марсельского публициста и отправился в Париж.

В Париже Мери возобновил литературную деятельность и вскоре образовал некое литературное содружество со своим земляком Бартеlemi. В виду того, что сведения, относящиеся к этим забытым поэтам, отличаются крайней противоречивостью, нелегко разобраться в их первых литературных шагах. Если Мери уже запечатлел свои оппозиционные настроения работой в марсельском «Фокейце», то Бартеlemi повидимому еще продолжал пребывать в лагере монархистов. Нужно оговориться, что этот писатель имел множество врагов, и в тех сообщениях, которые остались о нем, найдется гораздо больше злой клеветы, чем истины. Но во всяком случае известно, что Бартеlemi в начале своей литературной деятельности, прибыв в Париж, поместил около 1825 года в монархическом «Белом знамени» статью против свободы печати, роялистскую поэму «Рождение герцога Бордосского» и оду «Коронавание», где воспевал коронавание Карла X и ту святую чашу Реймского собора, которая, как известно, была разбита на публичной площади в Реймсе в 1793 г.

и из черепка которой совершалось помазание Карла X. За последнюю оду Бартеlemi, как говорят, получил какую-то пенсию из шкатулки короля. Кроме того, — если только это не сплетня, — Бартеlemi, якобы надеясь на дальнейшие блага, вручил свои роялистские поэмы министру Дама, который в ответ выслал ему со швейцаром один луидор. И тут враги Бартеlemi торжествующе прибавляют, что, потерпев неудачу у министра, карьерист Бартеlemi из чувства мести перешел в лагерь оппозиции и обратился к жанру политической сатиры.

Поддерживать или опровергать версию о «чувстве мести» — дело ненужное. В эту эпоху наблюдаются аналогичные случаи перехода писателей из лагеря монархической литературы в литературу оппозиционную, в частности в лагерь бонапартистов. Так было с Виктором Гюго, так же случилось с Мери и затем Бартеlemi. Феодално-католическая реакция, резко обострившаяся с восшествием на престол Карла X, «короля эмигрантов», главы ультра-роялистов, видела теперь перед собою уже не прежне, устрашенное возвращением Бурбонов французское общество 1815 года, но общество, десять лет накапливавшее в себе оппозиционные настроения и жажду к отпору реакции. Мелкая и средняя буржуазия, пролетариат и крестьянство, организовываемые бонапартистами, орлеанистами и республиканцами, все крепче сжимали свои ряды, и в их лагерь уже начинала переходить крупная промышленная буржуазия, терявшая надежду ужиться с политическим режимом реставрации, с привилегированным положением землевладельческого дворянства. И чем больше лагерь общественной оппозиции ширился и приобретал вес, чем больше крепла бунтующая мелкобуржуазная литература, тучей стрел осыпавшая реставрацию, писатели разных слоев средней и мелкой буржуазии, которых дворянство в пору своего кратковременного социального торжества в начале 20-х гг., в глухую пору реакции, пытались воспитывать в духе католицизма и роялизма, отходили от дворянской монархической литературы в лагерь литературы оппозиционной, мелкобуржуазной.

Жорж Бенуа¹⁾, новейший исследователь творчества Мери, стремится доказать, что инициатива в разработке жанра социально-политической сатиры должна была исходить в большей степени от Мери, чем от Бартеlemi. Доказательства Бенуа в данном случае и в других случаях, когда он упорно старается превратить Бартеlemi из поэта в литературного проходимца, страдают чрезвычайной запальчивостью, а потому мало способны убеждать. Основываясь на показаниях Дюма и Мирекура, Жорж Бенуа указывает, что первая сатира Бартеlemi и Мери «Sidiennes» (1825) написана одним последним. Первая сатира Бартеlemi и Мери отличается прежде всего ярко выраженной антиклерикальной установкой. Тут, помимо общего нападения на режим феодално-католической реакции, проявился отклик на политику Карла X, этого прежнего вольнодумца, вставшего на старости лет в религиозное ханжество. «...Посети наши алтари, где бог мира утешает смертных, — заявляют авторы. — Но что там увидишь ты? Только черных миссионеров, которые завывают на кафедры, выражают на общественные средства гигантские кресты и диктуют префектам свои верховные законы. Покровительствуемые жандармерией, эти коммивояжеры тартюфства дисконтируют угрызения совести какого-нибудь полудикого грешника; чтобы припугнуть живых, они не стесняются тревожить покой мертвых; на кафедре, где сам собой у них вспыхивает порох и гремит гром, они осмеливаются пародировать молнию своего бога; трескуче распинаясь, они смело возвещают по тридцати раз в месяц о пришествии страшного суда. Затем во всех деревушках, опустошаемых их рвением, они заставляют бедного раба любить его рабство и, доверху нагруженные ценностями, помещают из трех процентов у королевского банкира эту милостыню христиан».

Два года спустя выйдет другая антиклерикальная сатира Бартеlemi и Мери

¹⁾ Georges Benoist.—Joseph Méry et ses poèmes satiriques. Sous la Restauration. «Revue d'histoire littéraire de la France» № 1, janvier — mars, 1929.

«Иезуиты». Как и в первом случае, эта сатира явилась откликом на злобу дня, на темную деятельность иезуитов, к которой правительство Карла X относилось с благожелательным нейтралитетом.

В 1826 году выходит новая сатира Бартелеми и Мери «Рим в Париже». Эту сатиру, не лишенную прежних антиклерикальных мотивов, следует рассматривать в большей мере как сатиру против дворян-эмигрантов. Бартелеми и Мери не скрывают своей вражды и ненависти к представителям эмиграции. В одном месте поэмы изображаются эмигранты, которые вытаскивают по случаю торжественного дня из своих дорожных сундуков пышные одежды былой предреволюционной монархии: авторы с насмешкой описывают эти «широкие камзолы с висящими кружевами; шелковые, короткие штаны, враждующие с подтяжками; жилет, отделанный блестками; ренграв с длинными складками; кичливую ленту, с которой свисает цветок лилии». Этим дело не ограничивается: «Наконец, чтобы выставить полностью все свои украшения, они обуваются, по обычаю белых баронов, в сапоги, шпоры которых время сделало бронзовыми, старательно сохраняя на их складчатых голенищах пыль сражений, подобранную в Кобленце».

Эти первые сатиры Бартелеми и Мери уже привлекли общественное внимание, особенно внимание оппозиционно настроенных социальных групп, к творчеству обоих поэтов. Но настоящего успеха, сопровождавшегося шумом и материальным эффектом поэты достигли сатирой «Виллелиада», вышедшей в 1826 году и достигшей к началу 1827 года уже пятнадцати изданий.

Хотя Лансон называет Бартелеми и Мери «последними классиками», он не совсем прав. Ортодоксальными классиками они уже не были. Если сатира этих поэтов, сохраняющая некоторые традиции Великой французской революции и империи, полная античных образов и мифологических метафор, неразлучная с александрийским стихом, с каноническим приемом «посланий», и была действительно классической сатирой, то вместе с тем поэты уже не следовали пунктуально ее канонам, хотя и прекрасно их ощущали. В предисловии к «Риму в Париже» они писали: «Сатирическим поэтам

XIX века должно быть разрешено некоторое нарушение старых правил и форм для того, чтобы создать из них новые; нетрудно следовать буквально литературным предписаниям, когда декламируют в стихах против жалких поэтов, скверных обедов и глупых проповедников; но политический поэт, нападающий на подозрительную власть, в гораздо большей степени опасается прокурорского заключения, чем постановлений Парнасса». Это разрушение канона классической сатиры, обусловленное в конечном счете приходом эпохи промышленного капитализма, определившим новую расстановку социальных сил, новые стиливые образования, в ближайшем отношении зависело от внедрения в сатиру бунтующе-политической тематики, чуждой старой сатире. Если политическая сатира Бартелеми и Мери не может быть сопричтена к жанрам мелкобуржуазного романтизма, а является, несмотря на все свои внутренние перестройки, жанром умирающего классицизма, одним из тех, упорно противившихся смерти жанров, в которых мелкобуржуазный классицизм Великой революции и империи до конца мужественно бился с реакционным дворянским романтизмом, то в последнем отношении этот и другие жанры — следы классицизма — сыграли свою роль для организации мелкобуржуазного романтизма и осознания им своих задач. Не забудем например, что Жерар де-Нерваль начал именно с бонапартистских политических сатир под явным влиянием Делавиня, Бартелеми и Мери.

В «героико-комической поэме» по имени «Виллелиада», обращенной против министерства Виллеля, авторы весело рассказывают, перемежая свое повествование едкими эпиграммами, о воображаемой битве, которая происходит у замка Риволи—министерства финансов, защищаемого Виллелем и атакуемого ультра-роялистами под предводительством деля-Бурдоннэ (нужно помнить, что если Виллель тоже был ультра-роялистом, то он не принадлежал к крайней правой этой партии, возглавлявшейся эмигрантом деля-Бурдоннэ и весьма часто бравшей Виллеля под обстрел справа). «Виллелиада» заканчивается победой ультра-роялистов, взятием замка Риволи и сдачей его защитников, в том числе и

иезуитов, которые, пародируя известную фразу наполеоновской гвардии, жизнерадостно восклицают: «Шапки долой! Конгрегация сдается и не умирает». Таким образом дело завершается победой крайней группы ультра-роялистов. Но в глазах Бартеlemi и Мери, эта победа являлась ни чем иным, как предвестием близкой революции и притом революции бонапартистской. Выразительна в данном случае концовка поэмы: «...И рсточая оскорбления поверженному Виллелю, все превозносили доблесть де-ля-Бурдоннэ. Но уже вскоре ночь открыла взорам этого нового министра зловещую картину будущего. Сверкающие письмена, начертанные на небесах, оледенили умы бледных победителей. И Франция обрела надежду. Бессмертная богиня¹⁾, предоставившая свою шагу мученикам Греции, появилась на остром фронте плебейского сената, потрясая своей фригийской каской. Золотой крест затмился на твоём куполе, Пантеон! Земля задрожала под свящ е н н ы м м р а м о р о м В а н д о м с к о й п л о щ а д и²⁾ и царственная птица заколыхалась, сияя, на своём медном цоколе».

«Виллелиада» породила даже свою литературу, среди которой следует отметить сатиру Эмиля Дебро и Шарля Лапажа «Виллель в аду». Авторы пишут в предисловии: «Французы весьма много интересовались раньше несчастиями греков, римлян и других народов древности, которые в течение свыше тысячи лет имели привилегию занимать собою все театральные подмостки. В чем была причина того сильного интереса, который был им оказываем? Дело объяснялось тем, что народам было запрещено заниматься оценкой поведения своих деспотов или подчиненных последним тиранам, и тот горячий интерес, который они (народы) с большой охотой обратили бы на свои собственные дела, они вынуждены были переносить на воображаемые катастрофы или на исторические бедствия». Авторы указывают дальше, что времена теперь изменились и французы приобре-

¹⁾ Т.-е. богиня свободы, для которой после Великой французской революции не было больше места во Франции и которая отправилась помогать грекам, борющимся в начале 20-х годов за свою независимость.

²⁾ Имеется в виду Вандомская колонна, воздвигнутая Наполеоном.

ли живой интерес к событиям политической современности. «Вот почему, — пишут они, — поэма «Филипп-Август», плод двадцатилетней работы человека, которого вполне можно рассматривать, как одного из первых поэтов нашего времени, прошла, так сказать, незамеченной, в то время как «Виллелиада», которая, несмотря на все свои достоинства, значительно ниже ее, достигла самого блестящего успеха. А почему?.. Потому что поэма г-на Персеваль де-Гранмэзон связана с людьми прошлых веков, а произведение гг. Мери и Бартеlemi имеет дело только с людьми современности»¹⁾.

Бонапартистские позиции, с которых Бартеlemi и Мери нападали на феодально-католическую реакцию и на партию ультра-роялистов, сделались особенно ясными в 1828 году, когда у власти оказался кабинет Мартиньяка, составленный из представителей т. наз. «правого центра», кабинет, которым Карл X должен был сменить под натиском оппозиции ненавистное министерство Виллеля. Бартеlemi и Мери оставляют теперь правительство в покое и обращаются к воспеванию Наполеона. Скудство биографических сведений о Бартеlemi не позволяет выяснить, в какой мере он был предан бонапартизму; что касается Мери, это был горячий поклонник императора.

Участие обоих поэтов в создании наполеоновской легенды еще недостаточно оценено. Но оно весьма значительно. В 1828 году Бартеlemi и Мери издают поэму в восьми песнях «Наполеон в Египте», славословящую грандиозно-дерзкий план египетской кампании. Экземпляры поэмы были почтительнейше поднесены поэтами всем членам семьи Наполеона, а так как в ту пору еще был жив сын Наполеона (избранный в 1815 году палатой французским императором!), находившийся в Австрии почти в плену у своего деда в замке Рейхштадт, Бартеlemi пожелал отвезти поэму и герцогу Рейхштадтскому. Однако Бартеlemi не был допущен к сыну Наполеона. В воспоминаниях графа де-Монбеля, одного из министров Карла X, мы находим объяснение этому. Некто

¹⁾ Villèle aux Enfers, poème heroi-tragi-comico-dialogique en quatre chants par Em. Debraux et Ch. Le Page (Paris), 1827, p. VII—IX.

Реми, французский архитектор, акклиматизировавшийся в Вене, сообщил Монбелю следующее: «Репутация Бартеlemi и его сотрудника Мери опередила у нас его приезд. Возжаждав славы и злоупотребляя своим дарованием для возбуждения страстей толпы, они выпускали под именем политических сатир клеветнические и очерняющие памфлеты против французского правительства и против всех установлений общественного порядка»¹⁾. Вернувшись во Францию, Бартеlemi излил свои чувства в новой бонапартистской сатире «Сын Человека или воспоминания о Вене», весьма оскорбительной для австрийского правительства. Будучи привлечен к суду, Бартеlemi издал вместе с Мери сатиру «Процесс сына Человека» (1829), но, несмотря на произнесенную им на суде защитительную речь в стихах, был приговорен к тысяче франков штрафа. Бартеlemi отказался заплатить штраф и был посажен в тюрьму, что дало ему повод выпустить сатиру «Кошелек или тюрьма». Интересно бы спросить Жоржа Бенуа, почему в тюрьму попал Бартеlemi, а не Мери, если доля творческого участия Мери в работе обоих поэтов всегда преобладала? В тюрьме же Бартеlemi издал, снова один, сатиру «Тысяча восемьсот тридцатый год», попрежнему нападавая в ней на министров Карла X, на сенатских старцев, на парламент. Сатира интересна главным образом предчувствием революции. «Для нас, защитников верховной хартии, и для них, которые посвятили себя стремлению к абсолютистской власти, остается теперь только выбор: быть или не быть».

Выйдя из Сент-Пелажи накануне июльской революции, Бартеlemi принял деятельное участие вместе с Мери в уличных боях «трех славных дней» и воспел революцию в поэме «Восстание», «поэме, посвященной парижанам» и заслужившей в ту пору жаркие одобрения Сент-Бёва. Подобно большинству певцов июльской революции, Бартеlemi и Мери, поставленные перед фактом неожиданного восшествия на престол Луи-Филиппа Орлеанского и еще не остывшие от своего революционного энтузиазма,

приветствовали с разбегу Луи-Филиппа, забыв о своем бонапартизме. Впрочем уже в конце 1830 г. Бартеlemi и Мери выпускают новую сатиру, нападавая на министра Дюпена, одного из создателей июльской монархии. «Дюпенада или одюпененная революция» (игра слов: «révolution durée» значит «одураченная революция»). Тем не менее правительство назначило Бартеlemi за его заслуги перед революцией пенсию в размере 1.500 франков в год. Однако не проходит и трех месяцев после назначения пенсии, как Бартеlemi начинает выпускать свою шумевшую стихотворную политическую сатиру «Немезида», яростно громя в ней правительство июльской монархии, министров и депутатов. «Немезида» вышла в течение целого года по воскресеньям книжечками в восемь страниц, в четвертую долю листа, с 27 марта 1831 г. по 31 марта 1832 г. Пенсия Бартеlemi была отнята тотчас же после выхода первого номера, и поэт поздравлял себя с тем, что освободился от «железных тисков».

Появление «Немезиды» следует рассценивать как свидетельство широкого недовольства июльской монархией. Положение мелкой буржуазии и пролетариата нисколько не улучшилось после июльской революции, с которой они связывали самые радостные и лучезарные свои надежды. После июльской революции, когда власть перешла в руки верхушки финансовоиндустриальной буржуазии, из тридцатимиллионного населения Франции избирательным правом пользовались только около 200.000 чел.: банкиры, крупные землевладельцы, владельцы больших торговых и промышленных предприятий и т. п. Средняя и мелкая буржуазия, пролетариат и крестьянство оставались обездоленными, как и прежде, лишены были избирательных прав, не имели доступа к власти. Победоносное развертывание промышленного капитализма, приводившее к гибели мелкого хозяйства и ремесла, способствовало в свою очередь росту пауперизации и быстрому численному возрастанию голодной армии пролетариата. Эти причины, обнаружившиеся уже в первые годы июльской монархии, только углублялись в дальнейшем, обуславливая резкий рост социальных противоречий.

¹⁾ Souvenirs du comte de Montbel. ministre de Charles X, Paris, 1913, p. 369.

Жорж Бенуа конечно не медлит выступить с утверждением, что «Немезида», хотя она и носит имя одного Бартелеми, написана не им однако, но главным образом Мери. В подтверждение своего мнения он ссылается на слова некоего марсельца Берто, интимного друга Мери, указавшего в своих мемуарах, что, «вопреки распространенному мнению, большая часть «Немезиды» принадлежит Мери»¹⁾. Известно ли однако неукротимому Жоржу Бенуа сообщение Луи Юара, указывающего в свой заметке о Мери, что когда Бартелеми в процессе работы над очередным выпуском «Немезиды» заболел, Мери приехал из Марселя помочь ему? Юар заявляет: «Впрочем в этом дружеском сотрудничестве Мери разрабатывал только литературные темы и отстранялся сколько возможно от всякой политической ненависти»²⁾.

Слова Юара кажутся более справедливыми, чем суждение Бенуа. В творчестве Мери 30-х гг. нет ни жанра политической сатиры, ни вообще настроений социального недовольства. Буржуазная действительность июльской монархии удовлетворяла этого бонапартиста. Этим и объясняется та форма его участия, — литературные темы, — которое он смог принять в «Немезиде»³⁾. Наметившееся различие политических взглядов обоих поэтов, видимо, и было причиной их разрыва, произошедшего в период последних выпусков «Немезиды». Но кажется удивительным молчание Мери, если он — по Бенуа — мог сознавать

себя обокраденным своим бывшим другом, выпустившим «Немезиду» под одною своей фирмой.

«Немезиде» предшествует стихотворное предисловие, в котором автор излагает свое credo политического сатирика и намечает цели для будущего ураганного огня. Это предисловие вполне вводит читателя в курс «Немезиды», так как все пожелания оказались полностью реализованными в 52 выпусках этого воскресного памфлета.

Поэт считает долгом прежде всего представиться публике. Он заявляет, что не любит псевдонимов. Он действует напрямик, с открытым забралом: «Когда сатира бьет виновного, она должна вытащить его на свет божий и ткнуть в него пальцем. Выставить его непреклонною рукой в железном ошейнике на площади, это — меньше к чему она его присуждает. И она крупными буквами начертает его имя, чтобы заклеить голову, привязанную к позорному столбу. Ну, что же! Я могу предложить себя для этой жестокой службы. В ремесле палача я уже не новичок: в течение целых семи лет мне, суровому хирургу, нередко случалось воздвигать этот позорный пьедестал. Я брал своих преступников из всех министерств: божества, которым тогда служили на коленях, — Виллель, Пейронне, Корбер, Фрейсину, Франше и Делаво, его компаньон по колодкам, Бурмон, судьи, пэры, депутаты, прелаты, римские принцы, — все они, толпою или по очереди, проходили через мои¹⁾ руки».

Поэт признается, что когда эти объекты его бывлой сатиры пали, он, доверчиво настроенный к «золотому веку нового царства», далеко отбросил бичующий хлыст Архилоха. Тем не менее оказывается, что его розовый оптимизм ни на чем не основан. «Но хотя еще и года не исполнилось нашей новой эре, для сатиры открывается уже обширное поле прище. Поспешим же: слишком долго моя ненависть оставалась праздною! Пусть мои разедающие чернила прольются теперь в грудь власти, которая выгадывает на моем онемении».

Поэту Бартелеми обращается к журналистам-ветеранам и просит, чтобы

¹⁾ «Мои» — это только сокращение. Я далек от того, чтобы присваивать себе часть моего друга г-на Мери. (Примечание Бартелеми.)

¹⁾ С. Benoist — указ. статья, стр. 81.

²⁾ Заметка Луи Юара в книге Ch. Philippon — Galerie de la presse, de la littérature et des beaux-arts, P. 1839—41, t. I. Полезно иметь в виду, что в этой книге нет имени Бартелеми (после темных слухов о том, что Бартелеми куплен полицией, он разом утратил всякую популярность, и писать о нем перестали), и ничто не мешало бы Юару приписать подобно Бенуа все произведения Бартелеми перу Мери.

³⁾ Утверждение Норманди и Пуансо «Мы пишем Бартелеми, а не Бартелеми и Мери, потому что только одному Бартелеми обязаны мы «Немезидой» и «Новой Немезидой» (С. Normandy et M.—G. Poinsot, указ. соч. р. VII — является ошибочным в отношении «Немезиды» и верным только относительно «Новой Немезиды».

они снова приняли его в свою среду. «Подобно им я буду защищать, гордясь их славной поддержкой, наше народное древо, расцветшее под тремя солнцами¹⁾; все увидят, что я подобно им от Кадикса до Брюсселя сею искры на дремлющий порох и каждый день острием угрызений совести пронзаю эгоизм, покрытый кровью умерщвленных²⁾ народов! С этим же пылом буду я преследовать тех людей, которые напускают на власть порчу: министров без дипломов, коварных Синонов³⁾, имен которых еще не знает простодушный народ, фабрикантов лжи... — все они мне известны! В моем железном решете всем им найдется место. Кто бы они ни были — депутаты, пэры, министры, чиновники во фраках или горностае, — все они, извивающиеся, будут процежены через мое сито!»

Свое предисловие Бартеlemi кончает гордым возгласом: «Нужно ли мне дать какой-либо залог моих будущих сражений? Я сошлюсь на мой старый язык, на мою семилетнюю войну с ненавистным игом и на двенадцать тысяч стихов, распаленных жаждою свободы!» Он обещает далее, что ничто теперь не сможет его отклонить с дороги мщенья, что он не будет знать зависимости ни от кого, не будет ничьим вассалом. «Никакая забота, никакое сожаление не отклонят в другую сторону мою линию общественного долга. Раскрепощенный пролетарий пограничной страны, поставленный законом ниже бакалейщика, я, не бледнея, открываю свое лицо!»

Таково предисловие к «Немезиде». В течение целого года свистящий бич этой змеиной богини полосовал правительство июльской монархии, министров, пэров, сенаторов, депутатов, сановников, провинциальные власти и т. д. Избегал этой казни один Луи Филипп, которого Бартеlemi просил лишь о том, чтобы он прогнал своих лживых министров, ссоря-

щих его с народом. Все положения и пожелания, высказанные Бартеlemi в предисловии, развиты и развернуты им на протяжении одиннадцати тысяч стихов его воскресной сатиры.

В первой из сатир Бартеlemi, озаглавленной «Министерство» (10 апреля 1831 года), Бартеlemi нападет на кабинет министров, возглавляемый Каземиром Перье, и на голову последнего сыплются всевозможные обвинения. Не обходит невниманием Бартеlemi и других представителей министерства, добросовестно перечисляя их всех с приложением обидных эпитетов. Среди них находился министр Аргу, которого Бартеlemi отрекомендовал в следующих выражениях: «д'Аргу сжег трехцветное знамя»¹⁾. В следующей сатире от 17 апреля 1831 года — «Моя официальная немилость» — поэт объявлял, что правительство июльской монархии, которое «бросило мне как тайный дар несколько крошек, огрызков блестящего пиршества», теперь еще вздумало на него гневаться. Поэт отводит себе душу: «Я до сих пор сложил всего только один стих об д'Аргу, но он нашел, что этот стих дурного вкуса. В воскресенье, в тот же самый час, когда я его пожаловал правдивой выдержкой из его биографии, внезапно канцелярская молния хотела сразить мой журнал по первому номеру». Правительство отняло у Бартеlemi его пенсию.

Был ли Бартеlemi обижен, сводил ли он в своей сатире личные счеты, это не представляет первостепенного интереса. Его сатира — объективный общественный факт. И тут чрезвычайно важно выяснить, какая общественная идеология закрепилась в ней через голову субъективно недовольного Бартеlemi. Обстановка 1831 года была весьма сложна. Знакомясь с историей того времени, не раз видишь, что лозунг например республики выбрасывали не только респуб-

¹⁾ Имеется в виду трехцветное знамя.

²⁾ Намек на нежелание правительства июльской монархии поддерживать революционные движения в Бельгии, Италии и Польше, явившиеся откликом июльской революции.

³⁾ Синон — тот вероломный греческий воин, который при осаде Трои греками убедил троянцев впустить в город деревянную статую лошади, внутри которой спрятались греческие воины.

ликанцы, но и легитимисты, полагавшие, что все средства хороши ради возвращения престола Карлу X. Оппозиция против правительства июльской монархии опиралась в начале 30-х годов на разнообразные слои мелкой буржуазии и пролетариата и была чрезвычайно многолика. Какая же оппозиционная группа высказала свой социально политический протест александрийскими стихами «Немезиды»?

Конечно «Немезида» написана не от имени дворянской оппозиции. Весьма большое количество ее сатир обращено как раз против легитимистов, которых тогда называли «карлистами», против палаты пэров, против заговора герцогини Беррийской, наконец против Карла X и т. д. С особой ненавистью Бартеlemi нападает на пэров (сатира «Что такое пэр?»). Палата пэров была очень популярна еще в 20-х гг., так как ее населяли обломки старой аристократии XVIII века, которых правительство Карла X стремилось путем «конверсии» восстановить в прежней их силе и значении. С другой стороны, правительство самой июльской монархии приняло некоторые меры, благоприятствовавшие сохранению этой палаты: должность канцлера Франции не была уничтожена, а герцогам Шартрскому и Немурскому предложено было занять места пэров. Общество, особенно его оппозиционные круги были чрезвычайно раздражены этими мероприятиями молодого буржуазного правительства; раздражением проникнута и сатира Бартеlemi. Пэры для него, это — внутренние эмигранты, это люди, которые были целиком жертвенно преданы старой монархии, но которые способны только издеваться над свободною Францией и дерзко бросать тяжесть своего меча на весы наших законов».

Таким образом отношение «Немезиды» к дворянству остается столь же отрицательным, как и отношение прежних сатир Бартеlemi и Мери к «героям Кобленца и Гента». Но если Бартеlemi говорит не от имени дворянства, он равным образом говорит не от имени пролетариата. Чрезвычайно интересно в связи с этим остановиться на двух его стихотворениях — «Лион» и «Всеобщее восстание».

Вот что пишет Бартеlemi в стихотворении «Лион», имеющем дату 5 декабря 1831 года:

Вулкан излил предсказанную лаву.
Война рабов,—смотрите, вот она!
Из мастерских голодною оравой
Спартакос новых хлынула волна.
Монт-Авантен они берут под лагерь,
Они, лишённые последнего куска.
Им не нужны стандарты или флаги,
Их знамя—хлеб на острие штыка!¹)

Так торжественно начинает Бартеlemi свою сатиру, описывая восстание лионских ткачей 21 ноября 1831 года. Бесспорно то сочувствие, то страдание, которое вызывают у него эти голодающие повстанцы, на черном знамени которых было выткано: «Жить, работая, или умереть, сражаясь!» Перепуганное июльское правительство, отчаявшись в изыскании мирных средств разрешения конфликта, двинуло к Лиону войска. Войска на голодных! Это возмущает Бартеlemi и он растроганно именует повстанцев «любимыми», «братьями».

Когда войска придут на эти горы
И против братьев выстроят реду,
Чтоб разгромить огнем голодный город,—
В жерло мортир пускай они кладут
Взамен снарядов хлебные ковриги.
Когда на город градом упадут
Гранаты хлеба,—разом смолкнут крики.
Народ задует факелы бунтов
И, без труда забыв о царстве нищих,
Он будет все права отдать готов,
Оставив для себя права на пищу.

Затем Бартеlemi естественно переходит к нападению на министров, которые спали и не ездили, к чему приводит их политика. «...Какое пробуждение! Они спали на скале Сизифа! Внезапно телеграф, этот ужасный логогриф, этот автомат онемевшего ноябрьского воздуха, начинает простирать свои изуродованные руки к грозному югу. Но теперь это уже не женский бунт, нет, теперь весь Лион охвачен пламенем, теперь изморенный голодом народ, выйдя из своих жилищ, нападает на промышленность с ее скучными расчетами во имя хартии, обещанной его тяжелому труду. Это лавина шестидесяти тысяч человек, это беспредельное отчаяние, возбужденное голодом, всеобщее самоубийство, в которое впадает целый город!» Что же делают власти, что

¹) Переводы из «Немезиды» сделаны Вас. Лебедевым-Кумачем.

пытаются они предпринять? Они сумели только двинуть на Лион войска. Между тем войскам следовало бы дать иное, лучшее назначение. «Не лучше ли было бы призвать к нашим границам все наши деревни, села и целые города, возобновить вновь Арколь, Модену и Лоди, чем затоплять юг братоубийственной кровью?»

Но власти конечно не поняли, что лучше было бы обратить оружие Франции против европейской реакции для помощи восставшим после июльской революции народам, как того требовала республиканская партия, чем устраивать гражданскую войну. «Они не поняли этого, наши бессмысленные ученые, кретины прилавков, скоты ажиотажа, граждане биржи, рабы ренты! И гражданская война теперь стала явной!.. И наши солдаты, отозванные с берегов Рейна и Самбры, празднуют 2-е декабря в окровавленном Лионе».

Когда бы вы историю читали,
Нашли бы вы спасительный урок:
Едва увидит темный пролетарий,
Что высший класс совсем не так высок.
Что хлеб — голодных глоток достоянье,
Тогда — беда! Нас ждет жестокий рок.
И пусть войска огнем сотрут восстанье,
Его конец — грядущих бед залог.
Пушкой Спартака мощного не стало,
Его паденье привело к Фарсалу
И приведет к Фарсалу наших дней,
Где римляне, упавшие с коней,
Промолвят: наша слава миновала!

Таково это стихотворение, где мы видим, с одной стороны, отрицательное отношение Бартеlemi к июльской буржуазии, невольную симпатию к умирающим от голода лионским ткачам, и наконец совершенно очевидный страх перед этими — в дословном переводе — «темными людьми, которых называют пролетариями», страх перед возможностью для них выйти из русла своего социального положения и превратиться в угрозу для высших классов. Отрицательно отзываясь о последних, Бартеlemi объективно стоит на их защите. Примерно то же самое видим мы и в другой сатире Бартеlemi, написанной с большой силой, с большим социальным пафосом, — «Всеобщее восстание».

«Быть может, наступит время, — начинает поэт, — когда уравновешенный ум перераспределит дележ великого наслед-

ства; законы возвестят после столь долгого опоздания, что мать-земля не имеет незаконных детей, и первая хартия, дарованная миру, пройдет своим угломером по всем неравным местам». Начав с этого не очень ясного предварения о грядущем социализме, Бартеlemi однако отнюдь не собирается воспевать ему какие-либо дифирамбы. Наоборот, он тотчас же обращается к буржуазии с предложением поразмыслить над этим вопросом, отдалить возможность наступления эры всеобщего уравнивания: «Раздумайте над этим, богачи! Наступил час, когда нужно отдать телогрейку нагой нищете и черный хлеб — голоду. Только этою ценой сохраните вы свой плащ и право есть чистую пшеничную муку».

Сам поэт отнюдь не жаждет власти пролетариата. Но все же он не может быть одним из тех, кого он бичует как эгоистов: он не может закрыть глаза на голод и нищету. Ему кажется, что нужно бы только немного смягчить то и другое, и жизнь станет нормальной. Ради спасения буржуазного общества зовет он буржуазию отдать черный хлеб бедняку, оставя себе белые булки. Но он знает про эгоизм богачей и стремится их несколько припугнуть:

Спешите! Горизонт суров и мрачен,
Пушкой успех не кружит головы.
Сейчас Лион весь ужасом охвачен,
И голод смертью наказали вы.
На севере, на западе повсюду
В отчаянье смиряется нужда.
У ваших войск еще победы будут,
Но ваш успех непрочен, господа!
Послушайте пророка предсказания,
Мой взор открыт, слова мои не бред:
Вам не сломить всеобщего восстанья
Ценой кровавых временных побед.
И там, и тут растет голодных строй.
Что им до партий, до имен, до кличек?
Король, республика, Наполеон второй,
Шотландский мальчик¹⁾ — это безразлично.
Не в этом суть. Здесь истина проста:
Голодных в бой ведет повсюду голод,
Свои предместья Рыжего Креста,
Очаг борьбы — имеет каждый город.
Голодных — тысячи, весь человеческий род.
Он к сытым тянет руки, он встает!

Припугнув буржуазное общество картиной грядущего восстания угнетенных масс, Бартеlemi пользуется этим для нового нападения на правительство Луи

¹⁾ Имеется в виду граф де-Шамбор, внук Карла X, «законный» наследник французского престола.

Филиппа. Он обрушивается на «доктринеров», т.-е. на ту партию умеренных конституционных роялистов, — преимущественно представителей крупной буржуазии, — которая играла свою роль в эпоху реставрации, давая некоторый отпор безудержным стремлениям ультра-роялистов, а затем после июльской реставрации слилась с орлеанистами и сделалась руководительницей французской политики. С другой стороны, Бартеlemi нападает на «золотую середину» (*juste-milieu*), на тот консервативный лозунг, который с самого начала поставило себе правительство буржуазной монархии...

Бартеlemi заканчивает свою сатиру следующими словами: «Да, золотая середина, этот доктринерский Тифон, является первоначальной причиной настоящих бедствий; в последний из наших лучших дней я смело буду осуждать только ее. Но еще более черное преступление заставляет свистеть моих змей: общественная нищета, это — дочь ее страданий. Нищета! Вот ужасный агент, который превращает в мятежников всех нуждающихся людей! Вот в чем объяснение великой тайны наших несчастий! Шансы империи или республики, мечты настоящего времени не представляют опасности; вся загадка только в трех словах: народ хочет есть».

Таким образом высказывания Бартеlemi о пролетариате позволяют видеть, что если он и испытывает сострадание к труженикам, обреченным умирать с голода, то он хотел бы, чтобы их положение было улучшено сверху, и относится с явным страхом к вопросу о попытках рабочего класса улучшить свое положение революционным путем.

Но как бы ни нападал Бартеlemi на крупнобуржуазное правительство июльской монархии, на «скотов ажиотажа, граждан биржи и рабов ренты», он проводил тут некоторые небезытересные демаркационные линии. Оказывается например, что в лице министра Казимира Перье поэт ненавидел все-таки не представителя крупной буржуазии, а только представителя данной политической партии. Все правительственные мероприятия, проводимые Казимиром Перье, подвергаются в «Немезиде» неизменному и свирепому обстрелу. Вместе с тем Бар-

теlemi указывает, что он глубоко уважал Казимира Перье как банкира до его прихода к власти и столь же глубоко будет его уважать, когда Казимир Перье снова сделается частным лицом и вернется в свою банкирскую контору. Таким образом, ограничиваясь только политическим, а не социальным нападением на крупную буржуазию и, с другой стороны, сочувствуя голодающему пролетариату, но опасаясь его революционного выступления, Бартеlemi оказывается типичнейшим половинчатым мелкобуржуазным писателем. Что касается той группы мелкобуржуазной интеллигенции, к которой принадлежал Бартеlemi, ее определить довольно легко. Это все еще бонапартистская группа, что явствует из того восторженного преклонения перед Наполеоном и горького оплакивания «нашего императора-мученика», какое мы видим в сатире «Статуя Наполеона». Но вместе с тем эта социальная группа уже переходит на республиканские позиции. Если прямых утверждений республиканского идеала в «Немезиде» не встречается, то целый ряд черт республиканской идеологии здесь уже налицо. Только республиканцы требовали в ту пору от правительства агрессивной национальной политики, агитируя общество за оказание помощи тем революционным движениям, отзвукам июльской революции, которые имели место в Бельгии, Польше и Италии. Только республиканская группа могла бичевать компромиссную национальную политику Перье, упрекая его в трусости, в том, что он готов просить прощения у реакции, готов какой угодно ценой купить мир или передышку, «когда три сестры Севера — Пруссия, Австрия и Россия — идут на французский народ, растянув во мраке свои необозримые цепи». Вместе с тем только республиканцы позволяли себе нападать на папу и на всех монархов Европы, аттестуя их как тиранов и реакционных душителей национальной свободы.

Такова была «Немезида». В своих «Литературных воспоминаниях» Максим Дю Кан говорит о ней следующее: «Этот рифмованный памфлет имел в ту пору необычайный успех; оппозиция, столь любезная французскому сердцу, чрезвычайно много тому содействовала, но резкость инвектив и ловкая фактура

стиха заслуживают быть оцененными и будут оценены. «Немезида» давно уже перестала выходить, потому что ее автору предложили тот золотой ключ, который открывает тайные двери и запирает дурную совесть». Реакционер Дю Кан смакует тот слух, который прошел в обществе после того, как Бартеlemi на пятьдесят второй неделе издания «Немезиды» неожиданно об'явил об ее окончании и смолк. Говорили, что его молчание куплено полицией, правительством, называли сумму. Политический поэт Бартеlemi имел конечно множество врагов, которые не отказывали себе в естественном удовольствии пропагандировать этот слух.

В номере «Les nouvelles littéraires» от 27 декабря 1930 года мы нашли заметку о Бартеlemi и Мери. Ее автор, Леон Веран, стоит на позициях Жоржа Бенуа, столь же бездоказательно приписывая одному Мери творчество обоих поэтов. Но любопытно сообщение Верана относительно конца «Немезиды»: «Бартеlemi не мог представить поручительства в 100.000 франков, которое требовалось, поскольку он обсуждал политические вопросы без внесения залога (эти залогов и стогиачные поручительства были придуманы правительством июльской монархии в целях удушения оппозиционной политической прессы.— Ю. Д.), и он должен был снова вернуться в тюрьму. После своего освобождения, будучи, как никогда, абсолютно без всяких средств, он позволил Тьеру, служившему посредником, подкупить себя; правительство «предложило ему в виде гонорара за перевод «Энеиды» 80.000 франков». Так ли было в действительности, сказать еще нельзя. Но если так, то существенно отметить, что «Немезида» смолкла именно под натиском «административных мер» и что правительство наградило Бартеlemi, пока он еще был редактором, только тюремною отсидкой. Бартеlemi продался не как редактор «Немезиды», а гораздо позднее; это не смывает с него пятна, но вносит существенный нюанс и уточняет вопрос о приемах буржуазных клеветников, поносивших Бартеlemi именно как продавшегося революционера.

Бесстрашный сатирик, целый год свирепо и неутомимо травивший правитель-

ство, Бартеlemi сам вдруг сделался объектом травли. Ему нельзя было молчать. Он ответил стихотворением «Мое оправдание», где если и не подтвердил слуха о том, что продался, то обнаружил подозрительную склонность к философическим размышлениям на тему о бренности всего земного, в том числе и политических убеждений. Вот что писал он: «В этом вихре, который пожирает поколения, расшатывая наши добродетели, нравы и обычаи, в этом необ'ятном решете, где вертятся, подскакивая, наши хартии, права, законы, свободы, существо со слабым мозгом и чахлой грудью, надменный атом пытается создать некую доктрину и, указывая на нее пальцем как на вечный компас, из'являет желание, чтобы менялся мир, но только не меняться самому! Однако не правда ли, ошибки свойственны всякой мысли; никто из нас не имеет цели и намеченного пути; мы подобны слепцам, сидящим на краю дороги. То, что сегодня является преступлением, завтра становится добродетелью. Как жалею я того, кто, гордясь своей системой, говорит мне: «Вот уже тридцать лет, как моя доктрина остается тою же самой, я тот же, что и прежде, я продолжаю любить то, что любил». Нелеп тот, кто не меняется никогда, заслуживает же осуждения только тот, кто меняется каждый час и изменяет, меняясь, своему внутреннему голосу».

Даже если подойти к этому стихотворению не с точки зрения его общественного резонанса, а со стороны субъективно-авторской, даже если испытывать известную симпатию к Бартеlemi, заслуги которого в истории развития революционной французской поэзии 30-х гг. немаловажны, — даже и тут трудно его оправдать. Решительно нет никакой возможности оправдать новую метаморфозу Бартеlemi. Социально-политическая обстановка 1832 года была отнюдь не такова, чтобы представители бонапартистских и республиканских слоев мелкобуржуазной интеллигенции замолкали, предоставляя правительству полную свободу действий. Обстановка первой половины 30-х гг. была чрезвычайно напряженной: всевозможные заговоры, покушения, организации тайных обществ, шумные процессы, провинциальные восстания следовали друг за другом

бесконечной вереницей, позволяя правительству июльской монархии неизменно раскрывать свою реакционную сущность и активно возбуждая недовольство мелкой буржуазии и пролетариата. Поступок Бартеlemi необъясним тем более, что этот поэт очень четко осознавал себя как социальную личность и ряду случаев из своей жизни придавал значение социальных фактов, как это проявилось во всех обстоятельствах его судебного процесса из-за «Сына Человека». Что же касается общественного значения поступка Бартеlemi, это было бесспорное политическое ренегатство, ослаблявшее республиканскую партию и конечно компрометировавшее ее. Бартеlemi, прославленный политический поэт, разом погиб в общественном мнении. «Мое оправдание» вызвало целую литературу. Это были печатные письма, ответы на стихотворение, клеймящие брошюры, памфлеты, иронические оды. Урожай на литературу о Бартеlemi в 1832 году превзошел все бывшее до того и будущее.

Небесполезно привести один отзыв по поводу «Немезиды», отзыв, исходящий из кругов легитимистской критики тех лет, реакционно ненавидевшей Бартеlemi, хотя он нападал на июльскую монархию, к которой легитимисты симпатий не испытывали. Вот что говорит представитель этой критики, Альфред Неттман:

В политической сатире вслед за Огюстом Барбье, но значительно ниже его следует поместить одного из этих поэтов-близнецов, которые, явившись из Марселя, преследовали своими эпиграммами — большие крикливыми, чем уязвляющими, — реставрацию в ее последние годы. В то время как г. Мери рассензал понемногу и во все стороны свое легковесное дарование и, побывав по очереди романистом, поэтом, новеллистом, драматургом, оставлял на всех кустах литературы обрывки своего богатого воображения, его обрат по поэзии, г. Бартеlemi, принимая за республиканские убеждения обуревавшую его жажду славы, выступил в качестве еженедельного Ювенала новой власти. Вопреки г-ну Барбье, полагавшему, что он исчерпал все пороки своего времени в четырех сатирах, г. Бартеlemi учредил сатиру периодическую, заранее обязуясь таким образом перед своими читателями карать грехи, которых правительство не сможет не иметь уже ради одного того, чтобы снабжать поэта сюжетами. Он дал имя «Немезиды» этому журналу стихотворных инвектив, написанных с замечательной версификаторской легкостью, и был благосклонно принят оппозицией, всегда расположенной аплодировать ударам, наносимым правительству, которое она

желает свергнуть... «Немезида» г-на Бартеlemi являлась в сущности всего только провансальской ведьмой, у которой было гораздо больше блеска воображения и брани на устах, чем гнева в глубине души, и которая умела декламировать громкие стихи о достаточно тихих вещах и потрясала своими светильниками и заставляла шипеть своих змей скорее затем, чтобы ослепить и удивить публику, чем затем, чтобы круто расправляться с правительством, ненавидимым ею чисто метафорически. Спустя непродолжительное время и нашумев весьма немного, эта сатирическая спекуляция завершилась плохим концом. В один прекрасный день стало известно, что неумолимая «Немезида», прирученная некими средствами, которых никто не знал, но которые всеми были угадываемы, закрыла свою лавочку негодующих полустигий. Утратив ремесло ведьмы, эта муза без всяких затруднений соскользнула под откос, и литературе нет больше надобности интересоваться песнями, с которыми она туда свалилась¹⁾.

Но если в лагере реакции «Немезиду» ненавидели и поносили, то в кругах республиканской мелкобуржуазной оппозиции традиция Бартеlemi, т. е. традиция периодической воскресной стихотворной сатиры, привилась и вошла в обиход. «Немезида» имела не только бурный общественный резонанс, — она вызвала целый ряд подражаний, не всегда равных ей в художественном отношении, но полных того же громящего пафоса, который по мере укрепления буржуазной монархии в первой половине 30-х годов, по мере роста новых социальных противоречий лишь приобретал все большую страстность и силу. Первым из подражателей «Немезиды» оказывается популярный в 30-х гг. политический поэт Ноэль Парфэ, издавший в Париже в 1832—33 гг. целый ряд своих «Филиппик»; правда, Ноэль Парфэ выпускал периодически брошюры-сатиры, а не воскресный листок. Каноническая форма «Немезиды» имела однако свои большие достоинства, и в 1833 г. целый ряд республиканских мелкобуржуазных поэтов и представителей республиканской интеллигенции рабоче-крестьянского происхождения возвращается к изданию воскресных периодических выпусков стихотворной политической сатиры. Так действует известный песенник Шарль Лепаж, издававший воскресный листок политических куплетов «Лирическая

¹⁾ Alfred Nettement—Histoire de la littérature française sous le gouvernement de Juillet, Paris, 1854, t. II, p. 137—8.

Немезида». Отзвуки свои «Немезида» имеет и в провинции. В 1833 г. в г. Провене поэт-наборщик Эжезипп Моро издает воскресную сатиру «Диоген», быстро кончившую свое существование под репрессиями «властей». В 1832 г. поэт Берто, сын столяра, издает в Лионе воскресную сатиру «Асмодей», а в 1833 тот же Берто вместе с другим поэтом, савойским эмигрантом Вейра, выпускает в Лионе же воскресную сатиру «Красный человек», выдержавшую 22 выпуска. Якобинский «Красный человек» является безусловно самым ярким отзвуком бурной «Немезиды» и лучшим образцом политической сатиры романтизма; сатира же Бартеlemi при всех ее новаторских дерзаниях оказывалась все-таки лишь эпигонским выражением старой классической сатиры.

Если в лагере реакции Бартеlemi ненавидели, если там неистово и удовлетворенно вопили об его продажности, то и эти политические поэты, усвоившие традицию «Немезиды», культивировавшие жанр политической сатиры, отказались от поэта-рenegата. Но, осуждая Бартеlemi, они видели в нем жертву той же ненавистной июльской монархии, жертву складывавшейся буржуазной реакции, и их презрению свойственен был оттенок жалости. В одной из своих сатир Берто писал впоследствии: «О, судьба поэтов печальна! Печальна с того дня, когда... Бартеlemi протянул свои беспокорные губы к железу, которое их сковало, которое заставило их онеметь, в то время как они еще были полны его могучего голоса... Никогда еще до сих пор святая поэзия не говорила: «Удалите от моих уст чашу с амброзией; мой голод можно насытить только золотом!»... И с этого дня, когда на ристалище политики (т.-е. политической поэзии.—Ю. Д.) другой боец бросает свой вызов, толпа отвечает этому солдату поэзии: «Ложь! ложь! золото удушает теперь критику!» Так отца продолжают карать в его детях».

Последующая деятельность Бартеlemi и Мери уже не представляет интереса для истории социально-политической сатиры. Сборник поэм «Двенадцать дней революции» (1832), в котором Бартеlemi воспевал исторические дни Великой французской революции, день взятия Басти-

лии, день казни Людовика XVI, день клятвы депутатов и т. д., не имел успеха в обществе, отвернувшимся от поэта-рenegата. Не имел успеха и его перевод «Энеиды» (1835—38), считающийся все же одним из лучших французских переводов. В 1844 г. мирные отношения поэта с правительством июльской монархии по неизвестным причинам прервались снова, и Бартеlemi точас же объявил о выходе «Новой Немезиды». Встреченная протестами, «Новая Немезида» имела двадцать четыре выпуска, хотя нельзя не признать, что некоторые ее сатиры, как например стихотворение «Труженики», проникнуты глубокой симпатией к рабочему классу, что не мешало Бартеlemi оставаться на прежних позициях защиты и охраны буржуазного строя. В эпоху февральской революции Бартеlemi сделал попытку выйти на политическое поприще и безуспешно обращался к избирателям Ламанша с «избирательной сатирой». После декабрьского переворота Бартеlemi спешит воспеть рождающуюся монархию: «2 декабря» (1852), «Глас народный (1852)», «Императрица» (1853) и т. д., он пишет теперь оды и кантаты на все «случаи» в роде севастопольской войны и т. д.

Дальнейшая дорога Мери после разрыва с Бартеlemi сложилась совсем иначе. Он сделался автором авантюрных романов, имевших некоторый успех, который достигнул своей кульминационной точки в начале 40-х годов, когда Мери поместил несколько романов-фельетонов на тему об экзотике Индии в газете «Пресс» в виде конкуренции «Парижским тайнам» Эженя Сю, печатавшимся в «Журналь де деба». Помимо того, Мери плодил путевые очерки, пьесы, журнальные статьи и особенно известен был как острословец буржуазных салонов. В отличие от Бартеlemi к жанру социально-политической сатиры он не вернулся никогда.

После «Немезиды» Мери отдался прежним бонапартистским симпатиям, проводя время в приемных у членов наполеоновской семьи и воскуривая в печати грубо-льстивый фимиам в честь того принца Луи-Наполеона, который впоследствии сделался Наполеоном III. С воцарением последнего, карьера Мери была упрочена.

Из прошлого

НЕИЗДАННЫЙ РАССКАЗ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

„ПРИЯТНОЕ СЕМЕЙСТВО“

К вопросу о «Благонамеренных речах»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Место действия нашего рассказа конечно город Пенза. Пенза — один из типичнейших черноземных дворянских городов. Сам Салтыков провел в ней около двух лет в качестве председателя казенной палаты (1864—66). Уже вскоре после своего приезда он стал задумываться над художественно-сатирическим изображением пензенской жизни под весьма характерным заглавием: «Очерки города Брюхова». Вот как он сам писал об этом П. В. Анненкову 2 марта 1865 года:

«О Пензе могу сказать одно — не похваляю. Это до того пошлый, отвратительный городишко, что мне делается тошно от одной мысли, что придется пробыть в нем долго. Губернатор здешний вот каков (следует характеристика губернатора Александровского с фактами уголовного порядка из его прошлого, не имеющими отношения к пензенской службе.—Н.Ш.). Остальное на него похоже, если не хуже. У меня начинают складываться Очерки города Брюхова, но не думаю, чтобы вышло удачно. Надобно, чтобы и в самой пошлости было что-нибудь человеческое, а тут, кроме навоза, ничего нет. И как плотно этот навоз скупился — просто любо. Ничем не разобьешь»¹⁾.

Заметим, что среди многочисленных в щедринской сатире символических городов есть между прочим и город «Навозный». Но характерно, что для Пензы он подбирает название именно Брюхова. Очевидно, что отличительной чертой дворянско-чиновничьего круга в этом городе была «та особенная религия, которую можно назвать религией еды». Кстати сказать, город С***, откуда на почтовых привозят двухпудового осетра, это конечно Сызрань: и по расстоянию (на почтовых особенно далеко рыбу не увезешь), и по размерам осетра. Время действия определяется в связи с указанным. Вначале может показаться, что перед нами картина дворянского приволья еще в крепостные времена. Но это потому, что у нас часто представляют себе жизнь пореформенного дворянства в чертах известно-

го рода «оскудения». На самом же деле дворянство, как известно, совсем не так легко и быстро сдавало свои социально-экономические и политические позиции. А в связи с этим отнюдь не лишалось и благ жизни.

Есть и еще одно обстоятельство, помогающее датировке. В самом начале очерка указывается повод для приезда чиновника-рассказчика в Пензу: «дознать под рукой, где скрывается источник пагубных, потрясших Западную Европу идей, распространение которых с особенной силой действовало между воспитанниками местной гимназии». Правда, немедленно вслед затем мы находим оговорку о том, что «узнавать было нечего, потому что П-ская гимназия по ошибке писца была названа вместо К-ской». Но на самом деле это могло быть не совсем так.

Именно пензенские средние учебные заведения, гимназия и дворянский институт, в конце пятидесятых—начале шестидесятых годов дали целый кадр будущих членов ишутинско-караказовского кружка. В институте учились: П. Д. Ермолов, Н. Я. Кутыев, Н. П. Петерсон, Н. П. Странден, В. А. Федосеев. В гимназии учились: М. Н. Загибалов, Д. И. Иванов, Н. А. Ишутин, Д. В. Караказов, Н. И. Фалин, П. А. Федосеев, Н. И. Хлебников, Д. А. Юрасов. Из них Ермолаев, Загибалов¹⁾, Ишутин, Караказов, Странден, Павел Федосеев, Юрасов составили основное ядро кружка.

Правда, мы не знаем, существовали ли у всех названных выше лиц какие-либо объединения еще в их пензенские институтско-гимназические годы. Вероятнее думать, что кружок возник позднее, в их московские студенческие годы, на земляческой почве.

Но вероятно студенты на каникулах у себя на родине вели некоторую пропаганду среди местной учащейся молодежи в первой половине шестидесятых годов. А всколыхнувший всю Россию выстрел Караказова в апреле 1866 г. и последовавший за ним процесс несомненно взволновали между прочим — и притом особенно сильно — учеников старших классов пензенской гим-

¹⁾ М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. ГИЗ 1925 г. Стр. 41—2.

¹⁾ Заметим, что эта фамилия встречается и в рассказе.

нази и института. На этой почве вполне могли возникнуть какие-нибудь среднешкольные волнения, кружки и т. п.

В «Воспоминаниях о М. Е. Салтыкове-Щедрине (1864—1869)» некоего Н. Н. Кузнецова¹⁾ мы действительно находим следы каких-то «беспорядков» — как тогда было принято выражаться — в пензенской гимназии. Правда, это был только единичный случай какого-то столкновения с директором одного ученика, самого Н. Н. Кузнецова. Автор не указывает ни причин, ни характера этого столкновения. Но поражает суровость постигшей гимназиста кары. Губернатор Александровский (вышеупомянутый уголовный тип) высылает его на родину, в город Нижний Ломов, в сопровождении жандармского унтер-офицера, под надзор родственников с воспрещением везды в Пензу и поступления в какие-либо другие учебные заведения. Живая иллюстрация к известному стихотворению Некрасова «Еще тройка»:

Какое ж адское коварство
Ты замыслила осуществить?
Разрушить думал государство
Или инспектора побить?!

Ответа нет! — ни Некрасову, ни нам. Остается предполагать возможность попытки не только побить директора, но и «разрушить государство» под влиянием кого-либо из членов ишутинского кружка.

Салтыков знал об этой истории, принял участие в ее герое, вызвал его обратно в Пензу, желая принять к себе на службу. Узнав о запрещении Кузнецову везды в Пензу, Салтыков тотчас отправил его обратно, но осуществил-таки свое намерение позднее, когда перешел управляющим казенной палатой в Тулу и Рязань.

В свете всех этих обстоятельств можно думать, что Салтыков в своем рассказе одновременно хотел и намекнуть на пензенскую гимназию в конце 50-х—первой половине 60-х годов и тут же отвести внимание в другую сторону — какой-то К-ской гимназии. Наконец прямо пензенских корнетов (Ваня Поцелуев) Щедрин выводит в продолжающих «Дневник провинциала в Пе-

тербурге» очерках «В больнице для умалишенных» (От. Зап. 1873 г. кн. 2 и 4; в собрания сочинений до сих пор не входили).

Итак перед нами основанная на пензенских впечатлениях шестидесятых годов небольшая, но яркая, сочная картина быта русского провинциального дворянства и чиновничества и притом особенно богатой, черноземной полосы. Как мы видели выше, сам Салтыков первоначально сомневался, чтобы эта картина вышла у него удачной, очевидно находясь под гнетом непосредственных впечатлений. Надо было дать им отстояться и очиститься для художественного воплощения. Это и произошло в действительности, потому что «Приятное семейство» написано по всей видимости не ранее середины семидесятых годов.

Самая рукопись (бумага, почерк) не дают точных указаний для датировки. Вероятнее всего — семидесятые годы, но возможен и конец шестидесятых и начало восьмидесятых. Но нам помогает подзаголовок: «К вопросу о «Благонамеренных речах». Как известно, «Благонамеренные речи» писались в течение 1872—76 гг. Естественно думать, что и «Приятное семейство» написано в эти же приблизительно годы.

Связь с «Благонамеренными речами» помогает еще и в другом отношении. В своем известном письме к Евгению Утину (от 2 января 1881 г.) Салтыков говорит, что задумал пересмотреть те принципы, на которых якобы основано современное ему общество: это принципы современности, государственности и семьи. На второй из этих принципов им написан «Круглый год», на третий — «Господа Головлевы». «Благонамеренные речи» — более раннее произведение — написаны разом на все эти три принципа. В «Приятном семействе» мы имеем только начало рассказа. Очевидно далее должно было следовать описание самого этого «приятного семейства». И следовательно рассказ этот должен был принадлежать к числу тех, которые призваны были иллюстрировать разложение семейного принципа в дворянско-буржуазном обществе.

Н. Яковлев

1) «Историч. Вестник», 1908 г., кн. 12.

ПРИЯТНОЕ СЕМЕЙСТВО

Никогда я не проводил время так приятно, как в П... Приехавши с поручением дозвать под рукой, где скрывается источник пагубных, потрясших Западную Европу идей, распространение которых с особенной силой действовало между воспитанниками местной гимназии, я целый месяц провел в этом городе, и так-таки ничего и не узнал. Хотя впоследствии оказалось, что, соб-

ственно говоря, и узнавать было нечего, потому что П...ская гимназия по ошибке писца была названа вместо К...ской (где распространение идей действительно было организовано в самых обширных размерах), тем не менее полагаю, что я все-таки хоть что-нибудь успел бы узнать, если бы исследование мое производилось не в П..., а в другом каком-нибудь городе. Но здесь с первой

минуты приезда до последней минуты отъезда я был пленником всевозможных развлечений, которые буквально не давали мне опомниться. Я с утра до вечера чувствовал себя как бы охваченным сплошным праздником, который утром принимал меня из рук Морфея и поздней ночью вновь сдавал меня Морфею на руки, упитанного, слегка отуманенного и сладостно измученного.

В то время город П... стоял в стороне от бойких путей сообщения и был сплошь населен отставными корнетами, между которыми выдавался только один почтенный отставной генерал, почти во всех корнетских семействах имевший крестников, которых в шутку называли его детьми. Но отдаленность города еще более способствовала его одушевлению. В столице ездить и лень и не за чем, так как еще во время состояния в звании юнкера всякий корнет уже выпил до дна всю чашу столичных удовольствий. Поэтому корнеты из целой губернии устремлялись в П... и здесь, в родном городе, среди домашних пенатов старались веселиться так, как умеют веселиться только корнеты. Как люди образованные, все эти господа держали прекраснейших поваров и выписывали вина прямо от Рауля и от Депре, а консервы от Елисеева¹⁾. Родовые и благоприобретенные имения доставляли откормленных индеек, телят, поросят и другую живность. Для прочей же провизии дух времени выработал целую касту купцов, поставлявших сочные ростбифы, отборнейшую дичь и совершенно животрепещущую рыбу, хотя река, на которой стоит П..., изобиловала только гольцами и пискарями. Каждый день в пяти-шести местах званый обед, и везде что-нибудь необыкновенное, грандиозное, о чем ни Борелям, ни Дюсо²⁾ и во сне не снилось. Один щеголяет стерляжкой ухой, в которой плавают налими печенки, другой поражает двухпудовым осетром, привезенным на почтовых из С...; третий подает телятину, в которой все мясные волокна поросли нежным жиром; четвертый предлагает поросенка, который только-что не говорит. Я никогда не забуду судака под провансалем, ко-

торый однажды подали к закуске у корнета Загibalова — это было что-то такое до того тающее, изящное, радующее и вкус и обоняние, что я невольно подумал: если б это блюдо поставили передо мной и потребовали во имя его, чтобы я отказался от отечества, то я конечно не отказался бы за perlotte¹⁾; но в то же время, наверное, сказал бы себе: ah, tu es donc bien douce, chère patrie, pour être préférée à ce délicieux ragout²⁾. В другой раз в доме корнета Голопятова мне подали ростбиф... ну, такой ростбиф, что я инстинктивно поцеловал кусок, прежде чем положить его на тарелку.

На первых порах этот день, весь посвященный еде, кажется невероятным. Я сам не прочь поесть и благодаря получаемому содержанию и участию в некоторых промышленных предприятиях, могу выполнить это весьма удовлетворительно, тем не менее просто в голову как-то не приходит каждую минуту прозревать, какая еда предстоит в следующую минуту. В П... вас сразу ошибает запах еды, и вы делаетесь невольно поборником какой-то особенной религии, которую можно называть религией еды. Но когда корнет Шилохвостов расскажет вам, что он налива, предназначенного для ухи, предварительно сечет, дабы печень его от огорчения увеличилась, что он индейке, предназначенной для жаркого, предварительно зашивает проход, дабы возбудить в ней нестерпимую жажду, которая тут же и удовлетворяется целым молоком, и когда он и этого страдальца-налима и эту страдальцу-индейку подает вам за обедом, клянусь, вы не выдержите и скажете: Комос!³⁾ я твой, я твой навсегда!

Но естественно, что при такой изобильной еде корнеты скоро отяжелевают, и это не может не иметь влияния на их отношения к дамам. Отношения эти самые спокойные, так сказать, сонные. В глазах отяжелевшего корнета жена есть одно удобство, особенно ценное в том отношении, что она привле-

¹⁾ Чорт возьми!

²⁾ Ах, сколь же ты сладостно, любезное отечество, чтобы предпочесть тебя этому восхитительному рагу!

³⁾ Бог пиров у древних греков.

¹⁾ Известные петербургские винные погреба и колониальный магазин.

²⁾ Известные петербургские рестораны.

кает к дому более или менее разнообразное общество. Корнет не может обойтись без общества, потому что для него немислимо есть в одиночку. И беседа его прельщает, не желание оживить еду каким бы то ни было разговором, в котором он сам может принять участие. Нет, он сидит за столом и в большей части случаев только сопит и хлопает глазами в какой-то полудремоте. Но его радует, что около него тоже некто сидит, жует и постепенно отяжелевает, что никто ни единого порока не находит в его поросенке и что при взгляде на осетра из всех утроб, наверное, вырывается тихое одобрительное ржание. Это единственная форма общения, которую он ценит. Он тем счастливее, чем больше видит кругом себя жующих и поглощающих, и если жена его служит магнитом, привлекающим в дом лишнее число ртов, если она, сверх того, умеет устроить вокруг мужа какое-то подобие партии, могущей доставить почетную должность на выборах, то этого одного для него вполне достаточно и вне этой сферы жена его интересует очень мало.

Для нас, приезжих из столицы, для чиновников, разъезжающих по делам службы, для корнетских сынков, наезжающих в побывку, и вообще для всех тех, которые не успели еще весться, — это общекорнетское отяжеление — истинная находка. Находка это также и для тех местных молодых чиновников, которые умеют поставить себя в пределы двух-трех блюд из числа предлагаемых шести-семи. Все эти люди могут смело рассчитывать на корнетское отяжеление и очень приятно проводить время, не опасаясь, чтобы кто-нибудь обеспокоил их.

Жизнь в П... какая-то непрерывная, полухмельная масленица, в которой все перемешалось, в которой никто не может отдать себе отчета, почему он опочил тут, а не в другом месте. Приезжего ловят, холят, вводят во все тайны.

Есть особливые отставные корнеты, которые позабыли жениться и которым делать уж совсем нечего. Изловив приезжего, они с утра до вечера возят его из дома в дом и по дороге рассказывают подноготную каждого дома. Вы еще не представлены хозяйке дома, а уж знаете и ее и ее законного корнета, все во всех подробностях. Корнет неизменно любит поврать, корнет неизменно любит изумить вас гостеприимством. Это очень удобно, потому что, едва успевши отрекомендоваться хозяйке, вы уже начинаете врать и чувствуете, что здесь собственно ничего другого и не остается, как врать, врать и врать. Анекдоты самого скандального свойства не только припоминаются, но даже рождаются тут на месте. Все это видело виды, все это знает, как оценить соль анекдота, все это чувствует себя в своей тарелке. От корнетши вы переходите на половину корнета и, узнав от него, в каком полку он служил, можете быть уверены, что уже навсегда застрахованы от разговоров с ним. На будущее время он будет молча подавать вам руку или, указывая на стол, покрытый закусками, скажет: милости просим! — и затем, завесив себе салфеткою грудь, уставит глаза в тарелку.

П...ские дамы прелестны. Они немножко полны, но настолько, что эта полнота никогда не переходит в расплывчатость. Они кокетливы, но настолько, чтобы никогда окончательно не лишиться человека надежды. Они любят поврать, но настолько, что никогда не теряют чувства собственного достоинства перед *les domestiques*¹⁾. Более мягких приятных нравов нельзя желать²⁾.

¹⁾ Домашние, прислуга.

²⁾ Судя по почерку и бумаге, с одной стороны, и упоминанию в подзаголовке о «Благонамеренных речах», рассказ надо отнести ко второй половине 70-х годов. Печатается по рукописи, хранящейся в б. Пушкинском доме.

За рубежом

1. С. ГАЛЬПЕРИН.—SOS мирового капитализма. 2. С. ИНГУЛОВ.—Советское в международном.

1. SOS МИРОВОГО КАПИТАЛИЗМА

С. Гальперин

В ночь с 20 на 21 июня

Будущему историку периода мирового кризиса капитализма придется наверное немало рыться в архивах дипломатических канцелярий и мемуарах нынешних вершителей судеб международной политики, чтобы восстановить точную картину того, при каких обстоятельствах сложилось переданное в ночь с 20 на 21 июня 1931 г. по трансатлантическому кабелю предложение Гувера об отсрочке на год всех платежей по международным расчетам. После категорических заявлений официальных представителей Белого дома в Вашингтоне об отказе от каких-либо скидок по межсоюзным обязательствам, после меланхолического возвращения Брюнинга и Курциуса из Чеккерса и последовавшего затем при аплодисментах французской палаты депутатов заявления Бриана о том, что «план Юнга еще совсем свеж и не может быть и речи о его изменении», обращение Гувера к американскому конгрессу, написанное в форме манифеста всем народам, произвело в столицах всего мира впечатлительное разорвавшейся бомбы. Ибо всем стало ясно, что в мировую дипломатическую игру вступил новый партнер с огромным запасом средств, что этот партнер ставит ставку на пересмотр плана Юнга и что эта ставка в корне меняет то соотношение сил, которое установилось в Европе под воздействием военной и финансовой гегемонии Франции. Было совершенно очевидно, что отсрочка платежей на год, по мысли Гувера, является попыткой отсрочки революционного взрыва в Германии, и эта отсрочка была встречена с понятным энтузиазмом в буржуазных и социал-фашистских кругах всего мира, за исключением зубров версальской политики во Франции.

Показателем значимости в глазах буржуазии предложения Гувера, а также и неожиданности его выступления является прежде всего биржа. Телеграмма парижского издания «New-York Herald» гласит: «Огромная толпа собралась 22 июня вокруг

Уолл-стрит. Можно было подумать, что вновь вернулись великие дни биржевого ажиотажа летом 1929 г. Публика бешено покупала все, что могла». А полученная парижской газетой «Matin» телефонограмма из Берлина от 23 июня сообщала: «Чудовищное повышение на берлинской бирже явилось прямым следствием американского предложения. Можно сказать, что зарегистрированное вчера повышение не имеет прецедента в истории биржи. Некоторые ценности поднялись на 30 пунктов. Но для большинства биржевых спекулянтов 22 июня оказалось черным днем, ибо еще 20 июня они спекулировали на понижение». —

Выступление Гувера оказалось неожиданным не только для рыцарей биржевой жизни, но и для некоторых европейских правительств. Правда, французский премьер Лаваль удовлетворился скрепя сердце официальными объяснениями американского посла, что решению Гувера не предшествовали никакие международные переговоры и что Франция была первой из держав, которым было сообщено об этом решении. Но не связанный дипломатическими условностями комментатор событий вряд ли удовлетворится этой вашингтонской версией, которая плохо укладывается в рамки общеизвестных фактов. Ибо нельзя же объяснить простым хронологическим совпадением посылку конфиденциальной телеграммы Гинденбурга Гуверу, командировку Меллона в Европу, собеседование английских и германских министров в Чеккерсе и предоставление англо-американским капиталом займа в 150 млн. шиллингов Австрии именно в тот момент, когда Франция уже почти совсем поставила Австрию на колени.

Конечно прав был со своей шейлоковской точки зрения тот французский журналист, который писал, что «в ночь с 20 на 21 июня по трансатлантическому кабелю была начата англо-американским капиталом атака против национального кошелька Франции»; конечно, не лишено основательности и сделанное во французском парламенте указание, что, отсылаясь на этот год от причитающихся ему 246 млн. долларов,

вашиingtonское правительство спасало те 10 миллиардов долларов, которые вложены американскими капиталистами в германские предприятия и займы, — обо всем этом нам еще придется говорить в дальнейшем, — но факт тот, что основной причиной «возвышенных чувств» Гувера явился все же сигнал бедствия, поданный германским капитализмом. Конечно только Леоны Блумы и его коллеги по Второму интернационалу могут по этому поводу с умилением говорить о «благородстве» Гувера, — сам автор этого жеста предпочитает называть его актом «мудрого кредитора», — конечно расчета в предложении Гувера было не меньше, чем капиталистического «гуманитаризма», но надо сказать ясно и просто: мировой кризис капитализма дошел уже до такого предела, что с одного из его боевых участков раздался сигнал SOS и американский капитал проявил достаточную классовую дальновидность, чтобы подать находившемуся под угрозой гибели германскому капитализму руку помощи.

При миллиардном дефиците в бюджете САСШ, при принципиальном нежелании вашингтонского правительства колебать избылемостью соглашений о долгах предложенный Гувером годичный мораторий является крайним средством. Но, как признал сам Гувер в своем обращении к конгрессу, нормальные средства в критических обстоятельствах недействительны, а положение в Германии стало действительно критическим, и Гувер принял решение, против которого по существу высказались еще совсем недавно — на Вашингтонском съезде международных торговых палат — официальные представители Соединенных Штатов.

О чем гласил сигнал

Очень красочно передает, как разыгралась события, дипломатический корреспондент органа британской рабочей партии «Daily Herald» (от 22 июня): «Быстро развертывавшаяся и интенсивная личная драма предшествовала принятому Гувером в субботу ночью решению предложить отсрочку на один год репарационных и военных платежей. Сообщение об этом последовало через несколько минут после того, как президент Гувер получил от президента Гинденбурга послание, в котором тот заявил, что финансовое и экономическое положение Германии — критическое, что крах является вопросом нескольких дней и что только Америка может спасти положение.

Американское правительство уже раньше было убеждено, что какие-то меры должны быть приняты. Берлинское посольство САСШ посылало ежедневно доклады о серьезности кризиса. Генерал Дауэс (посол САСШ в Лондоне) сообщил о тревожной картине, нарисованной Брюнингом и Курциусом в Чеккерсе. Мистер Меллон после беседы с Макдональдом и Гендерсоном также солидаризировался с этими докладами и уверил своего шефа, что британское правительство более чем склонно сотрудничать в де-

ле спасения положения. Мистер Гувер учел, что кризис угрожает не только привести к краху всю машину репарационных и военных платежей, но и ставит под угрозу 500 млн. фунтов американских капиталов в Германии. Он готовился что-то предпринять. Он советовался с финансовыми экспертами и партийными лидерами. Но в пятницу ночью Германия узнала, что «окончательное решение» еще не было достигнуто. Но положение становилось все более угрожающим с каждым днем, с каждым часом. «На будущей неделе» гласило сообщение из Вашингтона. Но «на будущей неделе» могло быть уже слишком поздно!

В пятницу (19 июня) из Рейхсбанка было вынуждено еще 3½ млн. фунтов, Металлическое опесечение банкнотов упало до уставного минимума. Д-р Лютер, председатель Рейхсбанка обратился к Английскому банку с просьбой переучет бумаги на 12 млн. ф. Английский банк отказал. Рейхсбанк предупредил германское правительство, что он не в состоянии авансировать правительство на уплату жалований в конце месяца. Правительство должно было иметь эти деньги 23 июня. Рейхсбанк не мог их дать. 1 июля правительство не могло бы платить жалованья чиновникам, полиции и армии, не могло бы платить пособий безработным. Это означало катастрофу. Единственным выходом было бы обратиться к печатному станку и стать на путь инфляции. А это в свою очередь означало бы невозможность платить иностранным кредиторами.

Срочные донесения были посланы в Вашингтон в субботу утром. К правительству САСШ обращались с просьбой действовать немедленно, — не на будущей неделе, а сегодня. Министр Гувер колебался, опасаясь, нет ли в этом преувеличения, чтобы заставить его действовать. И он подумал тут о старом Гинденбурге, почувствовав, что можно довериться этому суровому старику. «Если Гинденбург попросит меня, я буду действовать немедленно» — гласило послание в Берлин.

Д-р Брюнинг был шокирован. Германский президент не является, как президент САСШ, главой правительства. Он — глава государства и ведет переговоры не лично, а через своих министров. Но американский посланник Сэккет настаивал. Канцлер телефонировал Гинденбургу, находившемуся в это время в Восточной Пруссии. Гинденбург согласился. Из Берлина в Вашингтон пошла личная телеграмма — SOS президента президенту. Через несколько минут решение было принято. Правительства были уведомлены. Газетные корреспонденты в Вашингтоне получили соответствующую информацию. Мир узнал, что Америка предлагает отсрочку репараций и платежей по межсоюзным долгам.

Мы приводим этот «сильно драматический» рассказ не только потому, что он приоткрывает завесу над секретами дипломатической кухни (автор несомненно получил соответствующую информацию из англ-

лийского министерства ин. дел), но и потому, что он свидетельствует — вопреки уверениям посла САСШ в Париже — что решению Гувера предшествовали фактически переговоры международного характера и что в этих переговорах английское правительство играло роль адвоката Германии.

Изложение событий в «Daily Herald» нуждается однако в дополнениях. Во-первых, катастрофическое положение германских финансов обнаружилось уже за три недели до 20 июля. Уже в первую половину июня золотое и валютное обеспечение банкнотов германского Рейхсбанка понизилось на 11 проц. — отлив из Рейхсбанка превысил 1 миллиард марок. При чем, что особенно любопытно, отлив золота шел не во Францию, а в английские и американские банки.

Во-вторых, дело было не только в угрозе денежной инфляции. Правительство Брюнинга несомненно вело азартную игру. По существу, дипломатический багаж Брюнинга и Курциуса при поездке в Чеккерсе состоял из чрезвычайного декрета Гинденбурга, опубликование которого сопровождалось официальным сообщением агентства Вольф о том, что финансовая политика правительства, проводимая в интересах кредиторов Германии, создает положение, которое доводит народ до предела лишения. Правительство явно провоцировало трудящихся, рассчитывая однако на то, что английская и американская буржуазия пойдут на облегчение репарационного бремени Германии раньше, чем в Германии дело дойдет до революционного взрыва.

Сигнал бедствия, отправленный из Берлина в Вашингтон и Лондон, несомненно гласил не только о финансовых затруднениях. Революционизирование масс шло гигантскими шагами. Об этом свидетельствовали все выборы в ландтаги отдельных германских государств, имевшие место уже после ошеломивших весь мир выборов в германский рейхстаг 14 сентября прошлого года. На всех этих выборах выигрывали только коммунисты и фашисты, при чем в отличие от выборов 14 сентября успехи компартии были относительно более значительны, чем успехи гитлеровцев. О революционизировании масс говорили и голодные беспорядки безработных, громивших продовольственные магазины, и переходы тысяч рабочих из с.-д. партии к коммунистам, и то боевое воодушевление, с которым рабочие массы неизменно отвечали на все провокационные выходы фашистов, и полицейские налеты агентов Зеверинга и Гржезинского. Веяния революции начало перекидываться и в деревню, ярким симптомом чего был переход в компартию одного из лидеров кулацкой партии ландфолька, заявившего, что мелкому крестьянству Германии не по дороге с буржуазными партиями. Соответствующая агитация компартии, общее направление которой удачно охарактеризовал Тельман словами о том, что перед крестьянством открыты лишь два пути: «или

с буржуазией — под трактор, или с пролетариатом — на трактор» — начала встречать отклик в слоях деревенской бедноты Германии.

И конечно на Гувера подействовали не только реляции о положении Рейхсбанка, но и переданные через Дауза аргументы германских министров в Чеккерсе о том, что если Германия не получит помощи, то «страдания народа дойдут до такого предела, при котором революционный взрыв станет неизбежным» (см. «New-York times» от 6 июня). Мы имеем на этот счет и объяснения мнииндел САСШ Стимсона, который, выступая в защиту принятого Гувером решения, ссылаясь на общую революционную опасность в Европе: продовольственные беспорядки, стачечные выступления, рост коммунистического влияния, наличие революционного очага в Испании и т. д.

План Юнга и план Гувера

Откликнувшись на SOS из Германии, Гувер однако имел в виду не только «спасти» Германию от революции, но и спасти ее «по-американски», т.-е. с наибольшей выгодой для империализма САСШ. Критика из французского лагеря в этом отношении несомненно совершенно права.

Надо прежде всего отметить, что Гувер не случайно игнорировал план Юнга. Мораторий, предложенный Гувером, ни в какой мере не был согласован с теми условиями моратория, которые были предусмотрены планом Юнга. И инициатива Гувера означала по существу, что правительство САСШ присоединяется к ходатайствам Германии о пересмотре этого плана.

Полная неосуществимость этого плана в условиях мирового экономического кризиса стала ясной для всех. По условиям этого плана, платежи Германии на 1930—31 германский бюджетный год (с 1 апреля 1930 по 1 апреля 1931 г.) были определены в 1.707,9 млн. марок; на 1931—32 — 1.685 млн. мар.; на 1932—33 г. — 1.738,2 млн. мар. И затем, постепено повышаясь, должны были дойти к 1939 г. до 2 млрд. марок.

Оплачивать эти репарационные платежи в валютном их выражении Германия могла только за счет своего экспорта, — прочие источники выправления расчетного баланса (доход от иностранных туристов, от фрахта судов, от вложений национального капитала за границей и т. д.) в Германии имеют меньшее значение, чем в Англии и Франции. Между тем падение оптовых цен, являющееся одной из наиболее характерных черт экономического кризиса, означало фактически непредвиденное увеличение репарационного бремени — для выплаты одного и того же количества марок по номиналу Германия должна была продать гораздо большее количество своих товаров.

Если в момент подписания плана Юнга (7 июня 1929 г.) покупательная способность марки определялась индексом 137, то к середине 1931 г. она упала до 112. Это зна-

чит, что в товарном выражении тяжесть репарационных платежей возросла процентов на 20 и фактически уже достигла того уровня, который был намечен на 1939—40 год — 2.042 млн. марок.

Если принять во внимание, что план Юнга в свою очередь исходил из возможного максимума финансового напряжения Германии, то нелепость создавшегося положения была в глаза. К этому надо прибавить соображения социально-политического характера. Экономический кризис привел к наличию в Германии 4—5 млн. безработных, к росту налогового обложения для покрытия бюджетного недобора, к разорению значительной части крестьянства, к снижению зарплаты рабочих и служащих и т. д. И если теоретически налоговое обложение каждого германского гражданина в среднем составляло 275 марок в год (из которых около 20 проц. идет на уплату репараций), то сокращение числа лиц, занятых производительным трудом, и сокращение их покупательной способности сделали гораздо более тяжелым взнос этой теоретической средней в 275 марок с человека.

Необходимо наконец учесть сокращение иностранных займов, которыми Германия в значительной степени прикрывала трудности своего расчетного баланса. А коммерческий баланс, хотя и давал в последние два года положительное сальдо, но не за счет роста экспорта, а за счет сокращения импорта, что свидетельствовало о сокращении производственной деятельности германской промышленности хотя бы в пределах внутреннего рынка. Экспорт же, хотя и дал, как мы указывали, в 1930 г. перевес над импортом, но сократился с 13,5 млн. мар. в 1929 г. до 12,3 млн. мар. в 1930 г., а в 1931 г., по предположительным расчетам, не превысит 10—10½ млн. марок.

Политика «мудрого кредитора», о которой говорил в своем обращении Гувер, и состояла в учете того факта, что экономический кризис сделал фактически невозможным соблюдение Германией обязательств, возложенных на нее планом Юнга, что вымогательство репараций привело бы лишь германский капитализм к катастрофе, а это значило бы поставить под знаком вопроса не только уплату Германией репараций союзникам, но и уплату последними своих долгов Америке.

Необходимо иметь в виду, что авторы плана Юнга предвидели возможность такого положения в Германии, при котором выполнение ею репарационных обязательств угрожало бы устойчивости ее денежной системы. Так как нельзя было резать курицу, несущую золотые яйца, то был предусмотрен строго разработанный план моратория, т. е. приостановка платежей на определенный срок. По плану Юнга, все платежи Германии в течение первых 37 лет делились на две части: одна постоянная (в 660 млн. марок), подлежащая уплате при всяких обстоятельствах, и другая переменная (от 1.000 до 1.700 тыс. марок, смотря по величине

не взноса, намеченного на соответствующий год), которая защищена так наз. «трансфертной оговоркой», предусматривающей возможность приостановки трансферта в иностранной валюте до 2 лет и платежей в германской валюте на срок до 1 года. Из первой безусловной части платежей в 660 млн. марок 500 млн. марок составляли французскую долю, 42 млн. — итальянскую, а остаток распределялся между Англией, Бельгией и Японией. В принципе безусловная часть аннуитетов шла на восстановление разрушенных войной областей союзников (этим и объясняется львиная доля Франции), а вторая переменная, — на уплату военных долгов союзников Америке.

Предложение Гувера, ставившее условием отсрочки союзнических долгов Америке отказ союзников от репарационных платежей как условных, так и безусловных, — не только не было согласовано с планом Юнга, но и противоречило его деловым установкам. Невозможно разумеется допустить, что Гувер сделал этот шаг необходимо, — он имел достаточную консультацию и с политическими, и с финансовыми экспертами, — надо поэтому признать, что Гувер намеренно пошел на срыв всей той механики, разработанной в значительной степени под воздействием Франции, которая была намечена планом Юнга.

И именно это обстоятельство и является тем, что мы назвали «спасением Германии по-американски».

Два варианта „спасения“ Германии

Неудовлетворительность плана Юнга с точки зрения выхода Германии из кризиса была ясна не только Гуверу, но и яростным защитникам этого плана — французским дипломатам. Когда французский офицер «Temps» писал, что домогательства Германии об изменении плана Юнга в виду нависшей над нею революционной угрозы являются со стороны правительства Брюнинга дипломатическим шантажем, он имел в виду не столько отрицание самой этой опасности, сколько попытку устранения ее за счет пересмотра плана Юнга.

У Бриана был свой корректив, или, вернее сказать, дополнение к плану Юнга, — это предоставление Германии международного займа, в котором роль главного кредитора играл бы французский капитал. Этот метод имел то преимущество с точки зрения французского империализма, что он позволял Франции требовать от Германии за предоставление займа политических компенсаций. Финансово-политическое закабаление Германии входило главной составной частью в тот гигантский план «золотого наступления», который был развит парижскими банковскими кругами под руководством политических лидеров французского империализма.

Этот план проводился руководителями внешней политики Франции с величайшей настойчивостью. Займы Польши, Румынии,

Чехо-Словакии, Югославии, финансовые соглашения между Банк де-Франс и Английским банком — все они строились на условиях тех или иных политических компенсаций. Совершенно исключительную энергию развил французский капитал в эпоху первых сообщений о проекте австро-германской таможенной унии. Для срыва этой комбинации парижские банки как раз к моменту обсуждения этого вопроса в Совете Лиги наций разорили австрийский банк «Кредитанштальт», финансировавший до 80 проц. австрийскую промышленность. Чтобы предупредить финансовую катастрофу в стране, австрийское правительство гарантировало платежи «Кредитанштальт», но осуществить эти гарантии оно могло лишь за счет иностранных кредитов. Франция соглашалась предоставить Австрии заем, но лишь под условием отказа от «аншлюсса». Комбинация эта была уже близка к успеху, но в критический момент английские банки при поддержке Америки дали Австрии заем в 150 млн. австрийских шиллингов без всяких политических условий. Французский план провалился, и вместе с тем и правительственный кризис в Австрии разрешился образованием правительства Буреша, сторонника английской ориентации, вместо французского ставленника, прелата Зенцеля.

Известный французский публицист Зоэвен (Зауэрвейн) сетовал по этому поводу, что французская дипломатия переборщила, действуя с излишней грубостью: «За что-то в роде 300 млн. фр. хотели купить у Австрии изменение ее внешней политики». Но дело было не в том, что французские империалисты «переборщили», а в том, что впервые против французского золотого мешка выступил мощный противник в виде англо-американского капитала.

Французская неудача в Австрии была лишь прологом к выступлению Гувера. Выступление это было очень знаменательно с точки зрения изменения всего характера американской политики. «Это что-нибудь да значит», — писал лондонский «Times» в своей передовой от 23 июня, — когда глава республиканской партии в САСШ должен на практике признать взаимозависимость финансово-экономической системы своей страны с экономикой других стран, — взаимозависимость, которую республиканская партия в Америке до сих пор отрицала». Ту же мысль высказывает «Times» и в передовой от 22 июня: «Президент Гувер наконец отбросил веру, так упорно державшуюся в широких кругах Америки, что существуют два вида экономических законов: один — для Соединенных Штатов и другой — для всего остального мира».

Лидеры республиканской партии в САСШ долгое время отрицали наличие глубокого экономического кризиса в Америке, но когда дальнейшее отрицание стало просто смешным, они переменили позицию и стали заявлять, что корень зла лежит не в американской экономике, а в неудовлетвори-

тельности экономического положения других стран. Гордые идеи о том что Америка, даже не вмешиваясь активно в мировую политику, может силою своего золота и своего экономического преуспеяния подчинить себе все другие страны, — отражением этих идей явилась известная книга Денни «Америка завоевывает Британию», — начали терять свой кредит. Оказалось, что американский капитализм страдает теми же болезнями, что и «отсталый» капитализм Европы, и что вдобавок хозяйственное настроение других стран бьет и по преуспеваю Америке.

Отсюда идея «спасения» Европы и в частности Германии от экономического развала и угрозы революционных потрясений. Тем более, что и положение в самой Америке, где 19 штатов пережили в этом году настоящий голод вследствие засухи и где 10 млн. безработных оказались в рядах недовольных капиталистическим строем, заставляло Гувера и лидеров американской буржуазии принимать угрозу революции всерьез.

Но «спасти» Европу Гуверу надо было таким образом, чтобы это не создало серьезных конкурентов дельцам Уолл-стритта. Надо было помочь побежденной и обкарнанной Германии, но в то же время создать из нее союзника против мощного французского финансового капитала, который проводил свою мировую империалистическую политику с тем большей уверенностью, что мировой кризис, хотя и далеко не пощадил Францию, но все же отозвался на ее хозяйственном состоянии относительно слабее, чем на экономике других стран.

На почве соперничества с Францией американский капитал нашел себе союзника в лице английской буржуазии, значительная часть которой с неудовольствием смотрела на французскую гегемонию в Европе, сбившую Англию с ее традиционной позиции арбитра всех европейских дел. Чеккерс сыграл роль посредника между Берлином и Вашингтоном. В результате — неожиданное предложение Гувера, имевшее определенно антифранцузский характер.

Выступая с своим предложением, Гувер почти ультимативно требовал его немедленного принятия всеми заинтересованными государствами без всяких оговорок. Выступивший с объяснениями по этому поводу гос. секретарь (мин. ин. дел) САСШ Стивенсон, намекая на первые же сведения о том, что французы намерены выступить с своими оговорками и потребовать соответствующих переговоров, заявил, что для переговоров нет времени, ибо затягивание сорвало бы то «благое дело», во имя которого выступил Гувер.

Французская буржуазия оказалась однако достаточно стойкой. «Не будем увлекаться жестом», — писал по этому поводу Сен-Брис в газ. «Journal», — жестом, театральный характер которого, явно предназначенный для того, чтобы экспромтом вырвать присоединение всех держав, не может скрыть заранее обдуманного расчета».

Для французского мещанства руководители внешней политики Франции указывали, что план Гувера возлагает на Францию слишком тяжелые жертвы, лишая ее 2,5 миллиарда франков в бюджете тек. года. Но дело было не в этих денежных потерях. Жюль Зоэрвен в «Matin» от 28 июня указывая на неприемлемость для Франции предложения Гувера, выдвинул другие возражения: 1) принесенная Францией жертва не дала бы политических результатов, ибо Германия рассматривала бы эту жертву как вынужденную под давлением Америки; 2) трудность состоит не в прекращении платежей на один год, а в возможности их возобновления в последующие годы; 3) платежи, предназначенные для «восстановления пострадавших от войны областей Франции», теряют свой безусловный характер.

Казалось бы, что пункты второй и третий имеют большее значение, чем первое возражение Зоэрвена. Но Зоэрвен не случайно поставил на первое место вопрос о том, как отнесутся к «жертве» Франции в Германии. Ибо весь смысл французской политики, начиная с Локарно, заключается в том, чтобы за те или иные экономические податки вымогать у Германии политические компенсации. Предложение Гувера пробило основательную брешь во всей системе внешней политики Франции.

Так «спасение» Германии стало яблоком раздора между двумя наиболее крупными обладателями золотых запасов в мире: Америкой и Францией.

На бирже снова понижение

Театральный жест Гувера не удался. Французское правительство и французский парламент внесли в предложение Гувера ряд оговорок и заставили Америку вступить в переговоры, для ведения которых министр финансов САСШ Меллон прибыл в Париж. Без согласия Франции план Гувера терял для Германии практическую ценность, а воздействовать на Францию мерами прямого давления экономического или политического у Гувера не было возможностей. Оставалось только вступить в переговоры.

Основным моментом во французском ответе на предложение Гувера было требование о том, чтобы так называемую безусловную часть аннуитетов Германия внесла в Банк международных расчетов. Франция согласна в этом году не пользоваться этой частью (под условием выплаты ей соответствующих процентов за просрочку платежа) с тем, чтобы сумма эта была употреблена на предоставление займа Германии и странам Средней Европы.

Со стороны Лавала и Бриана это был неплохой шахматный ход. Франция не выступала в роли жадного кредитора, не желающего отказаться от своей доли, но она сохраняла в неприкосновенности, во-первых, самый принцип безусловных платежей и, во-вторых, возможность оказывать на Германию давление при предоставлении ей

займа. Наконец упоминание о том, что часть безусловных платежей может быть использована для займа не только Германии, но и «странам Центральной Европы», имело целью обеспечить Франции поддержку тех государств, которые претендовали бы на получение займа. Франция выставила, кроме того, оговорку о том, что полученные Германией по займу средства не могут быть употреблены ею на вооружения или на предоставление кредитов другим государствам, например СССР.

По основному пункту о внесении Германией безусловных репарационных платежей в Банк международных расчетов и получения их обратно в виде займа Меллон сразу пошел на уступку. Спор шел лишь по линии дополнительных требований Франции: о предоставлении из безусловных платежей займа не только Германии, но и странам Средней Европы, о контроле над использованием Германией средств, полученных по займу, о сроках выплаты Германией отсроченных платежей и т. д.

В тот момент, когда пишется настоящая строка, переговоры еще не кончены. Давать поэтому техническую оценку соглашения (если оно последует) не приходится, но политический результат франко-американских переговоров уже выясняется в своих основных контурах. И результат этот далеко не соответствует тем надеждам, которые вызвало в Берлине гуверовское предложение в первый момент его опубликования.

С полной ясностью определилось, что Америка не в состоянии собственными средствами вырвать Германию из тех тисков, в которых ее держит со времени Версальского мира Франция. Выяснилось, что и Англия не решится сразу стать на путь пересмотра плана Юнга, на позиции которого держится Франция. Выяснилось наконец, что скорее Франция может шантажировать Америку, чем последняя давить на Францию, ибо отказ Франции попросту сорвал бы весь план Гувера, что вряд ли способствовало увеличению и международного престижа САСШ, и личной популярности Гувера.

Франция ясно дала понять правительству Брюнинга, что рассчитывать только на вмешательство Соединенных Штатов ей не приходится и что, если она хочет чего-либо добиться, ей остается только обратиться на путь непосредственных переговоров с Францией. Поездка в Чеккерс таким образом — кружным путем, через Вашингтон — привела германских министров Брюнинга и Курциуса в Париж.

Положение вернулось таким образом к своему исходному пункту. Предстоит начало непосредственных переговоров между Францией и Германией — переговоров, в которые вопросы финансовые будут переплетаться со всеми узловыми пунктами мировой политики. В числе этих вопросов немалое место будет занимать и вопрос об отношении к Советскому Союзу.

Мы не станем здесь разбирать проблемы

германо-советских и франко-советских отношений, — это выходит за пределы темы настоящей статьи, и должны лишь констатировать, что предложение Гувера не внесло ожидаемого успокоения в атмосферу международной политики. И биржа — этот барометр политической погоды — пошла вниз. Понизились курсы бумаг и на нью-йоркской, и на берлинской биржах.

Это понижение отразило два крупнейших политических факта, выявившихся во второй фазе гувериады. Первый — это непримиримость империалистических противоречий. Даже перед лицом жесточайшего кризиса и более чем серьезной для мирового капитализма революционной опасности каждая из империалистических группировок стремится в первую голову отстоять свои собственные интересы. А путь всяких международных конференций и «мирных» соглашений между соперниками на империалистической арене, как это показал опыт, чреват всякими осложнениями, приводящими сплошь и рядом не к ослаблению, а к усилению напряжения в международной обстановке.

Выяснилось и другое обстоятельство. После первых восторгов стало очевидным, что если даже франко-американские переговоры окончатся полюбовным соглашением и Германия получит годовичную передышку, то это лишь в ничтожной степени ослабит ту остроту внутренних классовых противоречий, которая характеризует положение не только в Германии, но и в ряде других стран. О том, как ничтожна та отдушина, через которую Гувер рассчитывает осве-

жить накаленную революционную атмосферу в Германии, можно судить хотя по тому, что денежное выражение тех льгот, которые может получить Германия даже при полном осуществлении предложения Гувера, не составляет и половины тех капиталов, которых лишилась Германия в первые 3 недели июля. И уже менее всего можно думать, что отказом САСШ от причитающихся ей 246 млн. долларов платежей по долгам можно при переложении этой льготы на Германию откупиться от мирового кризиса. Нелепость этой надежды, провозглашенной в «манифесте» Гувера, видна хотя бы из того, что кризис свирепствует во всех капиталистических странах, независимо от их репарационной или иной задолженности.

Не представляется поэтому слишком смелым утверждение, что гуверовская помощь не является достаточным ответом на сигнал бедствия, поданный европейским капитализмом. Гувериада характерна лишь как символ того, что страна, еще пару лет назад кичившаяся своим преуспеванием, осознала, что SOS, на который она откликнулась предложением об отсрочке платежей по международным расчетам, носит по существу не только германский и не только европейский, но и мировой характер. Капитализм делает судорожные усилия, чтобы выкарабкаться из той трясины, в которую он попал. Социал-демократия всячески помогает этим капиталистическим усилиям, приветствуя инициативу Гувера. Революционный же пролетариат во главе с компартией руководствуется по отношению к капитализму правилом: падающего толкни.

2. СОВЕТСКОЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ

(Письмо из Лондона)

С. Ингулов

1

Сначала казалось, что это будет только «советский двухмесячник».

Начался в октябре, начался бурно, шумно, точно плотину прорвало. Начался — и не кончился. В декабре казалось, что «двухнедельнику» суждено превратиться в «советский квартал». Затем — в «полугодие». А оказалось, что двухмесячник перерос в неиссякаемую злобу дня на протяжении всего политического года. И вот снова лето, и близится новая осень, новый политический сезон, а «двухмесячник» все еще идет.

На протяжении первых двух месяцев и в газетах, и в журналах, и в клубах, и в холлах, и в различных обществах, и по радио давалась «объективная информация» о СССР. Не на основе телеграмм рижских корреспондентов, не на основе сообщений капитанов, возвратившихся из Архангельска или Ленинграда, а на основе личных впечатлений и исследований. В СССР едут

только исследователи. В Италию, в Испанию, в Египет, в Турцию, в Палестину, в Китай, в Бразилию, в Аравию, в Гренландию едут туристы, экскурсанты, любители приключений, альпинисты, паломники. В СССР едут исследователи. Фабрикант, рабочий, журналист, лебористский депутат, трэд-юнионист, инженер, концессионер, спекулянт, профессор, студент, футболист, банкир — в СССР он исследователь. Его камера — аппарат не туриста, а рентгенолога, статистика, этнографа и социолога. Он не щелкает кодаком, — это можно делать только где-нибудь в Тироле или во французском Конго, — он готовит диапозитивы для своей будущей лекции, он готовит иллюстрации к своей статье или книге; он воспроизводит не причудливые виды и не занимательные сцены, а растрепанные ребра гигантского деревянного скелета, из которого впоследствии получится невиданный индустриальный колосс; вопреки всем наветам и традициям фотолюбителя, он

снимает диаграммы, таблицы, плакаты, проекты, стенгазеты — такие предметы, которые он не сможет продемонстрировать на выставке своего фотоклуба, но которые он приспособит для волшебного фонаря.

Июль, август и сентябрь — период туризма. В октябре англичане разных классов съезжаются из своих заграничных странствований; мелкие лавочки и крупные клерки — из Бельгии и Голландии; средние лавочки и мелкие фабриканты — из Франции, Германии, Италии и Швейцарии, южной Франции, Испании, Турции, Чехо-Словакии; крупные фабриканты, банкиры и политические деятели, разбогатевшие на защите интересов империализма, — из Египта; Индия, Месопотамии, Персии и Канады; принцы и земельные аристократы, лорды — из Австралии, Южной Африки, с Филиппинских островов, из Гватемалы и Уругвая. И все эти социальные группы плюс рабочая делегация — из СССР.

В октябре, ноябре возвратившиеся из путешествий англичане проявляют и печатают свои снимки и рассказывают друзьям и в кругу своей семьи впечатления о кратере Везувия и швейцарских озерах, о тростниковых плантациях Коста-Рики и об удачной охоте на обезьян и попугаев на Филиппинах. Друзья и родственники сдержанно удивляются, меланхолично перелистывают альбом и расходятся по спальням.

О СССР не рассказывают, а читают лекции и рефераты, устраивают диспуты в избирательных округах, печатают статьи, книжки, отчеты, ведут дискуссии в газетах и журналах, устраивают выставки, пишут поэмы, исполненные или восторга, или ненависти.

В течение октября — ноября прошлого года в газетах появилась только одна статья — впечатления от поездки не в СССР, — это статья депутата парламента, члена «рабочей партии» мисс Эллен Вилкенсон о Монте-Карло, — впечатления, не блещущие оригинальностью: из статьи читатель может узнать, что Монте-Карло — центр европейского азарта и что многие неудачники уезжают отсюда нищими.

Между тем нет столичной или провинциальной газеты, нет еженедельника или ежемесячника, которые не были бы озабочены возможностью напечатать впечатления о СССР. Даже детские журналы, даже такие журналы, как «Эмпайр ревью» и «Раунд тейбл», посвященные освещению проблем Британской империи, считают своим долгом уделять место длинным статьям о перспективах пятилетки.

В церквях читаются не только проповеди, но и доклады о советской пятилетке. Вот один из плакатов, выставленных снаружи церкви и целиком напечатанный в виде объявления в газете:

— В общинной церкви (Парк Авеню) Джон Хэйнс Холмс будет говорить во

время утренней и вечерней служб. В вечерней службе. Анна Луиза Стронг, которая только-что возвратилась из России, будет говорить о советском пятилетнем плане.

Пятилетний план не только на советском языке называется кратко и фамильярно — пятилетка. Это слово стало составной частью всех иностранных языков. «Пятилетка» еще не вошла в последнее издание Британской энциклопедии. Но она уже вошла в разговорную речь, она вошла в сознание политических деятелей, она стала тревожным критерием в деловой жизни бизнесменов, и недаром на страницах «Спектейтора» недавно происходила степенная, в духе английских деловых традиций, дискуссия о пятилетнем плане английской промышленности по снабжению кухонных плит электроэнергией.

Госплан и монополия внешней торговли в разных вариантах и с различными оговорками стали навязчивой идеей для всех новоявленных пророков «организованного капитализма» из состава крайних консерваторов и младо-лебористов. Бивербрук и Мосли одинаково озабочены о введении государственного планирования в капиталистическое хозяйство и о приспособлении идеи Госплана к лозунгу протекционизма, рационализации и т. п.

Члены парламента Стреччи и Беван, обездившие прошлым летом СССР, оплодотворили манифест Мосли требованиями создания органа государственного планирования промышленности и совета по регулированию внешней торговли. Прибывшие из Москвы педагоги выпустили отчет, в котором требуют применения советских методов преподавания во всех школах вплоть до... церковных. Возвратившиеся из СССР делегации и экскурсионные кооператоры размышляют о перестройке английской кооперации на принципе приближения их branей непосредственно к предприятиям и создания больших столовых и фабрикухонь. Все эти размышления и проекты глубоко наивны и сумбуры, — они являются плодом смятения и утопического восприятия идей социализма, воспитанного старым и современным леборизмом, — восприятия, ныне воплощенного тревожным сознанием, что социализм может быть не только праздничной идеей, но и практическим будничным делом.

Новые беспокойные размышления лебористов, умы которых вид стремительно преобразующегося Советского Союза привел в конфликт с привычными старыми представлениями о легальном социализме, — продукте парламентской возни, — являются своеобразной, модернизированной амальгамой европейского с нижегородским. Советское «нижегородское» властно врывается в европейское: если «пятилетка» колом засела в сознании некоторых политических деятелей, монополизировавших право мыслить за народ и решать его судьбы, то со-

ветские фильмы, плакаты и литература стали предметом особенно тщательного изучения, обсуждения, споров и дискуссий.

Все, что идет из СССР, — предмет повышенного, воспаленного внимания — у одних восторженного, фантастического, у других — издевательского, волчьего, свирепого.

Мне приходилось встречать в Лондоне одного интеллигентного рабочего, который курит только советские папиросы «Наша марка», покупает хлеб в пекарне, уверяющей его, что хлеб из советской муки, ребенка своего угощает только моссельпромовскими «мишками», распекает только «Марш Буденного» на английском языке, читает все иностранные книги о СССР, имеет собственную библиотеку, являющуюся, пожалуй, наиболее полной в Лондоне библиотекой вышедших на английском языке книг о Советском Союзе, имеет полный комплект журнала «СССР на стройке», держит дома на стене портрет Калинина и карту пятилетки, изучает русский язык и сильно огорчен, что он должен танцевать старую русскую комаринскую, так как до сих пор еще не придуман настоящий советский танец.

Ни по какому поводу не возникает так много советов, комитетов, обществ, как для целей срыва противосоветских рогок и шлагбаумов. Когда лондонская цензура запретила фильмы «Турксиб», «Генеральная линия», «Потомок Чингисхана», «Обломки империи», «Конец Санкт-Петербурга» и т. п., то в недрах самого парламента возник комитет защиты советских фильмов, посыпались запросы министру внутренних дел Клайнсу, начались протесты Бернарда Шоу и других писателей и политических деятелей в прессе, начались протесты в различных рабочих собраниях и даже в ассоциациях кинорежиссеров и артистов. Рабочее общество кинематографии главную часть своей деятельности посвящает пропаганде запрещенных советских фильмов.

Широкие слои Англии одолены тоской по «объективной информации» о СССР. «Импаршиал информэйшон» — это требование, которое раздается на всех лекциях, собраниях и рефератах, посвященных вопросам, в той или иной мере связанным с СССР. Это — реакция на психоз антисоветского вранья в газетах и журналах, которое совершенно отгородило Англию от реального СССР и создало в воображении рядового читателя популярной прессы представление о стране всеобщего сумасшествия, повального разврата, конвейерной системы злодеяний и непрекаражающихся восстаний и кровопусканий. Но и мелкий лавочник, и рядовой читатель «Дэйли майль» уже не могут больше верить иступленным измышлениям своей газеты, так как и они, как бы ни были в них сильны предрассудки маргаринового демократизма и врожденная боязнь революции, хотя бы все же знают, что происходит в СССР, а не в горячем

воображении рижского корреспондента его почтенной газеты, — они тоже тянутся к «импаршиал информэйшон». Появление в течение октября, ноября и декабря и затем снова весной и в начале лета серий статей о СССР почти во всех без исключения газетах Лондона и провинции является результатом этой потребности читателей в иной информации, отличной от той, которую сладострастно снабжает Рига всю мировую прессу. С другой стороны, и сами буржуазные газеты все время испытывают болезненный интерес и любопытство к СССР, считая важным для самих себя получить более ясное представление о том, что действительно происходит в этой беспокойной и суматошной стране. Потребность узнать об этой стране после войны, выпавшей не только из учебника географии и из экономической статистики банков и научно-исследовательских институтов, но также и из альбомов марок и филателических справочников, огромна.

Неудобная страна, портящая общую картину мира. При исчислении астрономических цифр европейской и мировой безработицы отсутствует единственная страна среди ставящих рекорды безработицы, — СССР. При подсчете размеров хозяйственного кризиса отсутствует единственная страна — СССР. Единственная страна, не фигурирующая в мировых котировках, — СССР. Не страна, а урод в семье европейских держав.

Заменить учебник географии о России пытаются детские журналы. Один журнал «Май мегезин» в статье «Победят ли русские крестьяне?» пишет:

«Действительная война, происходящая сейчас в России, — не между благородными и богатыми людьми и бедными. Это кончилось несколько лет назад, и благородные и богатые люди исчезли. Многие сметены, многие убиты, и остальные живут в страшной нищете. Борьба, которая сейчас происходит в стране, — это между рабочими в городах и крестьянами в деревнях».

Эта информация для детей ничем не отличается от сказок для взрослых. Степень осведомленности детского журнала та же, что и большинства солидных английских газет. И не следует переоценивать значения посылок газетами специальных корреспондентов в СССР. Газеты вовсе не озабочены желанием внести какие-либо поправки к общеустановленным в английских реакционных кругах представлениям о СССР. Им важно было вооружиться более вескими аргументами против влияния «нижегородского» и против про-большевистских проповедников, нашедших доступ не только к микрофону радиостанций и в цензурный комитет кинофильм, но даже на парламентскую трибуну.

Из СССР возвращаются только горячие приверженцы или смертельные враги со-

ветского государства. Среди них нет умеренных—или про-большевики, или анти-большевики. Это в тех случаях, когда речь идет не о рабочих, — эти в большинстве случаев возвращаются не про, а большевиками.

Один лебористский депутат, в прошлом строительный рабочий, обратился ко мне с вопросом, где бы можно было достать русские детские книжки. К нему обратился с этим вопросом один каменщик, ездивший раньше с какой-то рабочей делегацией в Москву. Он теперь изучает русский язык и учит этому языку своих детей. Трудность для него состоит в том, что невозможно достать также русские детские книжки, которые рассказывали бы не только о животных, но и о борьбе русских рабочих и о советской школе. Он хочет воспитывать своих детей на героическом революционном прошлом русских пролетариев.

Депутат, возвращающийся из Советского Союза, привозит с собой книги, коллекции плакатов, мелко исписанные цифрами и ирисованные диаграммами блокноты. Его выступления всегда темпераментны, они не могут быть повествовательными: они неизменно сопровождаются репликами одобрения или протеста, и это делает невозможным дальнейшее спокойное описательное изложение виденного. Промышленник, финансист, торговец может быть только за или против хороших отношений с СССР. Он не может быть безразличен или пасивен: достаточно ему выступить в пользу деловых связей хотя бы в очень осторожной форме, и он вынужден через неделю разговаривать языком «про-большевика», так как его оппоненты своими анти-советскими нападками и аргументами заставляют отстаивать свои взгляды и затем бороться за них в печати и на митингах. Наоборот, фабрикант, испугавшийся размаха индустриального развития СССР, по возвращении на родину станет активным деятелем всех многочисленных антисоветских организаций.

Только некоторые журналисты, ездившие в СССР от консервативных газет, выполняя социальный заказ хозяев, вынуждены были попытаться занять фило-софскую позицию и свое собственное изумление пред увиденным скрыть в общих дипломатических рассуждениях о «двойственном» впечатлении, которое якобы оставляет нынешняя Россия, отражающая сплетение двух тенденций— «старой, полуазиатской и новой, европеизирующейся». Корреспондент «Таймс», занявший такую позицию, оказался в самом жалком положении, так как он стал получать письма и от сторонников и от противников СССР с обвинениями в неискренности, воспроизведенными в обоих случаях почти в тождественных выражениях. И под конец он вынужден был «выправиться» и выравнять свои заключения по общему антисоветскому раунду этого официоза твердолобых.

Говорить о СССР в половинчатых или в туманных выражениях сейчас невозмож-

но: найдется немало людей, которые потянут за язык и заставят не шамкать, а говорить полным голосом: за или против? Когда лебористский депутат Туль вернулся из Москвы, недовольный советскими пивными и стал желчно нападать на высокие цены на масло у частников, рабочие потянули его в избирательный округ и устроили ему такую баню, которая дороговато обошлась его политической карьере: он был забаллотирован в исполком партии, членом которого он до того состоял довольно долгое время.

Невозможно запрятать ни одного замечания о СССР в самую длинную речь или в самую пространную статью без того, чтобы оно не вызвало отклика. Настоятель собора св. Павла в Лондоне Инж выступил в «Ивнинг стандарт» с большой статьей о военной опасности в Европе. Статья представляла одно из обычных невнятных рассуждений о перспективах разоружения. В обильную шелуху слов о важности доброй воли государственных деятелей в проведении христианской доктрины мира священник Инж попытался завернуть открыто интервенционистский абзац о СССР. Он писал:

«Величайшая опасность, по моему мнению, придет из России. Провал сталинского пятилетнего плана сейчас представляется уже обеспеченным. Этот провал повлечет за собой падение советского режима, и что тогда произойдет? Если бы русские были европейцами, кем они, откровенно говоря, не являются, они создали бы благоприятную обстановку, но они создадут военную монархию типа наполеоновской».

Это замечание, сделанное вскользь, вызвало немедленный отклик Бернарда Шоу, который на другой же день поместил в газете следующее письмо:

«Интересная статья д-ра Инжа о перспективах мира кончается предупреждением, что если русская революция закончится наполеоновской диктатурой или восстановлением царизма, Россия может снова стать страшной угрозой европейскому миру. Из этого вытекает очевидное заключение, что друзья мира должны напрячь все нервы, чтобы поддержать советское правительство и искренно желать успеха его образцовой пятилетней схеме. Мы нуждаемся в пятилетней схеме в этой стране. Если перемена настроения в сторону мира искренна, мы не должны ненавидеть Россию за ее заключение мира в Брест-Литовске и за ее постоянное пренебрежение миротворческим блефом держав в Женеве».

Особенность всей той уймы статей, докладов и выступлений, которые явились следствием поездок в СССР, заключается в том, что к авторам и докладчикам нельзя применить поговорки «врут, как очевидцы». Это относится и к друзьям и к врагам. Они не могут игнорировать фактов, они их

только видят по-разному и разные из них делают выводы. Что поражает одинаково и друзей и врагов — это, во-первых, темпы, а, во-вторых, невиданный трудовой подъем масс. Друзья говорят: это возможно только при социализме; враги говорят: это страшная угроза капитализму. Друзья говорят: это вдохновение социалистического труда; враги говорят: это погребение капиталистической системы труда.

Приват-доцент Кэмбриджского университета, Морис Добб, так описывает Сталинградский тракторострой:

«Здесь темпы и высокая техника Америки. Здесь быстрота значительно большая, чем в Чикаго в середине последнего столетия, чем быстрота так называемого «экономического чуда» в Японии на переломе столетия. Можно в самом деле сказать, что Волга засыпает свои пустынные берега «социалистическими Чикаго». Что важно, это то, что здесь — американская техника и темпы без капитализма; и это делает все различие. В Сталинграде — новые Чикаго без страсти к стяжательству, без эксплуатации на классовом базисе, без хаоса и анархии, без биржевой спекуляции, без капиталистических трестов, без финансовых мошенников, без бандитов и пудеметчиков, но зато с социалистической планированной экономикой и с коллективными усилиями рабочих, строящих свой собственный город».

Вот то, что поражает в той Америке, которую открывают едущие в СССР иностранные Колумбы. В самом деле, в Соединенные Штаты ежегодно едут сотни тысяч англичан; едут, возвращаются, — и ни статей, ни дискуссий, ни лекций, ни диалогитов. Что же особенного есть в Америке? Темпы? Техника? Верно, есть. Но Америка достигла уже кульминационного пункта, до которого может идти капиталистическое хозяйство, — она уже у последней черты. А СССР только у истоков своего развития, и техника и темпы здесь уже американские и сверхамериканские. И в основе советского производства и советских темпов лежит социалистическая организация труда и плановое хозяйство. По сведениям приват-доцента Добба, в течение 1930 г. СССР посетило 10.000 иностранцев. Это значительно уступает количеству путешественников и пассажиров в Америку, но можно уверенно сказать, что о СССР в Англии было в сотни раз больше отчетов, докладов и всяких других публичных выступлений.

Факты нельзя олицетворять, по поводу них можно лишь делать противоречивые выводы и заключения. Факты вынуждены признавать и ослепленные классовой ненавистью в СССР представители финансовой буржуазии и даже земельной аристократии. Это священник Инж, не бывший в СССР и строящий свои умозаключения на основе информации «Дэйли майль», что-то бормочет насчет провала пятилетки. Но даже

корреспондент «Морнинг пост», органа зоологической твердолобой реакции и кликушествовавшей аристократии, вынужден признать, что с выполнением плана дело идет неплохо:

«К концу первых двух лет, — пишет Рендолл Гейменсон, поместивший в «Морнинг пост» серию статей после возвращения из СССР, — программа была в большей своей части выполнена и в некоторых областях перевыполнена. Успех опьянил наиболее молодых и пылких коммунистов и привел их к лозунгу: «Пятилетка — в четыре года». За границей часто говорят, что пятилетний план накануне провала, что тлеющие угольки недовольства могут в любую минуту превратиться в пламя восстания. Это преувеличивает ситуацию. Что угрожает, так это не пятилетка сама по себе, а та спешка, которую проявляют партийные фанатики».

Разумеется, представитель «Морнинг пост» делает не те выводы, которые делает профессор Добб Завороженный темпами, «спешкой», он, Гейменсон, после некоторого размышления приходит к выводу, что это опасно для прочего «цивилизованного мира», и бьет тревогу и приветствует вредителей, которые, по мнению корреспондента, делают полезное дело «раньше всего с точки зрения мирового прогресса». Но факты Гейменсон видел такими, какие они есть. Их невозможно не видеть.

Говорят, каждый видит то, что хочет. Это не так. Вернее будет сказать — каждый видит так, как хочет. Вот лэди Мюриэл Пэдджет прилетела в Ленинград на аэроплане, она была ошеломлена тем, что никто не забрал ее бриллиантовых серег и колец и что на улицах никто не напал на нее и не ограбил, хотя она очень хотела этого, чтобы привезти в Англию ужасную сенсацию об ужасных большевиках. Она попала в бывший дворец бывшего великого князя Дмитрия Павловича и обнаружила там рабочий клуб, и в нем было чисто, бодро и весело. И она вынуждена была рассказать об этом читателям «Дэйли экспресс», не скрыв своего разочарования.

Это тоже сенсация, но не того сорта, о которой она хотела рассказать на страницах «Дэйли экспресс».

Вообще говоря, этой газете, как впрочем и «Морнинг пост», и «Таймс», и всем другим реакционным газетам, не повезло на советские сенсации. Как не удалось приключение лэди Пэдджет, так не вышло ничего и из шумно разрекламированной серии статей канадского журналиста Кэчама, постоянного московского корреспондента «Дэйли экспресс». Кэчам после годичного пребывания в Москве и в других центрах СССР прибыл в Лондон. Редакция предложила ему написать «всю правду» о СССР, так как, находясь в Лондоне, ему, Кэчаму, нечего бояться советской цензуры и он может показать «Россию без маски». Кэчам поместил полторы дюжины статей в «СССР,

без вуали», и, если отбросить всю шелуху обывательских жалоб на дороговизну вина в вагоне-ресторане и на высокие цены в гостинице и на частном рынке, статьи эти все же сводятся к одному: пятилетка побеждает. «Она приобрела мировую известность, и ее успешное завершение определяет будущее страны. И сейчас это — вопрос чести для всего большевистского движения». Факты экономического расцвета в СССР настолько очевидны, что Кэчам не рискует, подобно Инжу, говорить о провале пятилетки, и потому он делает такое дипломатическое и, в конечном счете, не такое уж двусмысленное заключение:

«Раз индустриальная оболочка Советской России открывает для нее перспективы чего-то реального и жизненного, значит квалифицированный труд, капитализм и частная инициатива на протяжении десятилетий остаются в положении ложного превосходства. Если Россия, другими словами, права, тогда весь мир ошибается».

Таковы размышления вслух твердолобого журналиста, который должен был по поручению редакции органа Бивербрука выпустить клубы ядовитых газов на пятилетку, но который вместо этого только поделился своими сомнениями: а не заблуждается ли капиталистический мир относительно перспектив международного экономического развития?

И оттого, что фактов отрицать нельзя, их остается либо игнорировать, либо извращать. Однако пятилетка — ее отражение во всем ходе индустриализации страны и социалистической перестройки сельского хозяйства — не тот факт, который можно игнорировать. Сначала буржуазная пресса считала достаточным замалчивать успехи СССР и подхватывать и раздувать все малейшие неудачи, прорывы и заминки. Но тот факт, что СССР — единственная страна, не знающая безработицы, снижения зарплат и экономической депрессии, что Советский Союз завоевывает себе прочное положение экономически независимого государства и приобретает значение все более влиятельного международного политического и экономического фактора, что пятилетка является величайшим стимулом и выражением творческого экономического подъема страны, замалчивать стало невозможно. Остается извращать действительность.

Это тоже не совсем простая проблема: в капиталистической прессе возникла даже большая дискуссия по вопросу о методологии извращения смысла и достижений пятилетки. Одна часть прессы доказывала, что следует преуменьшать успехи пятилетки и утверждать, что дело идет на провал. Другая часть прессы, наоборот, стояла на той точке зрения, что значение и успех пятилетки следует всячески преувеличивать, раздувая их в актуальнейшую угрозу прозрачному экономическому «равновесию» Европы и всего мира, взваливая все

невзгоды экономического кризиса на пятилетку — источник демпинга и «дезорганизации мировой торговли».

Вопрос решил лидер консервативной партии Болдуин, продолжающий считать себя неофициальным премьером Англии. Он выступил в Ньютон-Аботе с речью, в которой отверг версию о провале пятилетки. Он стал на ту точку зрения, что пятилетка не была бы опасна, если бы ее ожидала неудача. Он отверг также точку зрения либерального «Экономиста», что пятилетка опасна даже в том случае, если эта программа будет выполнена не в пять, а в десять лет. Болдуин видит опасность в том, что пятилетка, во-первых, выполняется и, во-вторых, выполняется в срок более короткий, чем даже намечался ее авторами. Болдуин изложил свой взгляд в следующих выражениях, которые, если отвлечься от перлов его твердолобого остроумия, не оставляют места для недомолвок и недоумений:

«Я хочу сказать несколько слов о предмете серьезнейшей важности, и, я надеюсь, никто из вас не выпрыгнет из своего стула, если я рискну произнести слово «Россия». Я не имею намерения сказать что-нибудь о России непосредственно, я хочу только подчеркнуть, что в настоящее время она — величайшая потенциальная угроза нашему экономическому развитию, и по следующим мотивам. Россия сейчас работает над тем, что там называют пятилетним планом. Вкратце, это план индустриализации в течение пяти лет, иными словами вооружения России обширной производственной мощью для выработки товаров на экспорт. Она платит за это преимущественно принудительным трудом, извлечением всех денег, которые можно вытянуть внутри страны и которые можно выручить от продажи пока главным образом сырых материалов. Вы слышите много разговоров по поводу предоставляемых нами России кредитов. Она не нуждается ни в каких кредитах, чтобы покупать у нас. Она продает нам в четыре или в пять раз больше, чем покупает. Она в состоянии купить много больше, чем покупает у нас без единого фардинга кредита. Кредиты, получаемые у нас, употребляются для содействия выполнению пятилетки. Другими словами, мы помогаем финансированию того самого оружия, которое имеет своим назначением подорвать наши жизненные корни. Русские имеют все права считать, что они должны вызвать мировую революцию. Я не хочу революции в Англии, и поэтому я имею все права предпринять такие шаги, которые в состоянии остановить ее. Наши враги могут плакаться по поводу демпинга. Я же не намерен хныкать, я намерен прекратить его. Демпинг еще не стал серьезной опасностью, потому что русские не готовы. Помните, славяне никогда не были большими организаторами; однако

пятилетний план дает вам в натуре образец того, что славяне могут дать при посредстве мобилизованного труда, руководимого умами американцев и немцев. Хорош ли, плох ли капитализм, но он является системой, существующей в этой стране, и я не позволю никому ущемить эту систему. Если этой системе суждено быть свергнутой, пусть свергает ее наш собственный народ. Мы в состоянии справиться с нашими делами без вмешательства России или какой-либо другой страны.

Таким образом дискуссия о том, как относиться к пятилетке, была прекращена вмешательством вождя консерваторов, забившего тревогу по поводу опасности для капитализма, которую несет преуспевание пятилетки. Вслед за Болдуином в один тон затрубила вся консервативная пресса. Все твердолобые лидеры на своих обычных недельных выступлениях в избирательных округах кричат об ужасах, которые несет европейской цивилизации пятилетка. Некоторые депутаты, просто в силу лояльности к своему вождю, повторяют аргументацию Болдуина; однако часть депутатов принялась всерьез изучать цифры пятилетки. Любопытно было наблюдать сканью консерваторов в парламенте в день прений о «принудительном труде» в СССР. На этих скамьях твердолобые интерпеллянты, готовившиеся к своим выступлениям, тщательно вчитывались в книжку т. Гринько «Пятилетний план», изданную английским коммунистическим издательством. Консервативный лидер задал своим последователям работу, которой они могли бы избежать, если бы восторжествовала «установка» на простую дискредитацию пятилетки, как провалившейся большевистской утопии. Но путь избран.

3

А раз путь избран, вся машина капиталистической пропаганды запущена на полный ход. Пресса, церковь, трибуна — вся мощнейшая система организованного буржуазного очковтирательства — заработали с ошеломляющей интенсивностью. Газеты сейчас с разных сторон подходят к разъяснению угрозы, заключающейся для Англии в факте индустриализации СССР.

Тон задал конечно солидный «Таймс», имеющий назначением идеологически оформлять и вдохновлять консервативную мысль Англии. Углубляя Болдуина, «Таймс» подчеркнул, что дело не столько в пятилетке, сколько в той хозяйственной системе, которая пятилетку породила. Пятилетка — продукт социалистического строительства, и именно поэтому нужна борьба с пятилеткой, так как торжество пятилетки означает торжество социализма над капитализмом. «Таймс» объясняет эту мысль не на языке агитационной риторики, а на языке трезвого коммерческого расчета.

«Масштабы, в которых советское пра-

вительство проводит свои операции, и его абсолютный контроль над трудом и зарплатой, позволяя ему, в любой данный момент продавать свою продукцию по ценам, с которыми ни один частный предприниматель или кампания не в состоянии конкурировать. Оно может дезорганизовать рынки где и когда пожелает и имеет то преимущество, что может дезорганизовать рынки для своих собственных целей. Торговать с такой монополией на сколько-нибудь терпимых условиях возможно только, если торгующие страны в свою очередь объединены в соответствующем масштабе. В противном случае они так же беспомощны, как медные деревенские лавочки в их операциях с большой монополитической корпорацией».

Масштабы пятилетки ввергают «Таймс» в священный ужас. Газета со скрежетом зубным говорит о том, что рост коллективизации означает удар по доминионам, так как СССР побьет Канаду и Австралию качеством и ценой своего хлеба, и что рост индустриализации СССР означает не только потерю России как рынка сбыта английских изделий, но и приобретение нового мощного конкурента на мировом рынке, в особенности на восточных рынках, конкурента, с которым трудно бороться именно в силу его «мощности и «особой системы организации», в силу «превращения России в большую государственную монополию, контролирующую все производство, торговлю и все другие стороны хозяйственной жизни в масштабе, не имеющем параллели в истории».

Борьба с такой системой хозяйствования, по мнению «Таймса», не под силу одной капиталистической стране. Англия должна добиться единого фронта буржуазных держав для общей борьбы против пятилетки, этого «злочастивного продукта большевистской монополии».

Таким образом, поскольку пятилетка — только следствие определенной хозяйственной системы, борьба с которой требует единения всех сил международного капитализма, — постольку призыв к этому объединению является повторением в новой форме старых лозунгов борьбы против советской системы, против социалистических основ хозяйствования в СССР. Иначе это означало бы бить не по коню, а по оглоблям.

Все реакционные газеты, журналы, повеленники и агитаторы усвоили эту несложную концепцию: пятилетка — гроза, потому что она — продукт социализма. Черносопная «Дэйли майль» подхватила обреченную лордом Brentfordом (Джойнсон Хикс) идею создания «общества боевого сопротивления разрушениям от пятилетки» и основала инициативную группу для организации о-ва борьбы против пятилетнего плана. Впоследствии, когда твердолобые открыли кампанию против советского экспорта под видом борьбы против применения «принудительного труда», эта идея

создания общества борьбы с опасностями пятилетки была оформлена в виде «союза защиты родины от экономической войны» во главе с тем же Джиксом, полковником Белларсом, Локкер-Лэмпсоном и другими антисоветскими держимордами.

Воскресные проповеди в церквях посвящены, в основном, «экономической и военной угрозе с Востока». Тезисы проповедей печатаются в религиозных газетах и журналах как руководящий материал для попов разных верований. Орган методистской церкви «Методист рекордер» призывает к священной войне против Советского Союза, употребляя обычную для антисоветской военной пропаганды терминологию и аргументацию, в основе которой лежит утверждение, что СССР лихорадочно готовится к войне. Газета в статье «Угроза пятилетки» пишет:

«Успех «пятилетки» или пятилетнего плана (а мы уже подчеркивали, что раньше или позже, раз нынешний режим остается, план будет выполнен) сделает из России, может быть, величайшую экспортную страну в мире, притом экспортную не только сельскохозяйственную продукцию, но и промышленные товары. Таким образом она вступит в конкуренцию с другими промышленными странами и всюду наткнется на стену таможенных тарифов. Это делает совершенно понятным смысл и назначение ее военных приготовлений... Демпинг дал нам возможность вкусить то, что мы должны ожидать в гораздо большем размере и ассортименте, нежели только хлеб и лес, когда пятилетний план будет реализован. Пятилетка имеет своей целью разрушить полностью каждую капиталистическую страну, которая оставляет открытую дверь для русского торгового, и она не остановится перед насильственным открытием дверей там, где они закрыты».

Другая лондонская влиятельная церковная газета «Гардиен» договаривает то, о чем намекает орган методистов:

«Те, — пишет она, — кто настаивают на разоружении европейских стран, должны быть строго предупреждены не делать этого, — они должны держать свой порох сухим для использования против безбожной России, одержимой стремлением свергнуть христианство при посредстве мировой войны».

Так поповский «агитпроп» переводит на свой язык, на язык крестового похода против СССР, идею «Таймса» о создании единого экономического фронта против пятилетки. Церковные проповедники говорят не только об экономическом, но и о военном фронте не потому, что они дальновиднее «Таймса», а потому, что они невоздержаннее на язык и выбалтывают то, что на уме и у них и у их твердолобых вдохновителей и идеологов.

Реакционные круги пытаются превратить пятилетку в жулел, в орудие острастки средних и мелких буржуа и в то же время, в орудие военной пропаганды против СССР. Они даже пробуют идти с этой пропагандой и в рабочие массы, надеясь, что lamentации об угрозе миру и цивилизации со стороны пятилетки отвратят пролетариев от пагубных симпатий к коммунизму. Но, как и всякая антисоветская пропаганда, она вызывает в массах невиданный еще интерес и восторженное сочувствие социалистическому творчеству советских пролетариев. Лекции о СССР привлекают обширные аудитории рабочих, которые, как правило, заканчиваются бурными демонстрациями одобрения и энтузиазма. Советские кинофильмы, допускаемые обычно к демонстрированию в «закрытом» порядке только для членов общества рабочей кинематографии и их друзей, по приглашению, неизбежно превращаются в шумные манифестации и покрываются пением «Интернационала». Понятие «пятилетка» в сознании английских рабочих целиком ассоциируется с понятием «творческий социализм». На конференции «независимой рабочей партии» рабочие делегаты на первом же заседании выразили протест против действий организационного комитета, поставившего резолюцию — приветствие рабочих СССР по поводу успешного выполнения пятилетки — не на первое место. Инцидент удалось уладить лишь благодаря вмешательству лидера партии Мэкстона, обещавшего, что резолюция будет обсуждена в тот же день. Во всех зданиях профсоюзов висят карты пятилетки. Реакционные вожди тредюнионов не рискуют противоречить требованиям и желаниям рабочих знать больше о СССР. Участники делегаций кооператоров, профсоюзников, парламентских деятелей и т. п. приобретают или теряют популярность в широких массах в зависимости от того, каково их отношение к виденному в СССР.

Гигантский размах социалистического планирования в СССР воодушевляет рабочие массы Англии на решительное сопротивление интервенционистско-бюрократическим действиям твердолобых. С этим настроением рабочих масс вынуждена считаться и верхушка «рабочей партии». Она, не рискуя открыто солидаризироваться с консервативными зубрами, проводит полновинчатую (по существу провокационную) политику против СССР, но на словах пытается даже демонстрировать свое «положительное» отношение к Советскому Союзу.

Но если лидеры лейбористской партии вынуждены занимать двойственную дипломатическую позицию по отношению к СССР, чтобы, с одной стороны, не противопоставлять себя настроениям масс и не подвергаться риску попасть в положение неудачливого лейбористского депутата Тулла, а чтобы, с другой стороны, не обнаруживать полного банкротства дряхлящего лейборизма пред лицом торжествующего со-

циализма в СССР, — то рядовые и особенно те из них, которые пытаются «мыслить самостоятельно», не могут скрыть своей растерянности и в то же время изумления и восхищения картиной общего хозяйственного расцвета и социалистического подъема в Советском Союзе. Героический энтузиазм масс, их концентрированная энергия в борьбе за «сверхамериканские» темпы, грандиозность социалистических планов — особенно на фоне экономического распада капиталистического мира, — все это импонирует мелкобуржуазной, мнимореволюционной оппозиционности не только «левых» лебористов, но и так называемых «молодых», типа Мосли и Строчи, а также представителей прогрессивной интеллигенции, в роде Бернарда Шоу Уэлса и др.

В свете экономической бесперспективности Великобритании, дряблости буржуазных и социал-демократических политических идей, разброда интересов среди разных слоев буржуазии, общего застоя и упадка культурной жизни, резкого обнищания масс и непрерывно растущей, ужасающей и изнурительной безработицы экономический расцвет СССР, боевое единение масс вокруг идеи социалистического переустройства страны, уверенное, смелое и инициативное руководство партии и ее ЦК, общероссийский авторитет и вождя т. Сталина, невиданный культурный подъем масс и обширный рост научной жизни, систематическое повышение материального уровня масс и общего благосостояния страны, полная ликвидация безработицы и развернутая в размерах, не имеющих параллели в истории, подготовка новых кадров во всех областях хозяйственной и культурной жизни страны — все это, рождая страх у Болдуина и его единомышленников, вызывает зависть и вдохновение у «молодых» идеологов спасения капитализма.

Трудовой подъем масс они склонны рассматривать как следствие господства среди них чувства, похожего на спортивный азарт. Выполнение плана, — считают они, — это не больше, как финиш, к которому массы Советского Союза придут в своем соревновании с капиталистическим миром. Они не понимают, что вдохновить десятки миллионов рабочих и крестьян на такой «азарт» может отнюдь не спортивное состязание, а идея, целиком захватившая массы, и потому, по выражению Маркса, ставшая материальной силой. Мосли и его сторонники объясняют успешное хозяйственное развитие СССР тем, что в его основе лежит план. Мосли игнорирует то обстоятельство, что план этот — социалистический, т.е. единственный, который в состоянии двигать миллионные массы на подвиги.

И оттого, что мелкобуржуазные политики Англии увлекаются внешней организационной формой пятилетнего плана, не принимая во внимание социалистического нутра этого плана и возможности его осуще-

ствления только в стране пролетарской диктатуры, — они приходят к идее, которая начинает их все более и более воодушевлять: к идее прививки плана к капиталистическому хозяйству.

Первым заронил мысль о плане для капиталистической Англии серьезный либеральный журнал «Экономист», выпустивший специальное приложение, посвященное советской пятилетке. Этот журнал пытался ослабить впечатление, которое должно было произвести описание советской «пятилетки в действии», данное в приложении на основе наблюдений специально выехавшего в СССР представителя редакции. Журнал в передовой статье указывал, что пятилетка — продукт советского происхождения, не пригодный для пересадки на грядку великобританской экономики. Тем не менее мысль о плане для Британии была подхвачена, и другой серьезный либеральный журнал «Нейшон», комментируя статью «Экономиста» и приходя к заключению, что в СССР в результате проведения пятилетки «имеются грандиозные достижения, и героические масштабы дела воодушевляют воображение», высказал предположение: почему бы и Англии не испытать благодетельное действие плана.

«Предположение, что мы можем кое-чему научиться у Советов, вовсе не фантазия. Британия следовало бы позаимствовать кое-что из советской движущей энергии» — писал «Нейшон».

Редакция журнала конечно не считала возможным введение сразу пятилетнего плана в Англии, но полагала, что для начала можно было бы приняться за... двухлетний план, который «несколько напоминает пятилетку в СССР, хотя его, разумеется, невозможно сравнить по масштабу и по опасностям, сопровождающим промышленную и аграрную революции».

Идея введения плана в капиталистическое хозяйство Англии стала постепенно овладевать головами мелкобуржуазных путаников, и они принялись эклектически перелицовывать советскую хозяйственную систему на английский капиталистический лад. Журнал «независимой мысли» «Недельное обозрение», подобно «Экономисту», выпустил специальное приложение под заглавием «Национальный план для Великобритании», в котором дан подробный проект плана хозяйственного развития Англии, плана, представляющего собой жалкое обезьянничанье и редчайшую убогость мысли. Одна из первых глав обширного комментария к плану озаглавлена: «Генеральная линия». В этой главе изложены следующие основные пути построения «национального плана»: а) генеральная функциональная реорганизация, б) ограничение государственного контроля до самых существенных отраслей хозяйства, в) ответственное самоуправление промышленности, г) планирование внешней торговли, д) настойчивость и гибкость во всех областях, е) активное сотрудничество с коло-

ниями и доминиянами и ж) динамическая политика мира.

Эта программа укрепления британского империализма на основе «плана» снабжена специальной схемой «генеральной функциональной реорганизации», предусматривающей, что во главе страны остаются... король и парламент. Им среди других органов непосредственно подчинена «государственная плановая комиссия» (Госплан). Госплану подчинены: центральная палата изысканий, статистическое бюро, институт стандартов и проектов, комиссия национальных музеев и департамент технических организаций. Затем создается целый ряд хозяйственных департаментов и советов, среди них: «совет связи», «транспортный совет», «химический совет», «топливно-осветительный совет», «текстильный совет», «совет внешней и внутренней торговли» и т. п. Все эти советы имеют своим назначением планирование и регулирование деятельности частных фирм на основе, обеспечивающей развитие их доходов и вообще процветание капиталистической инициативы.

Этот план подвергается обсуждению. Мо-сли однако уже включил основные положения этой «пяtilетки спасения капитализма» в программу образованной им «новой партии». Отчаявшись в возможности «зажечь» впавшую в состояние прострации буржуазную интеллигенцию какой-либо идеей, которая увлекла бы не только ее, но и сколько-нибудь значительные слои населения, «молодые» носители лозунга «политики действия» (на этом лозунге, кстати, скрещиваются симпатии крайних твердолобых типа Бивербрука и крайних «левых» дебористов типа Мосли, симпатии, перерастающие в тенденции английско-го «гитлеризма») пытаются «встряхнуть нацию» и вывести капитализм из тупика при посредстве «плана». Аргументация молодых буржуазных политиков очень несложна: смотрите-де, какие чудодейственные результаты дает советская пяtilетка: раз национальный гений Великобритании не мог додуматься сам до этого великолепно-го средства мобилизации творческого духа народа, пусть нам не будет зазорно поза-

имствоваться у большевиков и создать свой план восстановления экономической мощи Британии.

Буржуазные и мелкобуржуазные пророки «молодой» Англии находятся в состоянии «брожения умов». Отощавшая, обрехлевшая, беспокойно мечущаяся в поисках кислорода буржуазная политическая мысль все пытливей вглядывается в то таинственное и могущественное, что совершается за советским рубежом. А то, что там совершается, превратило СССР в синоним молодого творческого вдохновения, полнокровного экономического, технического и культурного прогресса, неиссякаемой конструктивной энергии, сосредоточенной целеустремленности и гармонического единства интересов, идей и методов борьбы, единства миллионов неукротимых волей.

Это воднует, гипнотизирует и в некоторых плоских мелкобуржуазных умах рождает противоестественный симбиоз идей и иллюзий. Потрясенные видом оскудевшего, впавшего в старческий маразм капитализма, буржуазные и мелкобуржуазные политики не могут оторвать своих взоров от зрелища бурной, юной созидательной силы, которую представляет собой СССР, и все больше увлекаются наивной и навязчивой идеей, будто капиталистическое хозяйство может быть омоложено при посредстве введения в него «гормонов» советского планирования.

Но если «молодые» буржуазные «стейтсмены» все больше одушевляются этой утопией, то рабочие массы она только энергичнее толкает по пути восприятия всего советского как своего «отечественного». Они берут СССР полностью, таким каков он есть, — как практическое выражение социализма в стадии претворения из лозунга в реальность. Они тоже загнипнотизированы видом разворошенного и бурно перестраивающегося советского государства. Они шлют делегации за делегациями в СССР, и их глазами созерцают героический опыт советских пролетариев, принимая его как «руководство к действию».

Они созерцают с жадностью и волнующей сосредоточенностью, потому что как же иначе можно созерцать свое будущее?

Книжное обозрение

1. Литературно-художественные сборники „Недра“. Ю. Добранова. — 2. Вл. БАХМЕТЬЕВ „Медленная стрела“. ;Арк. Глаголева. — 3. С. БЫТОВОЙ „Улица стачек“, М. ПРИИНИ „Земля“, П. ЛУКИЦКИЙ „Перевод“. Инн. О к с е н о в а. — 4. С. СПАССКИЙ „Особые приметы“. Н. П о с т у п а л ь с к о г о. — 5. Гар. ГЕЗАОП „За бортом жизни“. К. Л о к с а. — 6. Л. ТУРЕК „Пролетарий рассказывает“. Я. Ф р и д а.

Литературно-художественные сборники «Недра». Книга двадцатая. Изд-во «Недра». 1931 г. Стр. 291. Ц. 2 р. 50 к.

Двадцатая книга «Недра» — явление любопытное, хотя и не радующее. В сборнике есть известное единство, заключающееся в стремлении «отсидеться» от нашего требовательного времени.

Дело тут даже не в тематике, в которой реконструктивный период не получил почти никакого отражения. Дело в самом духе сборника. Это чиновничье благодушное отношение к действительности, при котором острые проблемы современности или сняты (стихи), или обойдены самым сюжетом («Повелитель» Колоколова), или, что еще хуже, даны совершенно несерьезно и поверхностно, так что их не спасает даже тематика с претензией на современность (А. Толстой, Вл. Железняк).

Колхозы Железняка особенно сильно пропахли самым примитивным приспособленчеством и качеством почти однозначных пасторалями «недровского» поэта Андрея Звенигородского. То, что не прикрито в лирике, стыдливо завуалировано в прозе. В лирике решительно, преобладает деревенский пейзаж и притом какой пейзаж. Неиспорченный тракторами и комбайнами, «васильковый», смутно вспоминаемый по старой дореволюционной «Ниве». Поэты «Недр» не грешат ни упадочничеством, ни пессимизмом. Они бодры и оптимистичны, особенно Андрей Звенигородский, который несомненно взял бы первый приз в состязании на райскую безмятежность. Чтобы не быть голословным, выпишу два строфы его с ихотворения:

Бегу к Чернавке
За молоком
Я босиком
По первой травке.
Повеюду звон
И одуванчик...
Как летний сон,
Мой «сарафанчик».

По сравнению с этими мажорными, звонкими строками, столь проникнутыми «пейзанским» прекраснотушим, стихи Орешина выглядят утонченно, что видно по их концовкам: «Два лебеда, как два очарованья, плывут в бассейне моего сознания...» («В Зоопарке»). «Тревожный свист: любимая не вышла, лишь на бугре цветком белеет вишня...» («Машинист»).

Та же печать безыдейного, лишённого эмоциональной напряженности описательства лежит на стихах Герасимова, Шехтера, Черноморцева. Последнему не помогла даже боевая тематика, и его стихотворные «Из цикла ОДВА» так же безразлично описательно, как и другие стихи сборника. Кто дерется, за что дерется — все это неважно, и только из заголовка можно узнать, что дело идет о советско-китайском конфликте. Яркая строка Багрицкого «Жеребец под ним сверкает белым рафинадом» родила все стихотворение Черноморцева.

Проза сборника, открывающаяся авантурной повестью Алексея Толстого «Необычайные приключения на волжском пароходе», также легковесна, безыдейна, лишена эмоционального подема.

Ряд бытовых зарисовок, служащих орнаментом для этой сногшибательной интриги, наполнен с обычным для Алексея Толстого мастерством.

Предположение, что повесть — тонкая пародия на авантурный жанр, существенно не меняет дела. Такая пародия сильно смахивает на самопародию (вспомним «Гиперболлоид инженера Гарина»).

Центральная вещь сборника, повесть Николая Колоколова «Повелитель», развивает интересную тему неудержимого стремления вверх, к карьере, к власти, к славе молодого офицера в обстановке империалистической войны и революции.

Повесть могла бы быть ценной, но у Колоколова нет способности к широкому социальным обобщениям. В ней господствует не историческая закономерность, а случай-

ность. «Вдруг» признает Румянцев режим Керенского, «вдруг» переходит к большевикам, «вдруг» решает изменить им, «вдруг» раскрывается его действительная политическая физиономия знавшим его ранее солдатам.

Зато никаких сомнений не внушает роман Вл. Железняк «Пассажиры разных поездов», произведение, где есть всего понемножку и где все оплошно: и проблема пролетарского искусства, и проблема колхозного строительства и т. д., и т. д.

В книге помещены, кроме того, рассказы В. Вересаева и К. Тренева.

Ю. Добрнов.

Вл. Бахметьев.—«Медленная стрела». Изд. «Недра». М. 1931. Стр. 335. Ц. 2 р. 75 к.

В сборнике собраны вещи, написанные в разное время—от 1910 по 1930 г. включительно. Наибольший интерес представляют позднейшие произведения.

Ряд вещей носит общественно-разоблачительный характер.

В рассказе «Степан Тумаков» разоблачается тип псевдокоммуниста, карьериста, у которого карман с партбилетом прикрывает сердце, глубоко равнодушное к делу коммунизма. «Он был по обыкновению важен за кафедрой, жесты его руки были солидны, голос ровен, но достаточно горяч, и в глазах его светилась неодолимая самоуверенность. Он говорил о бюрократизме, свившем себе гнездо повсюду, о мертвом дыхании в канцеляриях и о тех великих, величайших, как он выразился, задачах, которые стояли перед пролетариатом». Однако все это оказывается лишь маской. Внутреннее же, подлинное существо Тумакова характеризуют совершенно иные «качества». Не принципиальные соображения, не преданность делу пролетарской революции и коммунистической партии, а интересы собственной карьеры, чисто шкурные интересы пролазы и подхалима определяют поведение Тумакова. В «Медленной стреле», также по своему характеру общественно-разоблачительной вещи, перед нами предстает директор фабрики, партиец, совершенно оторвавшийся от живой современности, от передовой рабочей общественности своей фабрики, разваливший производство, замкнувшийся в своем домашнем мирке (где не последнюю роль играет... граммофон) и враждебно относящийся ко всем, как он выражается, «усвоившим современный жаргон».

Словом, перед нами законченный тип правого оппортуниста на практике, чуждого эпохе социалистической реконструкции. В книге имеется и еще ряд рассказов подобного же социального критического характера («Гудки трубили полдень», «Двое»).

Вещи подобного рода—с устремлением в сторону социальной критики—общественно весьма полезны и нужны.

Однако некоторые из этих произведений Бахметьева—по своим размерам наиболее

значительные—выполнены все же далеко не безукоризненно, особенно «Медленная стрела». Общественный критицизм здесь ослабляется шаблонным «психологизмом» невысокого качества. В этом отношении самое наименование рассказа (и книги) до известной степени характерно: сатирические стрелы Бахметьева летят недостаточно быстро. В показе Рудометова, критикуемого автором героя «Медленной стрелы», на первый план выдвигается семейная сторона его жизни, индивидуальный семейный конфликт. В социальную тематику привносятся элементы ненужного мелодраматизма: «прыгающие губы», рыдания «в линючем под фонарями мраке», переходящие в «дикий не то человеческий, не то псиний голос»... Отчетливо воспринимаемая общественно-отрицательные черты Рудометова, мы не можем признать достаточно убедительным показ общественного перерождения героя «Медленной стрелы», ибо основами этого перерождения у В. Бахметьева являются не социально-политические причины, а индивидуально-психологические, случайные: болезнь и выздоровление жены. Не политические и партийные интересы непосредственно двигают Рудометова на пути к общественному обновлению, а стремление ликвидировать семейно-интимный, личный конфликт. «...А главное... у него не было сомнения, что только теперь Анна Ильинишна по-настоящему будет им довольна. Эта мысль о женщине, которая была его женою, с которой он прижил ребенка и которую он теперь брал в судьи, не казалась ему странной». Этот уклон в своей художественной методологии в сторону индивидуально-случайного Бахметьев пытается оправдать такой весьма сомнительный с точки зрения исторического материализма «историософией» «В конце концов даже великие подвиги, приносившие счастье целому поколению, порой возникали по самому незначительному поводу...» Чувствуя шаткость этой тирады, автор сейчас же стремится ее несколько затуманить. «По крайней мере это казалось так тем, кто особо круто поворачивал жизненный корабль...» Однако автор «Медленной стрелы» объективно художественно выдвигает именно «незначительный случай». Образ старого партийца Андреева в рассказе «Степан Тумаков» также лишен надлежащей внутренней четкости. Андреев с его «истрепанным сердцем», «напряженными нервами» излишне «психологизирован». Во избежание опасности оказаться в самых задних рядах бойцов социалистического наступления и Андрееву стала необходима внутренняя реконструкция, что отчасти признает и он сам: «... Мне придется заняться собою» — совершенно верно заявляет Андреев члену районной контрольной комиссии.

В этих вещах В. Бахметьев еще платит дань литературному «психологизму» эпохи восстановительного периода.

В книжке однако имеются вещи и более четко отвечающие литературно-обществен-

ным задачам наших дней. Таков например рассказ «Беспокойный», где намечается образ передового пролетария, подлинного общественника. Этот рассказ может быть полностью включен в пролетарскую литературу эпохи социалистической реконструкции. Положительно может быть отмечен «Одиннадцатый по списку» и некоторые др.

В целом сборник приходится квалифицировать пока лишь только как некое «преддверие» к литературе реконструктивного периода.

Арк. Глаголев.

Семен Бытовой. — «Улица стачек». ЛАПШ. ГИХЛ. 1931. Стр. 64.

Михаил Иренин. — «Земля». ЛАПШ. ГИХЛ. 1930. Стр. 94.

Павел Лукницкий. — «Переход». ГИХЛ. 1931. Стр. 80.

От любого современного сборника стихов (какие бы темы в конце концов в нем ни содержались) мы требуем прежде всего настоящей, неподдельной силы, организующей сознание читателя. Подходя к разбору рецензируемых книг в свете этих положений, мы отмечаем в книге стихов С. Бытового правильность ее общей установки. Тесная связь с современностью, отношение к теме, как к общественно-политической задаче, разрешаемой художественными средствами, — вот основные черты этой книжки, первой книжки поэта. При этом Бытовому свойственно и достаточное для начинающего понимание сложности и собственно поэтических задач — проблем художественного мастерства. Тем самым в наиболее удачных своих стихах Бытовой начинает приближаться к осуществлению принципов «высокой агитки».

Пафос «Улицы стачек» — пафос молодости, отдающей себя Советской стране («... Страна выводит на бой»).

...Только с этой строфы
Выступает большое начало.
Все на третий десяток проходит само по себе...
Мы еще — молодежь!
Нас еще ни черта не качало —
Это первый призыв и присяга пришедшей
борьбе.

Бытовой не ограничивается однако подобными декларативными высказываниями, он широко пользуется конкретным бытовым материалом современного Ленинграда, еврейской провинции и т. д. В частности по линии «еврейской» тематики Бытовой обнаруживает себя как успешный продолжатель соответствующих опытов М. Светлова:

...По стеклам продымленным хлопают старши,
Жестяные ходки бьют второпях.
Хозяин окован тревогой недавней,
Он скучно помолится про себя.

Он ляжет в кровать, переменит рубашку,
Забудет неделю и звонко заснет,
Пока полулунне петлюровской пашкой
Оквозь окна по горлу его полоснет.

Если не каждое стихотворение Бытового достаточно остро политически, зато во вся-

ком случае почти все его вещи имеют правильный общественный прицел.

Недочеты художественного порядка в «Улице стачек» конечно имеются (было бы странно, если бы их не было в первой книжке): стертость или непродуманность образа, неточности синтаксиса, шероховатости языка. Учителями Бытового в поэтическом мастерстве являются повидимому В. Саянов, И. Садофьев, Б. Пастернак, отчасти М. Светлов.

Таким образом в лапповском поэтическом активе Бытовой представляет собою молодое, но уже положительное явление, которому очевидно предстоит дальнейшее «самоопределение».

Другая книга стихов под маркой ЛАПШ принадлежит Мих. Иренину («Земля»). Это тоже первый сборник поэта. Иренин сильнее Бытового. Круг тем и материала, выбор изобразительных средств у Иренина весьма богат и широк. И все же эта книга вызывает у нас большие принципиальные сомнения и возражения.

Мы оговариваемся заранее: в «Земле» есть ряд идеологически полноценных, общественно звучащих стихотворений (например «Рассказ о воинствующем мещанине», «Товарищу» и др.). Но в целом на книге лежит, как это ни странно, отпечаток какого-то очень культурного академизма, который является следствием отсутствия своего творческого метода. Внешним образом это проявляется в эклектизме Иренина, в его умении писать стихи в любой поэтической манере, — под раннего Тихонова, под Гумилева и т. д. Его творческая практика говорит о том, что литературное мировоззрение поэта еще не стало частью его общественно-политического мировоззрения, а живет как-то «само по себе».

Потому-то на «Земле» и лежит печать нейтральности, потому-то в трактовке некоторых больших тем Иренин находится на грани чисто эстетического подхода к материалу, и потому же наконец наиболее сильными и своеобразными оказываются такие его стихи, как «Скотобойня», «Конокрады», «Коновалы» (темы этих вещей, определяемые заглавиями, разработаны вне социального плана, в густых физиологических тонах). Вообще для книги Иренина характерен тот налет «земляной» стихийности, физиологического натурализма, которым окрашена известная одноименная фильма Довженко.

Для «Земли» характерно открывающее книжку стихотворение «Ветеринар», очень хорошее по своим изобразительным средствам и вместе нейтральное, лишенное социальной действительности:

...И он, целитель жеребцов,
Он любит песни и качели,
Он ходит ночью на крыльцо,
Играет на виолончели.

А утром руки в сулему,
И все такое позабыто,
Когда страдалца ему
Протянет жарвое копыто...

Напомним еще раз, что в этой же книжке в отдельных стихотворениях и строках период Ирининых раскрывается и другие пути и возможности, что порою он умеет социально заострить тему (например о «частной лавочке бытия» в «Рассказе о воинствующем мечанине»). Но в целом поэтическое творчество Иринина, на наш взгляд, не вышло за пределы «внутреннего популизма» в ЛАПП.

Книга стихов П. Лукницкого «Переход», хотя и вторая по счету у автора, является по существу первым сборником, в котором поэт проявляет свою индивидуальность. Большая часть перехода занята темами советского Востока — Закавказья, Туркмении, Памира. Этот материал, переставший быть «экзотикой» со времени «разоблачительной» работы над ним Н. Тихонова, берется Луницким под принципиально правильным углом зрения. А именно: Лукницкий, следуя Тихонову, не поддается традиционному обаянию восточной романтики, но вскрывает порою довольно удачно новые специфические черты советского Востока, изображая например председателя сельсовета на Памире («Разговор в ущелье, Бартанг») или рисуя еще обычную на Востоке социальную трагедию женщины («Первая женщина кули»). Нам думается однако, что Лукницкий далеко еще не исчерпал в этих стихах материала, имеющегося у него в результате его путешествия на Памир («Спутник убитый. Басмаческий плен. Полгода со смертью брата...»). Поэту необходимо стремиться к большей социальной нагрузке стихов, к преодолению остатков эстетической нейтральности, образцом которой (по нашему мнению, напрасно включенным в книгу) является поэма «Каботаж». Эта поэма является одним из худших отголосков недавно пронесшегося в нашей поэзии некритического подражания Хлебникову. Эта «хлебниковщина», усиленно пропагандируемая Н. Степановым, принесла немало вреда молодым поэтам, сказавшись и на некоторых лаповцах. При этом основой для подражания бралось не лучшее у Хлебникова — не «высокий» строй его поэзии, не пафосное его начало, а игра со словом и образом, как таковыми — социально обесмысленная игра, имеющая однако в применении к современным темам определенное общественное — реакционное — значение.

И насколько не удивительно, что подобный «творческий метод» породил у Лукницкого длинную и сумбурную поэму, из которой при всем желании нельзя выжать ничего, кроме хлебниковских задов, добросовестно перепетых и искаживших, надо думать, замысел автора — описание черно-морского путешествия центральноазиатской шахуны. Метод, порочный в самом своем существовании, приводит поэта к пошловато звучащим образом, как только дело касается социальной сути сюжета:

Но разве мы редела даром?
Или у нас стеклянный (?) ером?
Иль солнца не родит Воском?

Ударим по труда гитарам (!).
Кровь струнную переберем!

Если бы Лукницкий, в творчестве которого «Каботаж» повидимому — уже пройденный этап, не включил бы этой пустой, ненужной и отчасти вредной поэмы в свой сборник, книжка была бы правда тоньше, но всяма и всяма выиграла бы. Чем скорее ликвидироваться в нашей молодой поэзии последние остатки «хлебниковщины», тем успешнее будут поэты разрешать те ответственные задачи, которые ставит перед ними реконструктивный период.

Кнн. Сксенов.

Сергей Спасский. — «Особые приметы». Стихи. Изд-во писателей в Ленинграде. 1931. Стр. 80. Ц. 1 р. 25 к. в пер.

Говоря обще, Спасский достаточно «культурен» для того, чтобы книга его ощущалась как книга поэта. Но если и в прежние времена одной «культурности» было мало, то сейчас и подавно она не решает дела.

Субъективный поэтический мир, изобретенный Спасским, отчетливое выражение получил уже в прошлых книжках поэта. Небogatое идеями творчество Спасского стояло в стороне от широкой дороги советской поэзии. В «Особых приметах» Спасский пробует преодолеть это творческое прошлое, несколько перестроить мировоззрение, видоизменить тематику, реформировать словарь, стих... Попытки эти привели главным образом к тому, что поэт в разбираемых стихах технически вырос. Но Спасскому надо проделать еще очень многое, если он всерьез думает стать подлинным советским поэтом. Очень уж часто его рифмы «рисуют край давно известный»...

Коснемся наиболее актуальных стихотворений. Вот цикл о Ленине. Стихи неплохие, впечатляющие. «Броневик» и «Смольный» например, могут притязать на место в антологий. Однако и эти лучшие вещи — преимущественно описательны и импрессионистичны. Они не дают никакого закономерного решения темы (меньше относится это к «Броневику»). Они «внеклассовые», написаны свидетелем, не больше... Цикл «Разговор с пригородом» (хронологически свежие стихи) — опять-таки в такой же степени описателен и импрессионистичен. Отметим конечно, что у этих стихов есть уже более конкретная база. («Черным обозом легли цеха — это приметы Нарвского быта, это Путиловца долгий гром. Здесь он хозяйствует сановито, время шевелит, как медный лом... И, соревнуясь, того же металла брус раскаленный я плющу в речь»). Отметим, что в этом цикле поэт отказывается (теоретически) от делячества и внешнего преклонения перед «индустрией вообще», пытается говорить не об «искусственной природе», а о «главном». Но как уже указывалось об этом, даже здесь социализм не назван по имени: о нем поэт говорит невнятно...

Неудивительно, что, потерпев известный крах в работе над таким материалом,

поэт неглубок и в поэме о Ломоносове, и в цикле «Юность»; безыдеен он и в таких стихотворениях, как «Украина» и «Днепр».

Поэта, действительно идущего к революции, ждет признание и творческий рост. Выдержит ли Спасский этот экзамен или нет, — здесь сказано только то, чего заслуживают его «Особые приметы».

И Поступальский.

Гарольд Гезлоп. — «За бортом жизни» Авторизованный перевод с рукописи Л. Слонимского. С предисловием И. Звавича. ГИХЛ. 1931. Стр. 230. Ц. 1 р. 80 к.

Роман Гезлопа принадлежит к числу немногих произведений молодой пролетарской литературы в Англии. Сюжет его несложен и прост. Дочь углекопа Марта. Дарк в поисках заработка попадает в Лондон. Ей удается поступить горничной к одной буржуазной даме, где хорошо относятся к прислуге и заботятся главным образом об ее нравственности. Несмотря на это, она знакомится в театре с одним молодым человеком Рэсселем, приказчиком книжного магазина, и вскоре выходит за него замуж. После этого начинается ряд испытаний: у Марты рождается ребенок, Рэсселя сокращают во время рационализации торговли, — безработица и нищета едва не доводят Марту до проституции. Рэссель становится чернорабочим и на металлургическом заводе получает тяжелое ранение, от которого выздоравливает медленно и долго. Дочь Марты умирает, и к тяжелым материальным лишениям прибавляются нравственные страдания. Семье безработных помогает проститутка Патти, все остальные обнаруживают полнейшее равнодушие. Драма кончается сравнительно благополучно, так как в конце концов Рэсселю удается найти кое-какую работу. В романе хорошо изображены поиски работы, биржи труда, хозяева металлургического завода, обвиняющие Рэсселя в поломке машины, изувечившей его. У автора нашлись нужные слова, убедительные образы, и если самый сюжет не блещет изобретательностью, то все же в этой его обычности заключается неоспоримая правда жизни. Некоторые страницы немного сентиментальны, и вообще роман отмечен влиянием типической английской повести, где неизбежны борьба нравственных мотивов, благополучный конец и трогательные положения. Лучшее всего автору удалось бытовой фон. Книга снабжена предисловием Звавича, посвященным анализу социально-экономического положения современной Англии. На будущее время мы посоветовали бы автору писать предисловия более просто и не

употреблять таких изысканных выражений, как «воля капиталистического Джаггернаута». Не всюду имеются энциклопедические словари, и вряд ли наши читатели знакомы с религиозными культами Индии.

К. Локс

Людвиг Турек. — «Пролетарий рассказывает». Жизнеописание немецкого рабочего. Авторизов. перевод с нем. В. И. и Н. И. Гарвей. С портретом автора. Огиз. «Новинки иностр. револ. лит-ры». М.—Л. 1931. Стр. 344. Ц. 1 р. 47 к. (в пер).

Книга интересна биографией молодого немецкого рабочего, одного из многих, ког жизнь привела в ряды немецкой красной армии 1919—20 гг. Веселый рабочий парнишка, член союза рабочей молодежи, бедовый, но не слишком сознательный, успевает до призыва в армию перепробовать профессии батрака, кондитерского подмастерья, типографского ученика; попал на фронт, спешит перейти на дезертирское положение и оказывается в тюрьме; после революции, повзвиз лозунгам социал-демократов, вступает в «вольный корпус», предназначенный для... усмирения рабочих. Затем — попытки связаться с рабочими, т. е. изменить наемникам контрреволюционной социал-демократии, и наконец вступление в отряд красной армии восставшего Рура.

Самое яркое в книге — жизнерадостность рабочего, растущего вместе со своей эпохой и получающего уроки классовой борьбы. Боевая неутомимость революционного рабочего, заставляющая его броситься «на помощь Советской России, на которую напала Польша», заставляет вспомнить о «Записках цирюльника» Джерманетто. Но сопоставление книги Турека с жизнерадостными «Записками» Джерманетто показывает и в чем заключается несходство этих вещей. Герой «Записок» — зрелый, опытный революционер, один из руководителей компартии. Герой книги Турека — рядовой рабочий, революционер в потенции, часто не столько разбирающийся в событиях, сколько чувствующий, как нужно поступить. Вместе с тем этот герой — балагур, довольно легкомысленный парень, любящий делать намеки насчет своего «донжуанского списка», всегда готовый на какую-либо авантюру и рассказывающий о каждой из них с некоторым упоением. Я указываю на эти особенности книг Турека, чтобы подчеркнуть ее особый характер плутовского романа, бедовый герой которого, созданный для действий, особенно доволен тем, что умеет выйти целым из любой переделки. Этот жанровый оттенок делает записки Турека не просто автобиографией, а романом.

Г. Мир

Издатель «Известия ЦИК СССР
и ВЦИК».

Редакционная
коллегия:

И. М. Гронский.
А. Г. Малышкин.
В. П. Полонский.
В. И. Соловьев.

Отв. редактор

В. П. Полонский.